This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

3 3433 06702936 7

* Джорджъ Кеннанъ

Г. А. МАЧТЕТЪ.

ПОВѢСТИ
И
РАЗСКАЗЫ.

ИЗДАНІЕ

К. Ф. Одарченко и К.

МОСКВА.
Типо-Литографія И. Н. Кушнерева и К°, Пименов. ул., д. Кушнеревой
1887.

To Mr. George Kennan with the Author's kin
est regards and sincerest assurance of his lasting
teem. 1/13 Jan. 1887.

Г. А. МАЧТЕТЪ.

ПОВѢСТИ
и
РАЗСКАЗЫ.

ИЗДАНІЕ

К. Ф. Одарченко и К.

PUBLIC LIBRARY

МОСКВА.
Типо-Литографія И. Н. Кушнерева и К°, Пименов. ул., д. Кушнеревой.
1887.

*QDM

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
11379A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1921 L

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

И одинъ въ полѣ воинъ. Гл. I—XVII. . . 1

Разсказы изъ сибирской жизни:

Вторая правда. 264

Мы побѣдили. 297

Сонъ одного засѣдателя. 339

Мірское дѣло 367

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Имѣя въ виду распространять въ русскомъ обществѣ лучшія литературныя и научныя произведенія, мы издаемъ на первый разъ „Повѣсти и Разсказы Г. А. Мачтета“, печатавшіяся въ періодъ времени съ 1880-го по 1886-й года въ извѣстныхъ повременныхъ изданіяхъ. Хотя эти произведенія рисуютъ картины *изъ безвозвратно прошедшей* жизни Югозападной Россіи и Сибири, но сказывающіяся въ нихъ жизненная правда и художественность образовъ будутъ оцѣнены непосредственнымъ чувствомъ читателя и возбудятъ въ немъ живѣйшій интересъ.

Издатели **К. Ф. Одарченко** и **К.**

И ОДИНЪ ВЪ ПОЛѢ ВОИНЪ.

(Романъ честнаго человѣка.)

ПОВѢСТЬ.

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
Пушкинъ.

Глава I.

Я, моя семья и первые проблески моего духа.

Какъ бы это ни показалось на первый взглядъ парадоксальнымъ, тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что акту моего рожденія или, вѣрнѣе, первому моему появленію на жизненной сценѣ въ значительной степени посодѣйствовалъ совершенно посторонній факторъ: бурмистръ Кондратъ. Такъ по крайней мѣрѣ увѣряла меня родная мать, сопровождавшая всегда слезами и причитаніями воспоминанія о моемъ рожденіи, при-

чемъ отецъ, если это происходило при немъ, сопѣлъ и насупливалъ брови. Такъ гласило и преданіе всей нашей деревни и, наконецъ, этимъ именно объясняетъ глупое населеніе послѣдней мое мнимое „кровопивство“, какъ будто требовать отъ должниковъ точности въ исполненіи законныхъ обязательствъ есть кровопивство. Признаюсь откровенно, я всегда былъ ярымъ противникомъ всякихъ сумасбродныхъ теорій о какомъ-то всеобщемъ счастіи насчетъ чужаго кармана, мечтать о которомъ—удѣлъ всѣхъ праздныхъ лѣнтяевъ и недоучекъ, ибо отлично понималъ, что всѣ міровыя отношенія основаны на общемъ принципѣ борьбы за существованіе. Такимъ образомъ я всегда отрицалъ всякія подачки, льготы и иныя филантропическія затѣи, только развращающія и безъ того уже лѣнивую и развратную массу, и требовалъ точности и аккуратности въ исполненіи законныхъ договоровъ, контрактовъ и прочихъ обязательствъ, что̀ на жаргонѣ завистливой, глупой и алчной бѣдноты называется „кровопивствомъ“.

— Кондратъ его раньше срока на свѣтъ выгналъ, отъ Кондрата онъ и кровь нашу пить сталъ!

О, глупая, глупая бѣдность!

Бурмистръ Кондратъ былъ умный и трезвый мужикъ и вѣрный слуга пана, за что все село и ненавидѣло его хуже чорта. Если онъ и явился невольнымъ виновникомъ моего преждевременнаго появленія на свѣтъ, то только потому именно, что честно исполнялъ свой долгъ бурмистра и съ достоинствомъ относился къ своей обязанности.

Въ то время наше село было вотчиной богатаго пана Жонгаловича, а мои родители, какъ и все остальное населеніе села, его крѣпостными. Панъ былъ строгій и аккуратный, почти безвыѣздно жилъ въ селѣ и держалъ въ ежовыхъ рукавицамъ все населеніе, отлично зная, что только строгостью удержишь хохла въ повиновеніи. Честный и умный Кондратъ былъ его правою рукой.

Разъ утромъ, какъ разъ наканунѣ Новаго года, когда мать моя была на девятомъ мѣсяцѣ беременности мною, бурмистръ постучалъ въ окно нашей хаты и приказалъ матери отправляться на панскій дворъ мыть полы. Мать,—тихая и смирная женщина,—быстро собралась, но отецъ, бывшій почему-то не въ духѣ, заворчалъ и потребовалъ

отъ Кондрата, чтобы тотъ освободилъ мать въ виду ея положенія.

— Не могу, — отвѣчалъ Кондратъ: — и радъ бы, да нельзя! У пана завтра много гостей будетъ, такъ нужно хорошо все прибрать... А ваша жинка,— сами знаете,— первая мастерица на этотъ счетъ!

Отецъ замолчалъ, но когда ушла мать, онъ вышелъ изъ хаты и, встрѣтивъ Кондрата, вновь сталъ приставать къ нему отпустить мать. Тотъ разсердился, пошло слово за слово и отецъ, обыкновенно степенный и тихій, обозвалъ его собакой. Результатомъ этого, конечно, было то, что отца повели на панскую конюшню... Услышавъ его крикъ, мать, несшая въ этотъ моментъ большую вязанку дровъ, задрожала, споткнулась и грохнулась на земь. Въ этотъ же моментъ, въ унисонъ со стонами матери и криками отца на конюшнѣ, раздался и мой первый, младенческій крикъ.

Такимъ образомъ, благодаря стеченію непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, мнѣ пришлось увидѣть впервые свѣтъ не въ грубой, мужицкой хатѣ, а въ роскошныхъ панскихъ палатахъ. Правда, пребываніе мое тамъ было очень кратковременно... Панъ, узнавъ о

случившемся, страшно разсердился на мать, ругалъ ее за испачканный полъ, а меня даже, какъ говорятъ, пихнулъ носкомъ сапога и велѣлъ немедленно унести насъ обоихъ, — тѣмъ не менѣе суевѣрный человѣкъ имѣлъ бы полное право видѣть въ этомъ особое предзнаменованіе. Я самъ, конечно, не придаю этому никакого значенія, но мать моя почему-то всегда надѣялась видѣть во мнѣ нѣчто лучше простаго, грубаго мужика и предсказывала мнѣ не мужицкую долю. Было ли это дѣйствительно „внушеніе свыше“, какъ увѣряетъ почтенный отецъ Іуда, нашъ сельскій пастырь (о, еслибы намъ побольше такихъ пастырей!), или просто въ ней говорилъ материнскій инстиктъ, которому нѣтъ никакого реальнаго объясненія, — только ожиданія ея сбылись вполнѣ, ибо изъ крѣпостнаго я въ концѣ концовъ сдѣлался владыкою роднаго села!

Много, конечно, тяжелаго и больного пришлось мнѣ испытать отъ людей до того, много пережить горя; но если и не смотрѣть на него какъ на выше посланную чашу испытанію, какъ увѣряетъ отецъ Іуда, — то и тогда я не ропщу. Я знаю, что каждый шагъ въ жизни долженъ браться съ

боя, что даромъ никто ничего не уступитъ, что борьба есть законъ жизни, — ну, а въ борьбѣ нельзя претендовать на особую деликатность. Поэтому я и не ропщу, не поминаю зла, ни къ кому не питаю ненависти и охотно прощаю все, мнѣ волей или неволей причиненное. Къ сожалѣнію, не всѣ относятся такъ, и я отлично знаю, что есть много людей, ненавидящихъ меня до глубины души, готовыхъ утопить въ ложкѣ воды за то, конечно, что въ борьбѣ за жизнь я оказался сильнѣе ихъ и вышелъ побѣдителемъ.

О, зависть, зависть!

Вообще нельзя сказать, чтобы мое появленіе на свѣтъ было встрѣчено особенно привѣтливо. Панъ, какъ я уже сказалъ, далъ мнѣ пинка, а глупыя сосѣдки и вся родня, окружившая мать немедленно послѣ того, какъ ее дотащили въ хату изъ панскихъ хоромъ, стала охать и причитать, что я-де родился не къ добру. Глупые и суевѣрные люди выводили такое нелѣпое заключеніе изъ того, что я родился преждевременно, когда сѣкли отца и раздавались его всхлипыванія о пощадѣ. Въ особенности настаивала на этомъ старая Солоха.

— Не къ добру родился онъ, — кричала эта старая, дряхлая вѣдьма, — и не будетъ отъ него проку: или помретъ, или „гаспидомъ“ будетъ.

Но чуткое материнское сердце вѣщало иное.

Она съ любовью прижала меня къ груди, поглядѣла и, цѣлуя, сказала:

— Нѣтъ, нѣтъ, добрые люди, не помретъ мой сыночекъ и гаспидомъ не будетъ... Онъ будетъ богатымъ и разумнымъ.

Мать увѣряла, что я, какъ бы понявъ ея слова, въ отвѣтъ заморгалъ глазками и дрыгнулъ ножкой.

Возраженіе матери, повидимому, нисколько не повліяло, однако, на глупое предубѣжденіе этихъ старыхъ воронъ, такъ какъ и впослѣдствіи онѣ относились гораздо дружелюбнѣе и родственнѣе къ моей старшей сестрѣ Галѣ и брату Тарасу, чѣмъ ко мнѣ, и при всякомъ удобномъ случаѣ, за всякую шалость, обзывали меня аспидскимъ сыномъ или Иродовымъ сѣменемъ. Но за то тѣмъ мягче, тѣмъ любовнѣе становилась ко мнѣ мать, тѣмъ больше ласкала и баловала, такъ что вообще въ семьѣ я слылъ за мамина „мазунчика“.

Впослѣдствіи я узналъ, что это предубѣжденіе противъ меня имѣло еще другое основаніе, коренилось главнымъ образомъ въ подозрѣніи, будто виновникомъ моего рожденія былъ не мой отецъ Семенъ Кожухъ, а красивый экономъ нашего пана, шляхтичъ Облупинскій. Отецъ, повидимому, тоже раздѣлялъ общее предубѣжденіе и былъ не чуждъ этого подозрѣнія, такъ какъ, вообще мягкій и добрый человѣкъ, онъ, какъ и всѣ, больше долюбливалъ сестру и брата, спускалъ имъ многое, за что доставалось мнѣ, и въ порывахъ гнѣва ругалъ меня „байстрюкомъ", какъ никогда не ругалъ ни сестру, ни брата. Хотя, конечно, для самолюбія человѣка болѣе лестно вести свой родъ отъ шляхтича, чѣмъ отъ простаго мужика, тѣмъ не менѣе я долженъ признаться, что ни утверждать, ни отрицать ничего не могу, такъ какъ съ одной стороны нѣкоторое сходство ничего еще не значитъ и можетъ быть случайнымъ, а съ другой стороны мать никогда не говорила мнѣ объ этомъ и всякіе намеки на интимность съ панычемъ Облупинскимъ встрѣчала энергичнымъ протестомъ.

— Чтобъ вамъ обоимъ съ Облупинскимъ

подохнуть вмѣстѣ... Чтобъ вамъ кишки перевернуло! — заканчивала она обыкновенно.

Могу сказать только, что въ этомъ подозрѣніи не было ничего невозможнаго. Моя мать, несмотря на свои 27 лѣтъ, всякую работу и двоихъ дѣтей, была еще очень недурна и свѣжа. Какъ она сама, да и всѣ говорили, въ ея жилахъ несомнѣнно текла благородная кровь, такъ какъ мать ея, моя покойная бабушка, за миловидность была взята ко двору и выдана замужъ за бездѣтнаго вдовца, дѣдушку Панаса, на восьмомъ мѣсяцѣ беременности моею матерью. Кромѣ того, моя мать была во многомъ выше моего отца, такъ какъ все дѣвичество провела въ дворовыхъ дѣвушкахъ, гдѣ получила понятіе о другой, болѣе утонченной жизни, чѣмъ простая мужицкая, и узнала многое такое, о чемъ отецъ и понятія не имѣлъ, что и дало ей возможность прибрать весь домъ къ своимъ рукамъ. Къ тому же любить особенно отца она и не могла еще и потому, что на него вышла только по настоянію дѣда Панаса, который, полюбивъ ее какъ родную и трепеща за ея цѣломудріе, упросилъ пана отдать ее замужъ, какъ только стукнуло ей 16 лѣтъ.

Теперь, я думаю, будетъ кстати познакомиться читателю поближе съ моею семьей и съ нѣкоторыми членами моей близкой родни, которымъ суждено играть не послѣднюю роль въ моемъ повѣствованіи. Собственно семья наша состояла изъ шести лицъ: бездѣтнаго (если не считать моей матери) и вдоваго дѣда Панаса, отца, матери, шестью годами старше меня сестры, Гали, и брата Тараса, родившагося два года спустя послѣ меня, какъ двѣ капли въ отца, что, повидимому, особенно располагало къ нему послѣдняго. Какъ я уже говорилъ, панъ, въ насмѣшку надъ бездѣтностью дѣда Панаса, когда умерла его первая жена, женилъ его на беременной уже моею матерью дворовой дѣвушкѣ. Черезъ годъ послѣ того бабушка, испугавшись волка, выкинула мертваго ребенка и вплоть уже до самой своей смерти оставалась бездѣтной. За то дѣдъ сильно привязался къ Марысѣ — моей матери, полюбилъ ее какъ родную и, какъ только умерла бабка, перешелъ въ нашу семью.

Несмотря на все убожество нашей жизненной обстановки, никто, кромѣ меня и матери, повидимому, вовсе не тяготился ею,— по крайней мѣрѣ я никогда не слышалъ,

чтобы дѣдъ Панасъ или отецъ вслухъ мечтали о лучшей долѣ и лучшей обстановкѣ. Конечно, оба они, и дѣдъ и отецъ, желали бы быть и вольными, и богатыми; но такъ какъ и то и другое они считали вполнѣ несбыточнымъ, невозможнымъ, то не только никогда не говорили о чемъ-нибудь подобномъ, но, вѣроятно, и не думали даже. Все, что допускали самыя крайнія, самыя розовыя мечты ихъ, не шло дальше пристройки новой горенки къ сѣнямъ нашей хаты, да и то откладывалось ими въ дальній ящикъ, на то далекое будущее, когда одинъ изъ насъ подростетъ и придется съиграть свадьбу. Ежедневныя же, будничныя желанія, которыми жилъ отецъ, были—избѣжаніе панскаго гнѣва и хорошій урожай. Совсѣмъ не то моя мать, а благодаря ей и я, ея пестунъ и любимецъ. Мать никогда не могла забыть счастливыхъ и отрадныхъ для нея дней дѣвичества, когда она была въ числѣ панской дворни, когда за ней ухаживали красивые лакеи въ ярко-красныхъ жилетахъ и голубыхъ сюртукахъ съ большими мѣдными пуговицами и даже щеголи панычи,—когда ея руки не знали тяжелой, грубой мужицкой работы, а ей самой не приходи-

лось возиться со скотомъ, свиньями и стряпней. Она никогда не могла забыть высокихъ, роскошныхъ палатъ съ громадными зеркалами и блестѣвшими, какъ зеркала, полами, не могла забыть всей роскоши двора, видѣнныхъ ею баловъ, пировъ, красивыхъ, богатыхъ нарядовъ и вкусныхъ объѣдковъ, порой выпадавшихъ на ея долю и не имѣвшихъ, конечно, ничего общаго съ нашимъ чернымъ, какъ земля, и кислымъ хлѣбомъ, борщемъ и горохомъ. Эти воспоминанія были ея отрадой, ея жизнью, ея душой, ея святыней, открытою изъ постороннихъ только мнѣ одному. И я жадно вслушивался въ ея разсказы, жадно ловилъ ихъ тайный смыслъ, страстно воспринималъ ея симпатіи и ненавидѣлъ все ей противное. Такимъ образомъ, я еще въ раннемъ дѣтствѣ получилъ отвращеніе къ бѣдности и грубой мужицкой долѣ, постигъ прелесть богатства и высокаго положенія на ступеняхъ общественной лѣстницы и незамѣтно затаилъ въ душѣ желаніе достичь и того, и другого. Несомнѣнно, что эти воспоминанія, эти разсказы матери имѣли громадное вліяніе на образованіе моего характера, надѣляли меня вкусами и желаніями, чуждыми окружавшей

средѣ, и такимъ образомъ явились импульсомъ всей моей послѣдующей жизни. Да, своимъ положеніемъ, своимъ богатствомъ, я много обязанъ родной матери, заронившей въ мою еще юную, дѣвственную душу божественную искру самосовершенствованія!

Чѣмъ бы я былъ безъ нея?!

Чѣмъ тяжелѣе и безотраднѣе была дѣйствительность, чѣмъ труднѣе выпадали минуты жизни, тѣмъ страстнѣе отдавалась мать своимъ воспоминаніямъ, тѣмъ охотнѣе прибѣгала къ разсказамъ объ ея заманчивомъ прошломъ. Въ такія мгновенія ея глаза горѣли, на обыкновенно блѣдныхъ щекахъ выступалъ румянецъ, грудь порывисто и глубоко дышала, а я, затаивъ дыханіе и не сводя съ нея глазъ, страстно ловилъ ея слова подъ жужжанье веретена, крикъ сверчка, храпъ дѣда Панаса на печи и монотонное завываніе Гали, няньчившей Тараса. Разсказы обыкновенно заканчивались вздохами, а затѣмъ жгучими слезами, и тогда я бросался къ матери, обвивалъ ея шею ручонками, просилъ не плакать, обѣщалъ быть богатымъ и знатнымъ и дать ей такимъ образомъ все ею любимое, и рыдалъ и бился у ней на груди до тѣхъ поръ, пока

она не душила мои рыданія своими поцѣлуями.

Живо я помню эти картины!

Въ каждое свое посѣщеніе двора, несла ли мать туда яйца, масло, пряжу, куръ или что-нибудь другое изъ установленныхъ паномъ для его крѣпостныхъ обязательныхъ еженедѣльныхъ приношеній, шла ли на дворовую службу—чистить садъ, мыть полы и т. д., она почти всегда брала меня съ собой. Правда, мнѣ никогда не удавалось попасть въ самый „палацъ“ и приходилось сидѣть или въ людской, пока мать сдавала экономкѣ принесенное, или любоваться громадными окнами, стройными колоннами, легкими балконами палаццо, изъ глубокихъ, тѣнистыхъ, уставленныхъ большими статуями аллей стараго парка, но и это было для меня наслажденіемъ, и я съ восторгомъ всегда рвался изъ душной нашей и грязной хаты на панскій дворъ. Въ людской я видѣлъ красивыхъ и ловкихъ дворовыхъ, слышалъ веселый смѣхъ и шутки, узнавалъ подчасъ весьма интересныя дворовыя приключенія и тайны,—словомъ, могъ жить болѣе широкою жизнью, чѣмъ жизнь нашей хаты; изъ тѣнистыхъ же аллей парка, подъ

сѣнью вѣковыхъ гигантовъ, или у ногъ бѣлоснѣжной, красивой статуи я могъ вперять взоръ въ громадныя окна дворца, ловить въ нихъ движенія и силуэты его обитателей, а остальное дополнять воображеніемъ.

Воображеніе развилось у меня рано и сильно, чему можетъ-быть способствовали и сказки дѣда Панаса. Мечтать, жить среди призраковъ и призрачныхъ условій, быть героемъ фантастическихъ приключеній стало для меня наслажденіемъ, даже больше— потребностью. Само собою разумѣется, что центромъ всего этого былъ панскій дворецъ, его дворъ и широкій тѣнистый садъ. Я мечталъ, зарываясь въ бурьянъ или высокую траву панскаго сада, гдѣ дѣдъ исполнялъ роль помощника садовника; зимою же, когда кромѣ насъ, дѣтей, въ хатѣ оставался и дѣдъ, я забирался къ нему на печь, закрывалъ глаза и мечталъ, притворяясь спящимъ.

Храпъ дѣда превращался въ прекрасную, стройную музыку; низкія стѣны бѣдной хаты раздвигались и превращались въ роскошныя мраморныя залы дворца съ громадными окнами, громадными зеркалами и блестящими полами... Свободно и смѣло хожу я по

нимъ, одѣтый не въ грязное рубище... Я превратился въ красиваго двороваго казачка въ красномъ жилетѣ и голубой шапкѣ съ широкимъ бѣлымъ галуномъ... Я ѣмъ самыя вкусныя и сладкія блюда. Меня цѣлуютъ и ласкаютъ красивыя пани, одѣтыя въ самые дорогіе наряды; ихъ мягкія, нѣжныя и бѣлыя руки треплютъ меня по щекамъ и крѣпко прижимаютъ къ упругой, полной груди... Я слышу, какъ бьется и трепещетъ ихъ сердце. Меня всѣ любятъ, мнѣ все удается, на меня сыплются неисчислимыя блага. Отецъ, мать... Но у меня нѣтъ ни отца, ни матери,—я совсѣмъ и не ихъ сынъ; у меня нѣтъ ни брата, ни сестры Гали, ни дѣда Панаса,—никого, никого... Я дѣлаю невѣроятные подвиги: мужики бунтуютъ противъ пана; его окружаютъ со всѣхъ сторонъ; я вижу въ разъяренной толпѣ и отца, и тетку Солоху, и многихъ другихъ; минута—и пана не станетъ, только чудо можетъ спасти его... Но вотъ являюсь я съ блестящимъ, какъ зеркало, мечомъ, съ крикомъ рублю въ куски тетку Солоху, разбиваю все въ пухъ и прахъ, спасаю пана и панъ отдаетъ за меня, какъ въ старыхъ казацкихъ пѣсняхъ, родную краса-

вицу дочь. Эти сны-видѣнія, эти страстныя галлюцинаціи варьировались мною на разные лады, каждый разъ иначе, смотря по тому, кто въ данное время сдѣлалъ мнѣ что-нибудь непріятное, кому я чувствовалъ потребность отомстить или оказать какую-нибудь услугу... Перваго я уничтожалъ въ прахъ, второго мое доброе дѣтское сердце осыпало всяческими милостями. Но начало и финалъ всегда были одни и тѣ же: я всегда видѣлъ себя дворцовымъ казачкомъ, всегда рубилъ въ куски ненавистную Солоху, спасалъ пана и получалъ руку и сердце прекрасной панянки.

Очень можетъ быть, что эта напряженная дѣятельность мозга мѣшала моему физическому развитію и способствовала нѣкоторымъ образомъ общей слабости, хилости и болѣзненности всего организма. На видъ я былъ крайне тщедушный, слабый ребенокъ, съ блѣдными, впалыми щеками и большими синими кругами подъ глазами, вялый и апатичный, не любившій ни дѣтскихъ игръ, ни рѣзвости и смѣха, и казался даже моложе краснощекаго здороваго Тараса, любимца отца. Привычка думать про себя дѣлала меня нелюдимымъ и сосредоточеннымъ, за-

ставляла бѣгать веселія и шума, любить тишину и уединеніе, для чего я всегда и прятался на печь, притворяясь спящимъ. Все это, а также и то, что въ критическія минуты я обыкновенно прибѣгалъ къ материнской юбкѣ и рыдалъ благимъ матомъ, крайне раздражало отца, называвшаго меня не иначе, какъ „маминой плаксой“ и вообще глядѣвшаго на меня какъ-то презрительно, какъ на существо, изъ котораго въ будущемъ не выйдетъ хорошаго работника: этолъ,—по его мнѣнію,—высшій идеалъ человѣка. Еще хуже относилась ко мнѣ ненавистная, крючконосая Солоха, приходившая положительно въ ярость при видѣ моего хилаго, болѣзненнаго лица и преслѣдовавшая меня за мнимую сонливость.

— Говорила я вамъ,—кричала она своимъ пронзительнымъ голосомъ, заставъ меня съ закрытыми глазами, повидимому, спящимъ на печкѣ,—говорила, что проку съ него не будетъ, такъ вотъ же такъ и выходитъ: не будетъ ничего съ лядащаго,—такъ всю жизнь проспитъ!...

Какъ было понять или догадаться этой глупой, сварливой бабѣ, что то, что она называла сномъ, было въ сущности страстною

духовною жизнью?!... Одна мать только являлась въ такія минуты на мою защиту и въ то время, когда отецъ обыкновенно поддакивалъ Солохѣ, она брала меня къ себѣ, цѣловала и говорила:

— Не вашъ онъ, а мой, такъ вы оставьте его въ покоѣ. Нашли хорошее занятіе, нечего сказать, преслѣдовать больное, невинное дитя! Ну, и пусть себѣ спитъ, если ему хочется, на то оно и малое; а выростетъ,—будетъ оно у меня цаця!...

Глава II.

Ярость и злоба несутъ достойное наказаніе.

Я прожилъ уже много лѣтъ на свѣтѣ, много видѣлъ людей всякаго рода и званія, отъ высоко-поставленныхъ, пользующихся всеобщимъ почетомъ, до грязныхъ подонковъ глупой черни, способныхъ вселять лишь ужасъ и отвращеніе; но, признаюсь, никогда не доводилось встрѣчать мнѣ человѣка антипатичнѣе тетки Солохи. Одинъ внѣшній видъ ея: длинная, какъ скелетъ сухая, фигура съ громаднымъ ястребинымъ клювомъ вмѣсто носа и страшными черными глазами, которыми она, казалось, насквозь прони-

зывала человѣка,—способенъ былъ напугать всякаго, а необычайно злой языкъ, вѣчно трещавшій какъ трещотка, вѣчно расточавшій хулы и проклятія, вѣчно кого-нибудь донимавшій, могъ уложить въ гробъ самаго здороваго человѣка. О, что это былъ за языкъ! Даже всесильный и строгій Кондратъ трепеталъ его и, заслышавъ язвительныя замѣчанія или злыя пожеланія, сыпавшіяся какъ горохъ на его голову, когда онъ проходилъ мимо,—обыкновенно ускорялъ шаги, сплевывалъ и, крестясь, только произносилъ про себя: „Ну, и вѣдьма жь, прости Господи!“

Что могъ онъ подѣлать съ этой ужасною бабой, когда она не боялась никого и ни предъ чѣмъ не останавливалась!

Солоха была родная сестра моего отца, старше лѣтъ на пятнадцать; къ несчастію матери и моему, ея хата стояла рядомъ съ нашею, что давало возможность этой старой вѣдьмѣ донимать насъ съ утра до ночи и вмѣшиваться во всѣ наши семейныя дѣла, такъ какъ недалекій и робкій отецъ находился подъ ея сильнымъ вліяніемъ и всегда считалъ ее правою. Послѣдне, конечно, не могло нравиться матери, имѣвшей полное,

законное право быть хозяйкой въ своей хатѣ, и служило всегда исходнымъ пунктомъ вѣчныхъ ссоръ ея съ Солохой, кончавшихся обыкновенно тѣмъ, что отецъ, ругаясь, убѣгалъ изъ хаты, а на помощь являлся угрюмый Михайло, Солохинъ мужъ, и уводилъ ее домой.

— Тебѣ что здѣсь,—ворчалъ онъ обыкновенно,—иди домой!—и тащилъ ее за рукавъ сорочки. Но злая баба, даже уходя, не умолкала. Съ пѣной у рта набрасывалась она уже на него и орала во все горло...

— Мнѣ что?... Брата жаль, дѣтей маленькихъ—вотъ что! Загубитъ она ихъ, по міру пуститъ, лѣнтяйка! На панскомъ дворѣ объѣдки сбирала и отъ нашей работы отвыкла... Дѣти голые да голодные, въ хатѣ грязь, вездѣ непорядокъ!... Панскій прихвостень она, а не работница!

Конечно, мать, проведшая свою молодость въ иныхъ условіяхъ, получившая воспитаніе не въ мужицкой хатѣ,—не могла быть идеальною работницей, какою бы можетъ-быть желалось отцу и Солохѣ, часто помогавшей матери и потому считавшей себя въ правѣ читать ей наставленія и дѣлать выговоры. Нервная и впечатлительная, она не могла

хладнокровно слушать такой брани и выбѣгала обыкновенно за Солохой на улицу, гдѣ онѣ обѣ поднимали цѣлый содомъ. Часто, впрочемъ, причиной подобныхъ ссоръ служило и то, что Солоха—съ единственною, конечно, цѣлью досадить матери—набрасывалась на меня и доводила меня своею бранью и злыми угрозами до слезъ. Она начинала обыкновенно въ такихъ случаяхъ съ укоровъ въ лѣни, апатіи и сонливости, не понимая, что подъ ними скрывались высшія духовныя потребности и инстинкты, а затѣмъ набрасывалаеь на мать за то, что мать любила меня больше другихъ,—точно можно предписывать законы материнскому чутью и сердцу и указывать, какъ и кого любить и на комъ изъ дѣтей сосредоточивать свои надежды.

— Охъ, Солоха,—кротко возражала ей иногда моя мать на эти нападки,—попридержи языкъ, побойся Бога!... Наказалъ онъ уже тебя за него тѣмъ, что сына отдали въ солдаты, и еще, гляди, накажетъ!

Но это разумное и кроткое замѣчаніе, вмѣсто того, чтобы вразумить и остановить злую бабу, подливало только масла въ огонь и служило всегда прологомъ бурной сцены.

Солоха никогда не могла забыть сына Остапа, еще до моего рожденія сданнаго паномъ въ рекруты за буйный и дерзкій нравъ. Мать говорила мнѣ, что, со дня сдачи сына, Михайло сталъ еще угрюмѣе, а Солоха, молившаяся о немъ какъ о мертвомъ, еще сварливѣе и чуть было даже не повѣсилась съ горя, но, признаться къ великому моему сожалѣнію, во-время была вынута съ петли подоспѣвшими людьми. Напоминаніе обо всемъ этомъ, хотя бы сдѣланное и кроткимъ тономъ, приводило ее положительно въ ярость и она всегда оставляла въ покоѣ меня и набрасывалась на мать съ невообразимою руганью, мѣшая въ одну кучу и ее, и бурмистра Кондрата, и паныча Облупинскаго, и даже самого пана.

— Чего сама прикидываешься овечкою, а язвишь и колешь мое сердце, уже и такъ разбитое этою панскою лаской!—визжала она во всю мочь, точно кто-нибудь могъ повѣрить, что у нея было сердце!

Боже, до чего была зла эта вѣдьма и до чего я ее ненавидѣлъ!

Въ своей черной, озлобленной, душѣ она таила страстную, невыразимую злобу ко всему, что̀ было выше, богаче и знатнѣе,

что не пахло мужикомъ и не отвѣчало грубымъ мужицкимъ вкусамъ,—къ каждому пану, панычу, даже старостѣ и бурмистру. Все это, по мнѣнію этой ужасной бабы, были не люди, а „иродовы дѣти“, „чортовы ляхи“, кровопійцы, которымъ ея услужливое воображеніе подготовляло на „томъ свѣтѣ“ самыя страшныя и жестокія мученія. „Будутъ они, иродовы дѣти, въ огнѣ горѣть, а мы имъ дрова подкладывать! Будутъ они напиться просить, а мы имъ смолу кипящую подносить!“—злобно, звѣрски рычала она, давая волю своему страшному языку и заставляя отца дрожать отъ страха, какъ бы кто не услышалъ и не донесъ пану. Въ такія минуты Солоха очень живо напоминала тѣхъ вѣдьмъ, которыхъ рисуютъ горящими въ аду на изображеніяхъ страшнаго суда: ея крикловый голосъ, порывистые жесты, вытянутый клювомъ носъ, разинутый ротъ, въ особенности горѣвшіе какъ уголья глаза—бросали меня въ дрожь и я начиналъ ревѣть.

— Собачьихъ ляховъ тебѣ жалко,—накидывалась тогда она на меня,—аспидовъ, а?... Что ревѣшь?—Мать брала меня къ себѣ на колѣни, цѣловала и говорила: „Не

плачь, сыночку, не слушай ее!... Ее Богъ накажетъ за ея злость!"

О, какъ я просилъ Бога своимъ дѣтски-чистымъ сердцемъ, чтобъ Онъ наказалъ ее поскорѣе, и какъ я былъ радъ, когда это дѣйствительно случилось!

А случилось это, когда мнѣ шелъ уже восьмой годъ.

Сѣрый, зимній день близился къ концу. Тарасъ съ отцомъ уѣхали съ утра въ сосѣднюю деревню, а Галя гдѣ-то бѣгала, такъ что въ хатѣ остались только мы съ матерью, да дѣдъ Панасъ храпѣлъ и сопѣлъ на печи. Мать пряла и подъ шумъ веретена рисовала мнѣ заманчивую картину бала въ панскомъ дворцѣ, которую я, по обыкновенію, дополнялъ своимъ воображеніемъ, какъ вдругъ съ шумомъ распахнулась дверь и на порогѣ, вмѣстѣ съ клубами холоднаго воздуха, появилась, блѣдная какъ смерть, Солоха. Какъ она страшно походила на вѣдьму! Глаза ея дико блуждали, ротъ что-то силился говорить, но губы только безсильно дрожали, грудь дышала какъ кузнечные мѣхи и вся она съ ногъ до головы дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Я въ ужасѣ прижался къ матери; мать, вѣроятно думая,

что предстоитъ новая стычка, вскочила и, ставъ въ оборонительное положеніе съ веретеномъ въ рукѣ, стала кричать на нее, чтобъ она затворила дверь... Но опасенія матери оказались напрасными,—Солоха и не думала о стычкѣ... Она повалилась на лавку и голосила во все горло: „Ой, смерть моя! Ой, ратуйте, добрые люди!... Пропала моя головонька!“

Наша хата быстро наполнилась родными и сосѣдками въ слезахъ, такъ какъ все вообще населеніе села любило Солоху, вполнѣ отвѣчавшую его вкусамъ. Кромѣ того, Солоха слыла лучшею лѣкаркой и повитухой и вмѣсто того, чтобы собирать себѣ и своимъ роднымъ изрядныя деньги, „увлекалась филантропіей“ и лѣчила за „доброе слово“ или за „что кто дастъ“. Такъ всегда безсердечные люди, не имѣющіе святой привязанности къ своей семьѣ, дѣлаютъ разныя услуги чужимъ людямъ, а своимъ дарятъ однѣ непріятности, какъ, напримѣръ, Солоха,—ну, а жадная толпа, любящая вообще всякую даровщинку, дѣлаетъ ихъ своими идолами.

Я всегда понималъ это и потому всегда ненавидѣлъ популярность.

Оказалось, что панъ, тогда вдовецъ, еще не успѣвшій жениться вторично, взялъ къ себѣ Солохину дочь, шестнадцатилѣтнюю красавицу Олесю. Напрасно успокоивала мать глупую бабу, что въ этомъ нѣтъ ничего дурного для Олеси, что ей, напротивъ, предстоитъ только хорошее впереди, можетъ открыться даже блестящая будущность, такъ какъ бывали примѣры, что паны женились даже на своихъ любовницахъ, и во всякомъ случаѣ осыпали ихъ подарками, — глупая баба голосила только свое. Ничего не слушая, не глядя ни на кого, лежа ницъ на лавкѣ, она только причитала:

— Бѣдная моя пташечка, соловейко мой сладкій! Ростила я тебя, доглядывала, цвѣла ты у меня какъ роза пышная и на то только, чтобы ляхъ поганый, паскудный иродъ, истопталъ красу твою, оплевалъ твою честь дѣвичью... Лучше-бъ я не родила тебя, лучше-бъ утопила до всхода солнца!..

А вся собравшаяся бабья толпа ревмя ревѣла и вторила своими причитаніями.

— Вырвали у меня одного сокола,—продолжала Солоха, поднимаясь и качаясь точно пьяная,—отъ самаго сердца оторвали и отдали въ московскую службу... Такъ мало

еще этого, мало! Дочь погубилъ, сѣдины мои опорочилъ! О, куда же я дѣну глаза свои, куда скрою стыдъ свой, куда дѣнусь съ печалью? Нѣтъ такой глубины въ синемъ морѣ, нѣтъ ея въ темной безднѣ, развѣ въ могилѣ сырой! — причитала Солоха подъ неугомонный ревъ расходившихся бабъ.

— Не гнѣви ты Бога!—перебила ее мать.

— Бога?! — взвизгнула Солоха.—Гдѣ же Онъ, твой Богъ, что Онъ допускаетъ такое лютое горе людямъ, исполняющимъ Его завѣты? Гдѣ онъ?—и цѣлый потокъ богохульства полился изъ ея нечистыхъ устъ, пока не прервалъ его приходъ Михайлы. Онъ былъ блѣденъ и тяжело сопѣлъ.

— Иди, Солохо, — сказалъ онъ, подойдя къ ней и положивъ руку на ея плечо,— иди!

— Куда же мнѣ идти, — спросила она, воя и не глядя на него,—куда идти?

— Домой, Солохо!

— Что я буду тамъ дѣлать? Нѣтъ у меня дома, какъ у птицы гнѣзда, когда пташекъ поѣстъ черный воронъ! — и Солоха снова заголосила.

— Иди же! — настаивалъ, повидимому страшно растерянный, Михайло, съ трудомъ

сдерживая слезы.—Иди! Тамъ наши внуки, тамъ сынъ Андрійко съ женой.

Солоха дико захохотала.

— Внуки... дѣти!.. И ихъ возьмутъ у насъ, и ихъ разорвутъ!... Не на радость сошлись мы съ тобой, Михайло! Какіе мы родители, если не можемъ защищать дѣтей своихъ!... Какой ты отецъ?... Собака—и та кусаетъ, когда берутъ ея щенятъ...

Посинѣвшій Михайло заскрежеталъ зубами и, схвативъ Солоху въ охабку, потащилъ ее изъ хаты. За ними повалила вся толпа ревѣвшихъ бабъ, ушла и мать и даже дѣдъ Панасъ, такъ что въ хатѣ остался я одинъ. Признаться, я очень завидывалъ судьбѣ Олеси и по дѣтской наивности искренно жалѣлъ, что я—не дѣвочка, а мальчикъ... Но мало-помалу грустныя мысли заползли въ мою дѣтскую головку, сердце охватило какая-то жгучая тоска и я даже заплакалъ. Тихо усѣвшись въ углу на лавкѣ, я началъ думать о свей горькой долѣ, о блескѣ и счастьи выпадающихъ на долю счастливцевъ, какъ, напримѣръ, Олеси, смотрѣлъ на свои босыя ноги и рваное рубище и горько плакалъ. Я вдругъ почувствовалъ себя какимъ-то одинокимъ, забытымъ и заброшеннымъ...

У всѣхъ были свои радости, свое счастье,— у Тараса, у Гали, — одинъ только я жилъ думами, потому что не могъ жить этой грязною дѣйствительностью. Слезы лились все сильнѣе и сильнѣе, плачъ мой готовъ былъ перейти въ страстное рыданіе, какъ вдругъ вбѣжала перепуганная Галя.

— Гдѣ мама?—спросила она, вся блѣдная и дрожащая,—и чего плачешь? Развѣ знаешь уже?

— Что знаю?—кисло отвѣтилъ я, такъ грубо потревоженный.

— Что Олеся утопилась!

Я вытаращилъ глаза, но черезъ минуту уже бѣжалъ съ Галей къ озеру, прилегавшему къ парку. За нами и съ нами бѣжала почти вся деревня и неслись раздиравшіе душу крики Солохи, которую нѣсколько дюжихъ мужиковъ удерживали силой дома, чтобъ она сама не вздумала броситься въ прорубь. Когда мы добѣжали, то на льду, тѣснясь къ проруби, стояла уже цѣлая толпа народа, въ какомъ-то ужасномъ молчаніи, и только нѣсколько одинокихъ голосовъ передавали грустную повѣсть. Дѣйствительно, глупая Олеся,—прости Господи ея душу,— предпочла блестящей, можетъ-быть, долѣ—

сообщество раковъ и раннюю смерть. Кое-кто разсказывалъ, какъ, предвидя ея злой умыселъ, за ней гнались всѣ дворовые и даже самъ панъ, но Олеся летѣла какъ быстрая серна и, добѣжавъ на глазахъ настигавшей уже ее погони до проруби, перекрестилась, что-то закричала и бросилась въ прорубь... Только вода всплеснула!.. Толпа мужиковъ стояла въ молчаньи, тихо и мрачно понуривъ головы, а бабы крестясь и тихо плача. Ужасная прорубь зіяла точно открытая рана, пугая воображеніе чернымъ цвѣтомъ водной глубины, отдававшей чѣмъ-то таинственнымъ и страшнымъ, какъ смерть... По тѣлу пробѣгалъ морозъ; мнѣ казалось, что вотъ-вотъ покажется вся синяя Олеся, протянетъ ко мнѣ руки и утащитъ съ собой, и какой-то трепетъ страха охватывалъ меня... Я уже упрашивалъ Галю проводить меня домой, какъ къ самой проруби подошелъ Михайло.

Боже мой, этотъ дюжій гигантъ, этотъ ужасный, угрюмый человѣкъ, никогда, вѣроятно, даже отъ рожденія не знавшій слезъ, теперь плакалъ... Слезы крупными каплями катились по его грубому, смертельно блѣдному лицу и застывали длинными ледяными

сосульками на черныхъ усахъ. Признаюсь, мнѣ было больше страшно, чѣмъ жалко видѣть его плачущимъ... Медленными шагами, снявъ шапку, подошелъ онъ къ самому краю, медленно окинулъ взоромъ окружавшихъ, затѣмъ опустилъ глаза внизъ, точно вглядываясь въ дно озера, и долго стоялъ такъ, не шевелясь и плача. Наконецъ, онъ поднялъ руку и перекрестилъ прорубь...

— Благословляю тебя, Олеся, моя родная дочь!.. Если Богъ милосердный, Онъ проститъ тебя, какъ прощаю тебя я и твоя мать, какъ прощаютъ тебѣ всѣ добрые люди. Упокой Господи твою чистую душу!..

Перекрестивъ еще разъ, онъ утеръ рукавомъ глаза, повернулся и медленно пошелъ къ селу, а весь народъ, зарыдавъ, сталъ крестить ужасную прорубь, приговаривая: „Упокой ее, Господи!“

Помню, что ночь прошла особенно скверно. Безконечно добрая мать просидѣла напролетъ у изголовья Салохи, у которой открылся вдругъ сильный жаръ съ бредомъ. Галя съ Тарасомъ неуставая ревѣли, а я долго никакъ не могъ справиться съ своимъ страхомъ и постоянно просыпался отъ страш-

ныхъ видѣній. Отецъ былъ очень угрюмъ, ничего не ѣлъ и почти до свѣта шептался о чемъ-то съ дѣдомъ Панасомъ и кое-кѣмъ изъ друзей и сосѣдей, но изъ ихъ шепота я могъ уловить только нѣсколько болѣе громкихъ восклицаній отца о томъ, что „жить такъ нельзя“, что лучше въ могилу идти и т. д. въ этомъ родѣ,—въ немъ жила-таки частичка Солохинаго буйства,—что особенно горячо поддерживалъ крайне вспыльчивый, косноязычный дьячокъ Панфилъ, повторяя сотни разъ своимъ козлинымъ голосомъ:

— Неукоснительно, лучше смерть принять!—и трясъ своими двумя косичками.

Утромъ насъ, дѣтей, разбудилъ приходъ Михайла. Отца не было,—онъ отправился кормить скотъ,—и только дѣдъ сидѣлъ на лавкѣ, чиня старый лапоть, когда дверь хаты задрожала подъ могучимъ Михайлинымъ кулакомъ. Войдя и перекрестившись на образа, Михайло быстро опустился на колѣни предъ дѣдомъ, проговоривъ только:

— Благослови, дѣду!

— На что̀ тебя благословлять?—дрожащимъ, взволнованнымъ голосомъ спросилъ дѣдъ, а мы дѣти, повскакавъ съ просонья,

таращили глаза на эту невиданную сцену.

— Благослови, прошу тебя, развѣ я не стою твоего благословенія?—глухо прохрипѣлъ въ отвѣтъ Михайло.

— Дѣдъ поблѣднѣлъ. Дрожа всѣмъ тѣломъ всталъ съ лавки и протянулъ свою сухую, желтую, сморщенную руку.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!—торжественно произнесъ онъ, крестя наклоненную голову Михайла, и голосъ его дрожалъ такъ же, какъ и крестившая рука... Благословляю тебя и пусть тебя Богъ благословитъ!

Михайло припалъ лицомъ къ босымъ ногамъ дѣда, поцѣловалъ его руку и, не говоря ни слова, вышелъ изъ хаты; мнѣ показалось, что онъ опять плакалъ. Крайне заинтересованные всею этой непонятною сценой и взволнованнымъ видомъ дѣда, мы на перебой забрасывали его недоумѣвающими вопросами, но дѣдъ сердито закричалъ на насъ и пошелъ кликнуть отца. Отецъ тоже перепугался, выслушавъ разсказъ о странномъ поведеніи Михайла, долго чесалъ голову, кричалъ ни съ того, ни съ сего на насъ, хотя мы сидѣли всѣ очень тихо, во-

обще имѣлъ очень растерянный видъ, и наконецъ убѣжалъ, сказавъ дѣду, что пойдетъ искать Михайла. Онъ вернулся еще болѣе перепуганный и растерянный.

— Нигдѣ его нѣтъ, какъ въ воду пропалъ!—сказалъ онъ дѣду.

Дѣдъ перекрестился.

— Борони Богъ и Пресвятая Богородица, не такой онъ человѣкъ, Семене, чтобъ наложить на себя руки!

— На себя не наложитъ, это такъ!—возразилъ отецъ,—но за то...

Ужасный крикъ пана: „ко мнѣ, люди!"—прервалъ его рѣчь... Прямо предъ нашими окнами, откуда-то внезапно взявшійся Михайло, бросился съ коломъ въ рукахъ на совершавшаго свою обычную раннюю прогулку по селу пана, съ дерзкимъ крикомъ: „собаци собачья смерть!" Панъ лежалъ на снѣгу съ перешибленной рукой, закрывъ голову другой и поднявъ ногу, какъ бы желая оттолкнуть ею свирѣпаго Михайлу, а тотъ заносилъ уже вновь свой колъ, когда вѣрный Кондратъ быстрѣе молніи схватилъ его сзади за горло и своими могучими руками повалилъ рядомъ съ паномъ.

Картина была ужасная. Дѣдъ, отецъ и

всѣ мы стояли какъ вкопанные, прильнувъ къ оконнымъ стекламъ, и машинально крестились, глядя, какъ Кондратъ и панскіе челядинцы вязали сильно боровшагося дюжаго Михайлу, а выскочившій шинкарь Іось топталъ его въ то же время по лицу каблукомъ, крича во все горло: „собака, хамъ, какъ ты смѣешь нападать на пана!“ Улица моментально наполнилась народомъ, и панъ, поднявшись съ помощью Кондрата и опираясь на его плечо, въ понятномъ волненіи набросился на собравшихся...

— А, такъ вы такъ, хамы проклятые!— кричалъ онъ толпѣ, сильно вспыливъ.—Вы всѣ за одно, я знаю!... Покажу-жь я вамъ!... Запляшете вы у меня! Докажу-жь я вамъ, что я—вашъ панъ и что воленъ во всемъ, что вся ваша поганая шкура принадлежитъ мнѣ... Только въ одной проклятой душѣ вашей не воленъ я, хамы, потому что она принадлежитъ не мнѣ, а чорту!...

— Врешь, Иродъ, собака,—ревѣлъ ему въ отвѣтъ Михайло,—врешь!... Душа наша Божья!... Ты самъ—чортъ поганый, и жена твоя—чертиха и твои дѣти—чертенята.

— На конюшню!—громовымъ голосомъ крикнулъ панъ, весь трясясь и захлебыва-

ясь.—Нѣтъ, стой! Здѣсь, предъ цѣлою деревней, чтобы всѣ знали и видѣли! Розогъ! Цѣлый возъ розогъ!!...

Собралась громадная дворня, явились розги... Народъ стоялъ потупившись и утирая слезы, струившіяся по блѣднымъ щекамъ,—ему былъ дорогъ преступный Михайло. По грубому, мужицкому понятію, это было, конечно, не преступленіе, а подвигъ,—еще вчера Солоха ставила въ примѣръ собаку, защищающую своихъ щенятъ. Уподобившійся такой собакѣ ея возлюбленный лежалъ на землѣ и кричалъ толпѣ: „Благословите, на смерть, добрые люди! На смерть иду!“ А глупый сынъ его Андрей съ женой и дѣтьми валялись въ слезахъ на снѣгу и причитывали: „Тату, тату, на кого вы насъ покидаете!...“—и проклинали свою долю. Солохи не было; она лежала въ безпамятствѣ.

Но вотъ взвились розги, раздался крикъ, и у меня закружилась голова и подкосились ноги. Когда я очнулся, на улицѣ все уже было тихо,—не было ни розогъ, ни крику, ни толпы... Только снѣгъ прямо противъ нашихъ оконъ былъ окрашенъ кровью, и на немъ лежалъ покрытый холстиною трупъ

умершаго подъ розгами Михайла, возлѣ него сидѣлъ дѣдъ и другой старикъ, караулившіе въ ожиданіи слѣдствія, а смѣшной, косноязычный Панфилъ читалъ своимъ козлинымъ голосомъ молитву.

Глава III.

Въ которой я несу жестокое наказаніе за свою дѣтскую чистоту и искренность.

Солоха пролежала, къ моему счастью, цѣлыхъ шесть недѣль, и такимъ образомъ все это время я былъ свободенъ отъ ея злобы, криковъ и брани. Она не видѣла ни ужасной, но вполнѣ заслуженной смерти Михайла, ни того, какъ его трупъ потрошилъ, къ ужасу всей суевѣрной деревни, докторъ, не слышала допросовъ чиновника, производившаго слѣдствіе, о результатѣ котораго я такъ и не узналъ никогда ничего. Все это время она провела между жизнью и смертью и очень можетъ быть, что не привези отецъ въ критическій моментъ знаменитаго знахаря Левка изъ далекой деревни, она отдавала бы уже отчетъ Богу въ своей неугасимой злобѣ и преступной жизни.

Признаюсь, все это время я жилъ надеж-

дой, что мнѣ придется увидѣть Солоху въ длинномъ деревянномъ гробу, который заколотятъ острыми гвоздями, унесутъ и зароютъ въ глубокую могилу, а для предохраненія отъ ея загробной злобы и мстительности вколотятъ въ спину большой осиновый колъ. Этою надеждой я увлекался до того, что въ своемъ воображеніи собственноручно обтесывалъ колъ и вколачивалъ его Солохѣ въ спину, читая общеизвѣстный заговоръ противъ вѣдьмъ и колдуновъ, и очень опечалился, когда предписанныя Левкомъ обливанія неожиданно оказали свое дѣйствіе и Солоха стала приходить въ себя. Конечно, я знаю, что нехорошо желать смерти ближнему, но въ данномъ случаѣ это мое желаніе было тѣмъ естественнымъ желаніемъ законнаго наказанія преступнику, которое присуще каждому богобоязненному и благонамѣренному гражданину. А развѣ не заслуживала Солоха своей неукротимою злобой, неуваженіемъ къ старшимъ, плохимъ воспитаніемъ дочери, результатомъ котораго было самоубійство, и, наконецъ, прямымъ подстрекательствомъ Михайла къ насилію, слѣдствіемъ котораго явилась его ужасная смерть,—не заслуживала ли она названіе пре-

ступницы и самаго тяжкаго наказанія? Очень можетъ быть, что человѣкъ, изломанный жизнью, привыкшій къ явленіямъ зла, царящаго въ мірѣ, поколебался бы въ своемъ приговорѣ, или даже нашелъ бы какія-нибудь заслуживающія снисхожденія обстоятельства, — находятъ же ихъ для убійцъ и воровъ наши фалантропы присяжные,—но мое дѣтски-чистое, невинное сердце, всецѣло открытое одному хорошему, не способное ни на какой безчестный компромиссъ, могло отвѣтить одно: да, заслуживала!

Добрая мать съ своей безконечною вѣрой въ людей, съ своимъ постояннымъ оптимизмомъ возлагала большія надежды на все происшедшее и на самую болѣзнь Солохи, предполагая своимъ чистымъ сердцемъ, что злая баба отрезвится и оправится, перестанетъ рычать и накидываться на всѣхъ и на все. Она не разъ громко высказывала такую увѣренность вслухъ, но грубые люди, въ томъ числѣ и мой отецъ, любившій въ Солохѣ свою же грубость, буйство и злобу, обыкновенно накидывались за это на мать, превознося злую бабу, которую косноязычный дьячокъ Панфилъ возводилъ даже въ мученицы...

О, бѣдная мать! съ какимъ бы правомъ могла ты воскликнуть, рыдая отъ этой брани и колкихъ намековъ: „Прости имъ, не вѣдаютъ бо, что творятъ!...“

Въ первый же день, какъ только Солоха оправилась на столько, что могла встать съ постели и подвязать запаску, иллюзіямъ матери суждено было разсѣяться прахомъ... Выйдя на улицу, она прямо пошла къ кабаку, гдѣ по случаю воскреснаго дня толпился народъ и находился Кондратъ, котораго панъ, за его подвигъ, великодушно, попански, отпустилъ на волю и наградилъ деньгами, оставивъ бурмистромъ за жалованье, и предерзко, не говоря ни слова, плюнула ему въ лицо...

— Я тебя запорю, дохлая чертовка!— вспылилъ, понятно, Кондратъ, вытирая платкомъ оплеванные глаза и хватая Солоху за руки.

— Запори! На, убей!—заорала она ему въ отвѣтъ.—Кровопивецъ, Іуда! Убей! Я у Бога выпрошу твою подлую душу и сама снесу ее чорту, своими же руками я задушу тебя изъ могилы!

Она протянула свои костлявыя руки. Видъ ея былъ до того страшенъ, голосъ такъ

звучалъ грозно, что немного суевѣрный Кондратъ отступилъ, остолбенѣвъ, сталъ креститься и ушелъ, плюя и повторяя: „вѣдьма“, оставивъ ее въ покоѣ...

— А, испугался, панское отродье!—заорала ему вслѣдъ Солоха.—Охъ, кабы мнѣ штаны носить, не сидѣла бы я какъ эти байбаки, трусы!—и она указала на оторопѣвшихъ мужиковъ.

Боже! что еслибъ въ самомъ дѣлѣ она носила штаны?!...

Въ тотъ же вечеръ она накинулась ни съ того, ни съ сего на Галю за ея красивое лицо и яркій румянецъ.

— Цвѣти, цвѣти, какъ маковъ цвѣтъ,—рычала она,—пану на сладость, а роднѣ на срамоту!—и довела бѣдную дѣвочку до слезъ. Затѣмъ стала вспоминать свою Олесю, сына и мужа, и ругала, на чемъ свѣтъ стоитъ, пана, пугая этимъ, какъ всегда, отца. Наконецъ, страшная ругань перешла у ней въ тихій плачъ. Она сидѣла тихо, не двигаясь, глядя куда-то въ уголъ печи, и только крупныя слезы текли одна за другой по ея мертвенно-блѣдному, сухому лицу. Мнѣ даже жалко ее стало,—такъ былъ несчастенъ ея видъ; но вдругъ она подняла глаза вверхъ

и какимъ-то глухимъ, точно могильнымъ, голосомъ крикнула, какъ будто рыдая:

— Боже! пошли мнѣ въ десять разъ худшее, если на то Твоя воля, но дай же такъ, чтобы намъ, людямъ, жилось легче!

Я думаю, она немного помѣшалась. Въ концѣ концовъ вышло какъ разъ наоборотъ тому, что предполагала мать. Годы проходили и Солоха становилась все сварливѣе, злѣе, ея нападки ядовитѣе. Но что всего хуже — вліяніе ея на отца возросло до невозможнаго: отецъ положительно сталъ глядѣть на нее какъ на что-то непогрѣшимое, совѣтывался съ нею обо всемъ, по поводу каждой мелочи, не перечилъ ей даже намекомъ, не говоря уже объ обращеніи, которое походило на какое-то благоговѣніе. Мать, знавшая себѣ цѣну, сознававшая въ душѣ свое превосходство надъ Солохой, не могла, конечно, относиться къ этому хладнокровно, спокойно сносить отцовскую грубость и жесткость, когда въ то же время съ Солохой онъ обращался какъ бы съ природною паней, и вслѣдствіе этого учащались у насъ въ хатѣ ссоры и распри даже между отцомъ и матерью. Бѣдная мать плакала все чаще и чаще; жизнь ея стано-

вилась все невыносимѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ расла и ея любовь ко мнѣ, единственному существу, ей сочувствовавшему, понимавшему и страстно дѣлившему всѣ ея симпатіи и антипатіи.

Галя тянула въ сторону отца и Солохи, въ хатѣ которой и проводила бо́льшую часть времени, за что я дразнилъ ее „теткиной дочкой“, въ особенности возмущаясь грубостью, съ какою она позволяла себѣ частенько огрызаться на мать, а Тарасъ былъ моей положительною противоположностью, что, конечно, не могло располагать къ нему мать. Въ противоположность мнѣ, онъ былъ здоровый, толстый мальчикъ, съ толстыми, красными щеками, необычайно подвижной, крикливый драчунъ, пестунъ отца и Солохи, у котораго не было ни капельки какихъ бы то ни было интересовъ внѣ общей мужицкой доли, на сторонѣ которой лежали всѣ его симпатіи. Онъ былъ, что называется, мужицкій ребенокъ и выглядѣлъ такимъ съ головы до ногъ, грубый, крикливый, дерзкій, всей душой преданный лошадямъ, коровамъ, своему полю и хатѣ и всѣмъ сердцемъ отдающійся мужицкимъ играмъ и потѣхамъ. Солохѣ, понятно, чрезвычайно нравилось

въ немъ мужицки-грубое лихачество и дерзкое удальство, которое она называла казачествомъ, но которое въ сущности есть отрицаніе всякихъ приличій, благонравія и даже, пожалуй, уваженія къ старшимъ, и своими поддакиваніями, похвалами, а также постояннымъ порицаніемъ моей задумчивости и отвращенія къ бѣснованіямъ, она сильно способствовала развитію въ немъ этого казачества. Можно положительно безъ преувеличеній сказать, что не было въ селѣ такого высокаго дерева, на которое бы Тарасъ въ сообществѣ съ своими друзьями, такими же сорванцами, Стецкомъ, внукомъ Солохи, сыномъ единственно оставшагося ей сына Андрея, и долговязымъ Кузькой, сыномъ дьячка Панфила, не взлазилъ, гоняясь за птичьими гнѣздами; не было такой собаки, которую бы они не подразнили; не было такого коня, съ котораго бы они не летали, по нѣскольку разъ расшибая въ кровь носы. Но послѣднее ему было ни по чемъ; онъ считалъ это даже молодечествомъ и обыкновенно, поревѣвъ и размазавъ затѣмъ по лицу слезы, смѣшавшіяся съ кровью и соплями, принимался вновь за свое, а на всѣ угрозы и порой даже сильные подза-

тыльники разсерженной матери отвѣчалъ своимъ неизмѣннымъ, дерзкимъ, насмѣшливымъ: овва!

Все свое время, какъ и Галя, онъ проводилъ или у Солохи, или летая по селу съ неизмѣнными друзьями, сорванцами, выкидывая при этомъ какія-нибудь пакостныя штуки. Въ рѣдкія посѣщенія нашей хаты онъ дразнилъ обыкновенно меня „бабой“, „соплякомъ“ и иными обидными прозвищами, заимствованными у Солохи, за что я мстилъ ему ногтями; а когда онъ собирался въ отвѣтъ пустить въ ходъ силу, на помощь мнѣ всегда являлась мать.

— Что ты, Солохино отродье,—такъ мѣтко называла его мать,—накидываешься на ребенка!—и отпускала ему обыкновенно препорядочнаго тумака; но, получивъ таковой и даже морщась порой отъ боли, этотъ сорванецъ все-таки храбрился и въ отвѣтъ кричалъ насмѣшливо свое неизмѣнное: „овва“.

— Постой же, чортовъ сынъ, я поправлю, если не болитъ!—сердилась мать на его „овва“, поднимая руку для удара, но его и слѣдъ простылъ.

Такъ вотъ каковъ былъ мой братецъ!

Могъ ли я любить его общество, имѣть влеченіе къ его играмъ и потѣхамъ, кончавшимся для меня всегда плачевно, такъ какъ Тарасъ обыкновенно не могъ обойтись безъ того, чтобы не устроить мнѣ какой-нибудь пакости, при посредствѣ своихъ друзей, а въ случаѣ игры „въ судьбу“, когда злой рокъ дѣлалъ меня воромъ, а его судьей или катомъ, онъ отсыпалъ мнѣ неисчислимое количество жесточайшихъ ударовъ,— могъ ли я не мѣнять это на разсказы и ласки матери? Правда, вслѣдъ за всякой своею пакостью, вызывавшею мои слезы, онъ бросался мнѣ на шею, увѣрялъ въ своей любви, дарилъ свои дудки и даже предлагалъ къ моимъ услугамъ свой вихорь, который я могъ тогда безнаказанно теребить вволю,—но могло ли все это вознаградить меня могло ли, привлекать меня, замѣнять мнѣ нѣжную, милую мать? И могла ли подобная мать не предпочитать меня— задумчиваго, тихаго, любящаго, всецѣло жившаго ея жизнью—буйному и дерзкому сорванцу, всѣмъ сердцемъ преданному ея злѣйшему врагу, ненавистной Солохѣ.

Но не долго продолжалось золотое, беззаботное время моего дѣтства подъ теплымъ

крыломъ матери, среди чудныхъ грезъ и видѣній. Скоро по настоянію Солохи и къ вящему торжеству ея, несмотря на протесты матери, жалѣвшей мои слабыя, хилыя силы, отецъ запрегъ меня въ тяжелую деревенскую работу. И раньше еще приходилось мнѣ исполнять то то, то другое по хозяйству: возить, напримѣръ, навозъ, гонять скотъ и т. п., — но пока только въ крайнихъ случаяхъ, при положительной необходимости, когда всѣ прочіе были по горло заняты; словомъ, раньше я являлся работникомъ какъ тотъ ракъ, что, по пословицѣ, на безрыбьи становится рыбой. Но теперь отецъ, такъ сказать, оффиціально призналъ меня работникомъ и возложилъ на мои еще дѣтскія плечи тяжелыя обязанности каторжной жизни земледѣльца. Съ весны я долженъ былъ выѣзжать на ночную пастьбу лошадей въ поле, помогать отцу за плугомъ въ качествѣ „погонычa“, боронить съ утра до ночи, а въ сѣнокосъ ворошить и возить сѣно. Каждую слезу мою, вызванную непосильною, ненавистною мнѣ работой, каждую ошибку, происходившую отъ обычной моей задумчивости и привычки мечтать о заманчивой

дворовой службѣ, отецъ встрѣчалъ всегда суровымъ взглядомъ, а порою, и очень часто, бранью, не то и колотушкой. Я знаю, что въ душѣ онъ все-таки любилъ меня и въ простотѣ своей думалъ принести мнѣ всѣмъ этимъ пользу въ будущемъ, но отъ этого мнѣ, конечно, не могло быть легче.

Не подозрѣвая, что въ душѣ моей зрѣли иныя потребности и совершенно чуждыя ему и условіямъ жизни наклонности, онъ, со словъ Солохи, глядѣлъ на меня какъ на лѣнтяя и малоспособнаго малаго, ставя мнѣ всегда въ примѣръ краснощекаго и буйнаго Тараса. Бѣдный отецъ! что еслибъ онъ зналъ, насколько я былъ выше Тараса, насколько мои стремленія и вкусы были совершеннѣе его общихъ всѣмъ крестьянскимъ дѣтямъ земледѣльческихъ инстинктовъ? Объ этомъ знала только одна мать, на колѣняхъ которой я выплакивалъ свое дѣтское горе, поклявшаяся употребить всѣ усилія, чтобы такъ или иначе вырвать меня изъ этой растлѣвающей среды, изъ этихъ ужасныхъ, забивающихъ всѣ духовныя стороны человѣка, условій.

Время шло, а я все стоналъ подъ тяжелымъ ярмомъ, надѣтымъ на меня отцомъ.

По мѣрѣ того, какъ подрасталъ Тарасъ, мои обязанности переходили къ нему, а на меня возлагались еще болѣе сложныя и тяжелыя, и бывали минуты, когда я страстно завидовалъ буйному Тарасу, рожденному для одной деревенской работы, съ наслажденіемъ мазавшему дегтемъ телѣгу, съ восторгомъ гонявшему быковъ за тяжелымъ плугомъ или скакавшему на неосѣдланныхъ лошадяхъ. Его врожденныя буйство и дерзость не мало способствовали ухудшенію моего положенія, такъ какъ, пользуясь своимъ физическимъ превосходствомъ, въ отсутствіе матери онъ никогда не упускалъ случая выкинуть мнѣ за работой пакость или досаждать своими глупыми насмѣшками. Разъ, когда мы подмазывали телѣгу,—онъ обыкновенно бралъ на себя мазанье (его любимое дѣло было пачкотня), а меня заставлялъ подваживать оси,—онъ мазнулъ меня по лицу дегтемъ.

Мать была далеко, заступиться за меня не могъ никто, и я, горько заплакавъ, сталъ высказывать Тарасу, какъ неблагородно обижать слабѣйшихъ, и, отдавшись порыву горя и чувству одиночества, рисовалъ ему картину моихъ страданій и преслѣдованій

со стороны всѣхъ. Такъ какъ мои слова и слезы видимо растрогали буйнаго сорванца, да и мнѣ самому было какъ-то пріятно это неожиданное жалобное изліяніе, то я продержалъ его до тѣхъ поръ, пока Тарасъ весь въ слезахъ не бросился ко мнѣ на шею и не сталъ стирать съ моего лица дегтя рукавомъ рубашки.

— Иди себѣ! Вы—всѣ злые, какъ Солоха... Знаешь, что за меня никто не заступится, потому и обижаешь, а, небось, другого побоишься!...

— Не плачь же, Ивасику, ей-богу, не плачь и прости... А я, ей же Богу, говорю тебѣ, никого не побоюсь,—возразилъ онъ, цѣлуя и вытирая меня.

— Что ты врешь—не побоишься! Ты, можетъ, скажешь, что и Кондрата не боишься?

— Овва, твой Кондратъ!—и онъ отпустилъ тутъ нецензурное выраженіе.

— Что-жь, ты и его вымажешь?—насмѣхался я надъ нимъ.

Тарасъ расхохотался,—такъ понравилась ему эта мысль.

— Ей же богу вымажу, только бы мнѣ запопасть его, собачьяго сына!—прыгалъ онъ отъ буйнаго восторга.

Тарасъ воспринялъ ненависть къ Кондрату отъ отца, Солохи и вообще всѣхъ сельчанъ, и я зналъ, что онъ не постоитъ выкинуть ему пакость. Вотъ отлично, еслибъ онъ въ самомъ дѣлѣ ее выкинулъ и получилъ достодолжное возмездіе, какъ бы я тогда хохоталъ надъ нимъ, припоминая ему всѣ обиды, насмѣшки и послѣднее мазанье меня дегтемъ.

— Не хвастайся, Тарасъ, не хвастайся!— началъ я его подзадоривать.

О, еслибъ я зналъ, чѣмъ кончится для меня это подзадориванье глупаго и буйнаго сорванца!

Немного спустя, Тарасъ дѣйствительно вымазалъ Кондрата дегтемъ. Наблюдавшій за молотьбой на панскомъ гумнѣ Кондратъ, по обыкновенію, заснулъ съ храпомъ на мягкой соломѣ и въ это время три друга-сорванца неслышно подкрались къ нему съ мазницей. Стецько стоялъ на-сторóжѣ, Кузька держалъ мазницу, а Тарасъ, съ трудомъ сдерживая визгъ восторга, влѣпилъ ему въ глаза и въ усы цѣлую кучу дегтя. Быстро сорвавшійся Кондратъ сталъ тереть глаза и улепетывавшимъ, какъ пули, сорванцамъ несомнѣнно удалось бы улизнуть, не споткнись

Тарасъ, съ разбѣга наскочившій на бревно, и не разшиби себѣ ногу. Отецъ рубилъ въ лѣсу дрова и въ хатѣ оставались только я да мать, когда, какъ вихрь влетѣвшій, Стецько передалъ намъ эту страшную новость.

— Господи, онъ погубитъ насъ всѣхъ!— крестилась мать, а я даже остолбенѣлъ отъ страха.

Почти вслѣдъ за этимъ раздался знакомый намъ отчаянный визгъ и показался вымазанный, страшно разсерженный, Кондратъ въ сопровожденіи громадной хохотавшей толпы мужиковъ, держа за вихорь Тараса. Тарасъ визжалъ какъ поросенокъ и, несмотря на раненную ногу, дѣлалъ неимовѣрныя усилія и руками и ногами, извивался какъ угорь, чтобъ освободиться отъ страшнаго плѣна.

— Скажи, чортовъ сынъ, кто былъ съ тобою,—я видѣлъ трехъ?—сердито трясъ его за вихорь Кондратъ, но Тарасъ въ отвѣтъ только визжалъ, болталъ ногами и старался укусить державшую его руку.

Такъ какъ никакія угрозы и перспектива сѣченія не дѣйствовали и Тарасъ не выдавалъ своихъ друзей, а только визжалъ и брыкался, то Кондрату оставалось догадываться

самому, и онъ естественно легко могъ заключить, что однимъ изъ помощниковъ Тараса былъ я, его братъ. Одна мысль объ этомъ бросила меня въ дрожь и, боясь страшныхъ для себя послѣдствій и не имѣя никакихъ причинъ покрывать дерзкихъ сорванцовъ, я чистосердечно указалъ на нихъ Кондрату. Стецько былъ немедленно вытащенъ изъ-подъ печи, а за Панфиломъ побѣжалъ гонецъ, такъ какъ Кондратъ не имѣлъ права самъ наказывать „вольнаго" Кузьку.

— Будете-жь вы до втораго пришествія помнить сегоднешній день,—грозилъ сорванцамъ задыхавшійся отъ обиды Кондратъ въ ожиданіи розогъ.

Но въ это время прибѣжала на ихъ визгъ работавшая въ огородѣ Солоха. Узнавъ въ чемъ дѣло, она поблѣднѣла отъ страха за своихъ любимцевъ и стала плача просить отпустить ихъ. Она знала, что Кондратъ шутить не любитъ.

— Видишь, онъ уже ногу разбилъ!—указывала она на Тараса, стоявшаго теперь тихо, какъ столбъ, въ ожиданіи страшнаго наказанія, можетъ-быть даже участи Михайла.

— Это его Богъ наказалъ, а теперь я накажу,—отвѣчалъ Кондратъ.

Всѣ ожидали ругани, самой ядовитой брани и крика, но, къ общему изумленію, Солоха упала на колѣни.

— Я ноги буду цѣловать твои, только прости ихъ, дѣтей,—рыдала она,—а то ты убьешь ихъ, они вѣдь маленькіе. Не дѣлай зла, можетъ Богъ зачтетъ тебѣ это въ заслугу на страшномъ судѣ своемъ. Развѣ ты такъ-таки совсѣмъ каменный?!—и она плача обнимала его ноги.

Жалостныя ли слова, или необычный униженный видъ ея, пріятно щекотавшій самолюбіе Кондрата, подѣйствовали на него, только онъ сначала, какъ и всѣ, изумленный, вдругъ улыбнулся и сказалъ:

— Ну, встань, баба, встань... Если ужь такъ просишь, то я имъ прощаю... Я вовсе не злой и не гадюка, какою вы всѣ меня воображаете... Но пусть же помнятъ, чортовы дѣти!—и онъ полушутя, полусерьезно пребольно оттаскалъ сорванцовъ за вихры.

Имъ прошло даромъ, но меня, неповиннаго, ожидала лютая кара. Поймавъ меня въ огородѣ, Солоха спустила мои штаны и стала жарить меня крапивой, приговари-

вая за каждымъ ударомъ: „не доноси“, до тѣхъ поръ, пока не прибѣжала на мой крикъ мать и не вырвала изъ рукъ разъяреннаго звѣря.

Я давно ненавидѣлъ Солоху, но всегда помнилъ наше родство,—помнилъ, что, какъ бы тамъ ни было, она все-таки была мнѣ родною теткой, лицомъ, къ которому, хотя наружно, я долженъ былъ относиться съ уваженіемъ и ни въ какомъ случаѣ не высказывать своей ненависти открыто. Семья, семейныя отношенія, узы крови — всѣ эти святыя вещи каждому благомыслящему человѣку—были дороги моему сердцу еще съ дѣтства, и какъ бы тяжело ни приходилось мнѣ отъ Солохи, какой бы страшною руганью ни осыпала она меня, какъ бы ни мучила мои дѣтскіе годы, я всегда ограничивался однѣми слезами и не позволялъ себѣ ничего рѣзкаго и буйнаго. Но послѣ такого возмутительнаго поступка ея со мною, послѣ такого неслыханнаго звѣрскаго мученія — ни за что, ни про что, когда, въ сущности, я былъ достоенъ скорѣе похвалы, чаша терпѣнія моего лопнула и, признаюсь, въ моемъ сердечкѣ закипѣло желаніе мести. Я знаю, что это не хорошее, преступное

чувство, но я былъ не ангелъ, а изстрадавшійся, слабый мальчикъ, не успѣвшій еще выработать въ себѣ твердыхъ нравственныхъ правилъ, и какъ мнѣ теперь ни больно, но я не считаю себя въ правѣ скрыть это отъ читателя. Искренно и чистосердечно каюсь я въ этомъ нехорошемъ чувствѣ, въ полной увѣренности, что добрые люди поймутъ мое положеніе и, помня, что и солнце не безъ пятенъ, найдутъ мнѣ оправданіе.

Закипѣвшее чувство мести, признаюсь, не давало мнѣ покоя и часто даже по ночамъ я метался безъ сна, лихорадочно обдумывая, чѣмъ бы отомстить Солохѣ, чтобы дать ей почувствовать всю ея несправедливость и жестокость и вмѣстѣ съ тѣмъ самому не быть, конечно, въ отвѣтѣ. Услужливое воображеніе рисовало мнѣ много плановъ самыхъ остроумныхъ, блестящихъ, вполнѣ достигавшихъ цѣли отрезвленія вѣдьмы, но такъ какъ осуществленіе ихъ требовало, прежде всего, чтобъ я былъ паномъ или, по крайней мѣрѣ, бурмистромъ, то они такъ и остались страстными мечтами, еще больше разжигавшими закравшуюся въ сердце месть. Я былъ тогда еще настолько чистъ и невиненъ душой, что могъ сдѣлать зло

только въ воображеніи, и много, много безсонныхъ, лихорадочныхъ ночей промчалось прежде, чѣмъ я додумался до реальной, осуществимой мести. Я задумалъ сжечь всѣ лѣчебныя травы Солохи, которыми она дорожила больше всего на свѣтѣ послѣ своей семьи и любимцевъ и которыя собирала годами. Это было вполнѣ осуществимо, да къ тому же ставило меня внѣ всякихъ подозрѣній,— стоило только не упустить случая, когда никого не будетъ въ Солохиной хатѣ. И кто знаетъ, не выручи счастливый случай, и я, можетъ быть, сдѣлалъ бы это и заклеймилъ бы такимъ образомъ свои молодые годы преступленіемъ, виновникомъ котораго никто не считалъ бы меня.

А совѣсть?

Глава IV.

Я дѣлаю свой первый самостоятельный шагъ.

Въ одинъ изъ праздничныхъ дней, какъ разъ послѣ того, какъ всѣ члены нашей семьи встали отъ обѣденнаго стола, а я, притаившись въ сѣняхъ, доѣдалъ превкусный кусокъ хлѣба, обмазанный густою сме-

таной,—добрая мать всегда потихоньку надѣляла меня какими-нибудь лакомствами,—вошла Солоха и позвала сопутствовать ей всѣхъ насъ на поиски какого-то зелья. Галя и Тарасъ, конечно, обрадовались возможности побѣситься, а я, признаться, пошелъ съ сокрушеннымъ сердцемъ. Меня вообще пугалъ лѣсъ, какъ средоточіе вѣдьмъ, лѣшихъ, волковъ и разбойниковъ, которыхъ я боялся больше смерти, почему и держался все время вблизи Солохи.

Сестра, братъ и ихъ неизмѣнные друзья, Стецько и Кузька, разбрелись во всѣ стороны, изрѣдка перекликаясь самыми ужасными голосами; я же, слѣдя за Солохой, чтобы не потерять ее изъ вида, волей-неволей забрелъ за ней въ ужасные кусты и кочки, царапалъ себѣ лицо и рвалъ рубашку, проклиная на чемъ свѣтъ стоитъ эту медицинскую экскурсію. Незамѣтно для меня мы очутились съ нею въ ужасномъ черномъ яру, дикой лощинѣ, обрамленной скалами съ пещерами, въ которыхъ, по общему увѣренію, жили черти, лѣшіе и иная мерзость, и какъ на зло надъ нами носились тучи воронъ съ своимъ зловѣщимъ карканіемъ.

Понятно, что, вмѣсто поисковъ травы, я крестился, читалъ молитвы и цѣловалъ свой крестикъ. Мнѣ вдругъ блеснула мысль, что Солоха нарочно завела меня сюда, чтобъ отдать чертямъ, и мое робкое сердечко затрепетато въ страхѣ. Этотъ страхъ перешелъ въ неописуемый ужасъ, когда внезапно появившаяся изъ дикой заросли страшная, оборванная, худая фигура, живо напоминавшая чорта, повалилась Солохѣ въ ноги.

— Мама, мама, — раздалось въ моихъ ушахъ,—развѣ ты не узнаешь своего роднаго сына, своего Остапа, мама?

Прислонясь спиной къ высокому дубу, стояла Солоха, блѣдная и испуганная не менѣе меня, вытаращивъ свои ужасные глаза и дрожа съ ногъ до головы. Она что-то хотѣла сказать, но языкъ ей не повиновался и блѣдныя губы безсильно дрожали, а тотъ, рыдая, все продолжалъ свое:

— Глянь же на меня, — молилъ онъ и плакалъ,—развѣ я такъ измѣнился, что ты не можешь узнать меня? Развѣ не признаетъ меня твое материнское сердце, мамо?

— Богъ мой, Пречистая Дѣва!—зарыдала вдругъ Солоха, — ты ли это, Остапъ, сынъ

мой? Ты не мертвый? Остапъ, соколъ мой, кровь моя, мое сердце!

— Я, мамо, я!—и онъ цѣловалъ ея босыя, грязныя ноги.

Солоха и Остапъ возились долго, какъ бѣсноватые. Стоя на колѣняхъ, онъ ловилъ ея ноги, а она, наклонясь, искала устами его лицо, его блѣдныя губы и черные глаза. Прижавъ къ груди сына, она безумно цѣловала его черную, взъерошенную, нечесанную голову, обливая ее слезами и шепча что-то дикое и безсмысленное, какіе-то обрывки фразъ и невозможныя сравненія, когда онъ, прижавшись къ ней, вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ отъ глухого рыданія. Наконецъ, онъ вырвался и снова бросился къ ея ногамъ.

— Ты убѣжалъ, мой голубь сизокрылый?—спросила Солоха, склоняясь къ нему на траву.

— Убѣжалъ! Ой, мамо, мамо...—и онъ отрывистыми фразами, неясными, неопредѣленными восклицаніями передавалъ ей свое житье-бытье.—Все болитъ... все тѣло, все побито, поломано!...—причитывалъ онъ съ глухимъ рыданіемъ, протягивая свои желтыя, исхудалыя, исцарапанныя въ кровь руки.

— Гдѣ, гдѣ?—точно въ опьяненьи, въ забытьи, спрашивала Солоха и страстно, безумно цѣловала его руки, и грудь, и ноги.

— Не на радость родился я, мамо, не на радость и тебѣ, и себѣ!... Горе одно.

— Сыну мой бѣдный, сыну несчастный!

— Сколько разъ я уже думалъ, что не доведется мнѣ увидѣть твои ясныя очи и родную землю! Сколько разъ я просилъ себѣ смерти у Бога!

— Ты видишь ли и слышишь ли это, Боже? — какъ-то злобно прошипѣла Солоха, поднявъ голову къ верху, но по синему небу высоко кружились только черныя точки, точно плывя и догоняя другъ друга.

— Гдѣ же ты дѣнешься теперь?

— Пойду въ степи или на Донъ,—тамъ много бѣглыхъ, такихъ, какъ я, и живутъ себѣ вольно. Только для тебя завернулъ я сюда и ждалъ ночи, чтобы постучаться къ тебѣ въ хату, но самъ Богъ привелъ тебя ко мнѣ, мамо!—и онъ, рыдая, прижималъ къ себѣ Солоху и осыпалъ ее поцѣлуями.

Признаюсь, я не такъ былъ занятъ этою сценой нежданной встрѣчи злой бабы съ преступнымъ сыномъ, какъ вызванными ею мыслями и соображеніями. Я отлично зналъ

съ дѣтства, что побѣгъ—страшное преступленіе, строго преслѣдуемое закономъ,—преступленіе, за которое „гоняютъ сквозь строй“, и что бѣглые вообще страшные люди. Все это отлично было извѣстно въ любой хатѣ, и мнѣ еще ребенкомъ приходилось слушать разсказы о разныхъ случаяхъ бѣгства и строгомъ за него наказаніи, которому въ нашемъ селѣ было довольно очевидцевъ. Такимъ образомъ теперь для меня было несомнѣнно и ясно, что Остапъ совершилъ преступленіе, что—онъ большой преступникъ, котораго Солоха должна была скорѣе прогнать отъ себя, чѣмъ обнимать и цѣловать не будь она сама въ душѣ такою же преступницей. Я былъ такъ поглощенъ этими мыслями, что и не замѣтилъ, какъ Солоха встала.

— Кто это? — спросилъ Остапъ, провожавшій Солоху, указывая на меня, до сихъ поръ спрятаннаго кустомъ.

— Не бойся, не бойся, мой голубь! Это нашъ,—отвѣтила Солоха:—твой племянникъ. Посиди же здѣсь, подожди, а я принесу тебѣ хлѣба.

Я побѣжалъ, еле поспѣвая,—такъ быстро летѣла Солоха, приказавшая мнѣ держать

языкъ за зубами. Она прямо забѣжала къ матери, разсказала шепотомъ все случившееся и спросила: нѣтъ ли свѣжаго хлѣба, такъ какъ у ней былъ черствый, давно испеченый. Мать немедленно вынесла двѣ громадныя ковриги, предложила денегъ, но у Солохи были свои, и та бросилась уже бѣжать, когда мать окликнула ее.

— Постойте, Солоха! У меня пекутся коржи, я сейчасъ ихъ вынесу.

— Нѣтъ, нѣтъ,—заторопилась та:—я не могу ждать.

— Ну, я пришлю съ Ивасикомъ!—крикнула ей мать.

Я бѣжалъ, нагруженный вкусными, осыпанными макомъ, коржами.

Вотъ плотина, вотъ послѣдняя хата слѣпаго Грыця,—вотъ начало парка... Налѣво—дворъ, направо—дорога въ ужасный лѣсъ, гдѣ ждали меня преступникъ и злая Солоха... Еще нѣсколько шаговъ, и село осталось бы за мною.

— Не сказать ли все пану?

Эта мысль, незамѣтно таившаяся во мнѣ все время, осѣнила меня вдругъ, сразу, внезапно, какъ ударъ молніи, и невольно заставила меня остановиться. О, тогда Со-

лоха получитъ свое! Она попомнитъ свою крапиву и мнѣ незачѣмъ будетъ жечь ея травы. Эта мысль наполнила мой мозгъ, проникла въ кровь, охватила всего и неудержимо влекла впередъ, туда, за красивую чугунную ограду, гдѣ виднѣлись громадныя окна и стройныя колонны, гдѣ текла такая чудная, заманчивая жизнь, безъ Солохъ, безъ каторжной, грубой работы... Но что-то неясное, смутное,—что-то такое, чему я не могу найти названіе, что-то похожее на робость и неувѣренность,—точно удерживало меня, и я отлично помню, какъ сильно билось мое сердечко.

Я не думалъ, не соображалъ, не анализировалъ; я весь отдался инстинкту и влеченію своего чистаго сердца... Я чувствовалъ, какъ осѣнившая мысль охватывала меня все сильнѣе, побѣждая все, туманя разсудокъ, становясь чѣмъ-то неотразимымъ, какъ потребность, невыносимымъ, какъ сильная жажда, и я не думалъ, не могъ думать о послѣдствіяхъ для себя.

— Куда идти: направо или на лѣво?

Что-то неясное, смутное вновь проснулось во мнѣ и моментально погибло.

— Если встрѣчу кого на дворѣ, то скажу!

Я пошелъ налѣво; у воротъ стоялъ вѣрный слуга пана, старикъ Стась.

. . . . . .

Когда Стась, выслушавъ меня и погладивъ по головкѣ, ушелъ къ пану, а я остался одинъ, меня внезапно охватилъ ужасъ. Теперь я понялъ, что меня не простятъ ни Солоха, ни отецъ, что меня ждетъ впереди что-то страшное, и я побѣжалъ, самъ не зная куда и зачѣмъ, и бѣжалъ до тѣхъ поръ, пока не очутился въ бурьянѣ нашего огорода. Тамъ я долго лежалъ, плача и притаившись, забывъ о коржикахъ и чутко прислушиваясь къ поднявшейся въ селѣ тревогѣ и къ топоту скакавшихъ лошадей. Я зналъ, куда и зачѣмъ это скачутъ, и всѣ послѣдствія моего поступка все ярче и реальнѣе рисовались предо мною. Я видѣлъ грозное лицо отца, испуганный видъ матери, слышалъ крикъ Солохи...

— Что дѣлать? Къ кому идти?

. . . . . .

Мать пряла, что-то напѣвая, и въ испугѣ вскочила, увидавъ мой блѣдный, встревоженный видъ.

— Что съ тобою, Ивасику? Богъ мой!

— Мамо!—началъ я, дрожа, но рыданія заглушили мой голосъ.

— Что же съ тобою, сыну? Говори!

— Мамо, я все сказалъ пану!

— Что?

— Я сказалъ Стасю про Остапа!

— Несчастное дитя!—Мать всплеснула руками, задрожавъ всѣмъ тѣломъ.—Что ты надѣлалъ?—И она долго стояла неподвижно.

— Мамо, мамо! Спаси меня!

Она все стояла, какъ бы не слыша и не понимая ничего, но вдругъ схватила меня за руку и побѣжала къ пану. Панъ оставилъ меня при дворѣ, принявъ въ число своей дворни.

Когда я, наконецъ, вышелъ отъ пана, котораго мать на колѣняхъ умоляла спасти меня отъ мести родныхъ за мой поступокъ и который погладилъ меня по головкѣ и назвалъ добрымъ хлопцемъ, во дворъ въѣзжала телѣга съ Остапомъ, окруженная конвоемъ, а за воротами сильно выла Солоха. Связанный по рукамъ и ногамъ, Остапъ лежалъ неподвижно, плача и смотря куда-то вверхъ, блѣдный, еще болѣе взъерошенный и оборванный.

— Прощай, мамо! Прощай навѣкъ! —

крикнулъ онъ ей, а Солоха всплеснула руками и закричала:—Сынъ мой, сынъ мой!

Мнѣ, признаться, стало жаль ихъ обоихъ. Вдругъ Солоха различила меня за рѣшеткой и перестала даже выть отъ изумленія.

— Ивасю, это ты?

Я молчалъ... Мнѣ было какъ-то неловко.

— Ивасю! Что ты тутъ дѣлаешь?

Я молчалъ.

Она прямо смотрѣла на меня, вытаращивъ глаза и мрачно сдвинувъ брови. Слезы дрожали у ней на рѣсницахъ и стояли на блѣдныхъ щекахъ. Казалось, она вовсе не дышала.

— Слушай!... Но нѣтъ, этого быть не можетъ. Слушай! Неужели это ты сдѣлалъ?

— Будешь теперь помнить свою крапиву,— смѣло отвѣчалъ я, чувствуя себя необычайно бодро въ своемъ новомъ положеніи, котораго наконецъ добился.

Солоха всплеснула руками, покачала головой не сводя съ меня глазъ, но вдругъ протянула свою сухую, костлявую руку и раскрыла свой ужасный ротъ:

— Будь же ты проклятъ отъ нынѣ и во вѣки!... Пусть дѣти твои проклянутъ и отвернутся отъ тебя!

Но что же могло значить проклятіе злой, разъяренной вѣдьмы?

Глава V.

Впередъ!

Панъ былъ тучный, круглый, какъ шаръ, мущина небольшаго роста, съ громаднымъ животомъ, на кривыхъ короткихъ ногахъ, съ толстою шеей и обвислымъ, жирнымъ подбородкомъ. Несмотря на свое пристрастіе придавать себѣ грозный видъ, сдвигая и хмуря рѣдкія брови, таращa сѣрые, бѣгавшіе глазки, покручивая длинный усъ и говоря отрывисто съ хрипомъ, онъ сильно побаивался своей второй жены, гордой, высокой красавицы, на половину моложе его, изъ истинно-шляхетскаго рода Незапхальскихъ, родствомъ съ которымъ панъ очень гордился. Онъ былъ истый сангвиникъ, подвижной, веселый кутила, страстный охотникъ и ловеласъ, не брезгавшій деревенскими красотками, легко подчинявшійся чужому вліянію до того, что имъ управлялъ его старый камердинеръ Стась.

Совсѣмъ не то была пани. Въ противуположность отчасти неряшливому пану, съ

утра одѣтая въ дорогія шелковыя или бархатныя ткани, усыпанная жемчугомъ и каменьями, соперничавшими съ блескомъ ея чудныхъ черныхъ глазъ, недоступная, холодная, сдержанная, она даже съ паномъ рѣдко говорила иначе, какъ въ полъ-оборота, да и то зачастую въ третьемъ лицѣ. Лучшею характеристикой ея отношеній къ дворнѣ можетъ служить то, что не только мы, вся дворня, отъ мала до велика, но даже самъ всемогущій Стась—трепетали ея малѣйшаго движенія и дрожали, исполняя ея порученія, выслушивая ихъ не иначе, какъ съ наклоненною головой и опущенными долу глазами и втихомолку звали ее „вѣдьмой“.

Хотя, конечно, дворня боялась и пана, но къ этой боязни не примѣшивалось ничего враждебнаго; боязнь его была, такъ сказать, естественнымъ срахомъ предъ старшимъ, предъ всемогущимъ начальникомъ, нераздѣльная съ глубокимъ почтеніемъ и преданностью, на которыхъ и зиждилась.

Панъ былъ очень вспыльчивъ и всѣмъ частенько доставалось отъ его вспыльчивости, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ умѣлъ и миловать, снисходилъ иногда до шутокъ и смѣха, за то его и любили. Но пани, не знавшую

даже именъ дворни, для которой она всегда была только „ты“ или „онъ“, подъ ледянымъ спокойствіемъ, вѣчною ровностью и сдержанностью которой всѣ провидѣли страшное презрѣніе, вполнѣ, впрочемъ, заслуженное, граничившее чуть ли не съ отрицаніемъ человѣческаго подобія,—всѣ боялись ненавидя.

У пана было двое дѣтей отъ перваго брака: паничъ Михась и панна Зося, только-что начинавшая лепетать первыя слова, и я былъ приставленъ къ паничу и его учителю, старому французу Ратоплану. Я обязанъ былъ чистить сапоги и платье, убирать комнаты, а въ свободное время играть съ паничемъ, замѣнять ему лошадку или что-нибудь въ этомъ родѣ. Часто приходилось мнѣ подпрыгивать, какъ настоящему рысаку, отъ ударовъ кнутикомъ, задыхаться въ петлѣ и сильно почесывать то мѣсто, куда разилъ меня деревянный палашъ, но страшнѣе всего становилось мое положеніе, когда паничъ, вообще сильно увлекавшійся всѣмъ, воображалъ меня осужденнымъ къ ста ударамъ плетью. Несмотря на самыя грозныя увѣренія панича, что я слуга и обязанъ повиноваться безпреко-

словно,—подъ вліяніемъ ужаса я забывалъ все, не слышалъ и летѣлъ съ мольбой о защитѣ къ французу, всегда принимавшему мою сторону.

— Фи, Михась, — говаривалъ въ такихъ случаяхъ Ратопланъ, качая головой, точно клюя своимъ длиннымъ носомъ воздухъ: — фи, какъ вамъ не стыдно... Это божье созданіе и такъ уже обижено, вы и такъ уже счастливѣе его, а хотите еще мучать!—и гладилъ меня по головкѣ.

Паничъ всегда краснѣлъ на это, на глазахъ появлялись слезы, и онъ бросался мнѣ на шею, а старикъ Ратопланъ доставалъ табакерку, напихивалъ табакомъ свой громадный клювъ и, улыбаясь, говорилъ:

— Это хорошо, такъ, такъ... Это хорошо, мое дитя, вѣдь онъ тоже человѣкъ!

Паничъ вообще былъ добрый, хотя и недалекій мальчикъ.

Пани не любила дѣтей пана, и такъ какъ она была единственнымъ и неограниченнымъ законодателемъ всего дома, такъ какъ всѣ ея желанія и симпатіи становились общимъ закономъ для всѣхъ, и, понятно, прежде всего для самого пана, то паничъ Михась былъ точно забытъ или оставленъ. Для него съ

учителемъ были отведены двѣ изъ заднихъ комнатъ палаццо, куда почти никто не заглядывалъ и гдѣ шла своя особая, совсѣмъ отдѣльная отъ остальной, своеобразная жизнь, героями которой мы были трое. Выпадали иногда цѣлые дни, въ особенности зимой, когда ни Михась, ни учитель не видали ни пана, ни пани и даже не выходили изъ своихъ комнатъ; учитель вообще вѣчно возился съ книгами, и тогда единственнымъ звеномъ, связывавшимъ ихъ съ общей жизнью палаццо, былъ я, приносившій изъ людской всѣ новости о происшествіяхъ дня. Безъ особаго каждаго разъ позволенія или приглашенія паничъ не могъ выходить въ залы, на половину пана или пани, и часто ему приходилось довольствоваться моими разсказами о происходившемъ, наѣздахъ гостей, шумныхъ пирахъ, роскошныхъ обѣдахъ, волшебныхъ балахъ, гдѣ бѣшено кружились подъ звуки дворовой музыки чудныя пани, прелестныя, какъ ангелы, въ объятіяхъ ловкихъ кавалеровъ, и гдѣ я, одѣтый въ красивую ливрею, разносилъ съ другими слугами питье и сласти. Забившись гдѣ-нибудь въ уголъ своей скучной классной комнаты, въ вечерней полутьмѣ, — когда Ратопланъ

въ сосѣдней комнатѣ жадно клевалъ своимъ клювомъ громадные фоліанты, — поджавъ ноги, опершись головой на руки и не спуская съ меня страстно горѣвшихъ глазъ, паничъ дрожа выслушивалъ мои разсказы, весь горѣлъ, плакалъ и проклиналъ свою мачиху, съ воцареніемъ которой въ домѣ прошли его счастливые дни... О, пусть только онъ выростетъ, пусть только станетъ большимъ, — онъ, прямой наслѣдникъ!... О, онъ тогда покажетъ ей... Онъ ее выгонитъ, непремѣнно выгонитъ!

Онъ завидовалъ мнѣ, а я бы отдалъ все на свѣтѣ, чтобы быть на его мѣстѣ.

Ни проклятія и угрозы панича, ни наговоры дворни не вліяли на меня и не могли вселить во мнѣ враждебнаго чувства къ пани: мое чистое сердечко вообще не способно было поддаваться ненависти,—напротивъ, вмѣстѣ съ страхомъ я чувствовалъ къ пани какое-то безпредѣльное, безотчетное уваженіе, какъ къ чему-то недосягаемому, чуть ли не сверхъестественному, и всѣми силами рвался къ тому, чтобы заслужить ея одобреніе. Быстрѣе птицы бросался я поднимать падавшее изъ ея рукъ, подносить стулья, подавать воду, но всѣ мои усилія

долгое время были тщетны и долгое время ея чудные глаза едва-ли могли бы отличить меня въ числѣ другой ливрейной дворни.

А какъ я былъ правъ, что не поддавался злому вліянію и чувству!

Разъ, утромъ, когда вообще лѣнивый паничъ учился изъ рукъ вонъ плохо, въ классную, гдѣ былъ и я въ то время, вошла неожиданно пани въ сопровожденіи толстаго ксендза и нѣсколькихъ молодыхъ шляхтичей. Поцѣловавъ тепло сына, она сказала своимъ провожатымъ:

— Вотъ онъ, мой сынъ, мой милый мальчикъ, дороже котораго у меня ничего нѣтъ на свѣтѣ... Ну, какъ онъ учился сегодня?— заботливо спросила она француза.

Ратопланъ, крайне недовольный лѣнью панича, вообще всегда избѣгавшій лжи, прямо отвѣтилъ правду и добавилъ, что даже я, случайно присутствовавшій при урокѣ, понялъ его объясненія и схватилъ кое-что, а Михась только болталъ ногами.

— О, какъ это терзаетъ мое сердце!— жалобно простонала опечаленная пани, а ксендзъ и шляхтичи стали читать Михасю наставленія... Они говорили ему, что онъ не похожъ на шляхтича, если допускаетъ,

чтобы простой мужичокъ бралъ перевѣсъ надъ нимъ, и что грѣшно терзать сердце такого ангела-матери.

Упрекъ въ томъ, что онъ не похожъ на шляхтича, сильно подѣйствовалъ на самолюбиваго и вспыльчиваго, какъ и отецъ, панича; онъ вскочилъ, весь блѣдный, выпрямился и закричалъ:

— Не правда!... я такой шляхтичъ, какъ и вы, а можетъ-быть даже и лучше!... И грѣшно вамъ называть человѣка ангеломъ: она—не ангелъ и не мать мнѣ,—мать моя въ гробу,—а она мачиха!

Всѣ остолбенѣли. Мальчикъ дрожалъ, глотая слезы, у пани сверкнули глаза и щеки покрылись густымъ румянцемъ. Наступило неловкое молчаніе, и только одинъ ксендзъ нашелся:

— Иди сюда, хлопче!—сказалъ онъ мнѣ,—какъ тебя зовутъ?

— Ивась, ваша вельможность.

— Ну, Ивась, хорошо говоритъ твой паничъ? Скажи по совѣсти! Не стыдно ли ему?

— Стыдно и грѣшно, вельможный пане,—чистосердечно отвѣтилъ я—Пани наша святой ангелъ божій!... Мы всѣ молимъ за ея

доброту Бога, и я хоть сейчасъ брошусь въ огонь за пани.

Я такъ увлекся своимъ чистымъ чувствомъ, что, забывъ объ общей черной злобѣ, приписалъ его всѣмъ.

Мои слова видимо понравились пани. Она взглянула въ мою сторону съ мягкой улыбкой и, обнявъ паныча и сдѣлавъ упрекъ своей свитѣ за то, что раздражали самолюбиваго, гордаго ребенка, сказала учителю:

— А знаете, что мнѣ пришло на мысль,— учите-ка его,—она указала на меня, вмѣстѣ съ Михасемъ; это будетъ доброе дѣло... Можетъ-быть изъ него и толкъ выйдетъ, и онъ послѣ отблагодаритъ насъ за это, да и Михась будетъ прилежнѣе заниматься изъ соревнованія.

— Ангелъ! Что за сердце! — вскричали шляхтичи, а Ратопланъ даже правскочилъ.

— Это и моя идея, сударыня! — быстро заговорилъ онъ,—я самъ хотѣлъ доложить вамъ объ этомъ... Онъ, видимо, очень способный мальчикъ!

— Ну, и отлично! А ты доволенъ?—обратилась ко мнѣ пани.

Вмѣсто отвѣта я бросился въ ноги.

— Что, ты, что ты! — заговорила быстро пани, закрывая юбкой свои ножки,—нà ужь, поцѣлуй руку, если непремѣнно хочешь благодарить!

— Нѣтъ, святая пани, — я не достоинъ цѣловать вашу бѣлую ручку — отвѣтилъ я, увлеченный своимъ искреннимъ чувствомъ, валяясь у ея ногъ.

— А развѣ ты достоинъ цѣловать такую божественную ножку? Я бы жизнь отдалъ, чтобы прикоснуться къ ней губами!—отрѣзалъ на мои слова одинъ изъ шляхтичей, панъ Кондратовичъ.

Всѣ громко засмѣялись, а видимо довольная пани, слегка хлопнувъ его вѣеромъ, сказала ему уходя:

— Ахъ какой донъ-жуанъ! Что можно, сударь, такому чистому созданію,—указала она на меня,—того нельзя такому сорвиголовѣ, какъ вы!

До сихъ поръ я говорилъ только о казовыхъ сторонахъ моей новой жизни, но была въ ней оборотная сторона,—сторона тяжелая и горькая, стоившая мнѣ многихъ горячихъ слезъ, отравлявшая болью мои свѣтлыя, дѣтскія радости, какъ пчелиное жало—благодушно лакомящагося чистымъ, свѣтлымъ

медомъ.—Я жилъ уже не въ грязной хатѣ, не возился съ дегтемъ, не стоналъ подъ ярмомъ каторжнаго труда, противнаго моей природѣ, не ходилъ въ лохмотьяхъ, не слышалъ брани Солохи... Мои свѣтлые дѣтскіе сны сбылись во всей своей прелести... Я смѣло ходилъ по волшебнымъ заламъ, смѣло глядѣлся въ громадныя зеркала, ощупывалъ своими руками самыя дорогія ткани и вещи, на ногахъ моихъ сверкали лакомъ крытые сапожки, мой жилетъ горѣлъ огнемъ, пуговицы и галуны ливреи слѣпили глаза... Я слышалъ панскія рѣчи и шутки, я видѣлъ блестящую, почти сказочную, прелесть шумныхъ баловъ, я дышалъ всѣмъ тѣмъ, чего давно просила моя дѣтская грудь,—однако, я часто лилъ горячія слезы и чувствовалъ себя несчастнымъ. О, конечно, не въ ненасытности или жадности моей таилась причина этого; я ничего не желалъ для себя тогда бо́льшаго, ни къ чему не рвался, вполнѣ довольный достигнутымъ. Корень моихъ слезъ лежалъ въ людской злобѣ,—въ той черной, завистливой злобѣ, которая никогда не прощаетъ человѣку его счастливыхъ дней и всегда стремится отомстить болью за его счастье.

Что можетъ быть злѣе толпы?! Одинъ только благородный Стась изъ цѣлой дворни не мучалъ и не издѣвался надо мной и защищалъ отъ другихъ,—для всѣхъ же остальныхъ—вислоухихъ болвановъ лакеевъ, нахаловъ кучеровъ, пьяницъ поваровъ и глупыхъ, вертлявыхъ, какъ вороны, горничныхъ—я былъ постояннымъ и единственнымъ предметомъ жестокой травли. Вся эта грязная орава, эта грубая сволочь, только и думавшая что о своихъ животахъ, только и глядѣвшая, какъ бы гдѣ стянуть что-нибудь, самымъ нахальнымъ образомъ ругавшая между собой за глаза и пана, и въ особенности пани, поднимавшая ихъ на̀-смѣхъ,—словомъ, развратная, безпринципная сволочь обрушилась на меня съ перваго же дня.

Къ моему счастью, благодаря матери, я зналъ настолько польскую рѣчь, что могъ свободно понимать приказанія, и съ этой стороны, слѣдовательно, былъ неуязвимъ, но за то я не умѣлъ держать себя, какъ слѣдовало, не зналъ, какъ многое исполнить, былъ совершеннымъ наивнымъ новичкомъ въ дѣлахъ комнатной службы, и на это-то налегли мои мучители. Длинные, вислоухіе болваны, полные грубаго самодовольства и

тщеславія, гордые своимъ всезнаніемъ, вмѣсто того, чтобъ учить меня толкомъ, продѣлывали надо мной жестокія шутки, подводя на разныя пакости, которыя я наивно выполнялъ, обманутый мягкимъ, дружескимъ тономъ, каковой обыкновенно пускался въ ходъ въ такихъ случаяхъ, и только боками своими убѣждался, что совѣтъ былъ злой. Въ наивности я ѣлъ ваксу, мазалъ дегтемъ шляхетскіе ботинки, подавалъ самоваръ съ холодною водой и дѣлалъ массу другихъ несообразностей, пока горькимъ, тяжелымъ опытомъ не научился своимъ обязанностямъ. Дворня, набранная вся изъ мѣстнаго мужичья, сохранившая связи съ деревней, отдававшая ей свои грубыя симпатіи, возненавидѣла меня съ перваго же дня за Солоху и Остапа, старалась напакостить то тѣмъ, то другимъ. Хуже и больше всѣхъ допекалъ меня верзила лакей Ясь и, когда его жестоко выпороли за данный имъ мнѣ совѣтъ — войти въ залъ съ мороженнымъ въ шапкѣ на головѣ и прыгая на одной ножкѣ,—это былъ мой первый выходъ въ залъ, что я и объявилъ пану, когда онъ, вспыливъ, прикакалъ меня сѣчь,—дворня стала считать меня самымъ злѣйшимъ вра-

гомъ. У меня вырывали хлѣбъ и бросали собакамъ, въ мой обѣдъ плевали, въ работѣ мѣшали,—словомъ, меня мучили и терзали, какъ могли. Правда, послѣ того, какъ я сталъ учиться у Ратоплана по приказанію пани,—ошеломленная этимъ буйная сволочь стала осторожнѣе со мною и не дѣлала открыто своихъ пакостей, но за то скрытая злоба ея возросла еще больше. Прозвище же Каинъ, раньше данное, они замѣнили ироническимъ „панычъ“, сопровождая его всегда гнуснымъ, поганымъ прилагательнымъ, привести которое не позволяетъ мнѣ чувство приличія.

Не меньшее озлобленіе ко мнѣ чувствовало и все мужичье села, всѣ эти поклонники Солохи, начиная съ дьячка Панфила и кончая даже моею родней. Первые дни своего пребыванія въ палаццо я страстно ждалъ свиданія съ матерью, горя естественнымъ для ребенка желаніемъ щегольнуть своимъ новымъ блестящимъ костюмомъ и узнать, между прочимъ, что дѣлается дома, и сломя голову побѣжалъ ей на встрѣчу. Мать только-что сдала свое приношеніе экономкѣ и, завидя меня, такъ и всплеснула высоко руками.

— Ивасику, сыночку мой милый!— радостно удивилась она, таращa глаза на широкіе галуны и красный жилетъ и убѣдившись, что это дѣйствительно я, ея любимый сынъ, она добавила, горячо цѣлуя меня: Боже, какой же ты гарный... чистый панычъ!

Затѣмъ она снова начала осыпать меня поцѣлуями, пачкая мукой, которою вся была обсыпана и, продолжала:

— Ой, Ивасику, снигиречекъ мой, много ты бѣды надѣлалъ, но я очень благодарна Пресвятой Владычицѣ, что она вывела тебя на хорошую дорогу, и по-прежнему люблю тебя. Вѣдь не по злобѣ же ты все сдѣлалъ, а по своей простотѣ дѣтской. Да и Солоха эта, такая проклятая, все тебя допекала... Ну, что же, хорошо тебѣ?

Я разсказалъ ей про отношеніе дворни. Мать сильно опечалилась, даже заплакала.

— Ой, бѣдный ты Ивасику, бѣдный!... И всѣ тебя такъ клянутъ и не любятъ. Отецъ... тотъ и слышать о тебѣ ничего не хочетъ, точно ты и не сынъ ему, такъ что ты и не ходи къ намъ пока, а то еще изобьетъ тебя,—знаешь вѣдь, какой онъ,—и Тараса противъ тебя подучаетъ. А дѣдъ даже захво-

ралъ отъ огорченія,—и бѣдная мать заплакала, обнимая меня.

Я, конечно, тоже заплакалъ.

— А правда, сыночку, люди говорятъ, что Солоха прокляла тебя?—спросила она испуганно, и когда я, плача, подтвердилъ это, она поблѣднѣла и стала креститься.—Боже мой, Боже мой!... Проклятая вѣдьма, что она надѣлала,—испуганно шептала мать крестясь сама и крестя мою голову.—Бѣдное дитятко!

А я громко зарыдалъ, испуганный ея видомъ и шепотомъ.

— Не плачь, не бойся, Ивасику, сыночку мой наилюбый,—стала она утѣшать меня, крѣпко сжимая въ своихъ объятьяхъ,—я у Владычицы замолю это проклятіе, я на колѣняхъ вымолю тебѣ святое благословеніе, и сама благословляю тебя!—И, цѣлуя, она положила на меня благословеніе, на вѣки нерушимое.

Глава VI.

Я открываю глаза и чистымъ, преданнымъ сердцемъ побѣждаю злую клику.

Конечно, меня не могла особенно печалить злоба всей солохиной клики, но, при-

знаюсь, моему дѣтскому наивному самолюбію было немного досадно, что я не могу явиться предъ всею враждебною толпой во всемъ блескѣ дворовой ливреи. Я былъ увѣренъ, что одинъ мой видъ ошеломитъ всѣхъ какъ ошеломилъ мать, что всѣ станутъ мнѣ завидовать и сразу раскаятся въ своихъ прежнихъ обидныхъ прозвищахъ сопляка, байбака и т. п. Когда же я сталъ учиться у Ратоплана, къ этому присоединилось естественное желаніе съ другими подѣлиться своими знаніями и показать Тарасу и его друзьямъ, что есть нѣчто почтеннѣе и выше знанія конскихъ примѣтъ и умѣнья держать возжи. Это желаніе охватывало меня все сильнѣе и сильнѣе и я увѣренъ, что, потеряй я надежду выполнитъ его когда-нибудь, мое новое положеніе потеряло бы для меня прежнюю прелесть. Меня тянуло въ деревню до того, что иногда я испытывалъ просто скуку, но боязнь отца удерживала меня проситься въ отпускъ. Это мое дѣтское тщеславіе, въ которомъ чистосердечно каюсь, понесло свое наказаніе, послѣ котораго у меня открылись глаза, и я увидѣлъ, что съ деревней у меня нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго, что каждый изъ насъ, что назы-

вается, особь статья. Тогда только я понялъ, что мнѣ не должно быть никакого дѣла до мнѣній деревни, и что добиваться лучшаго человѣкъ обязанъ ради самого себя, ради своего человѣческаго достоинства.

Прошло много времени, много успѣлъ я уже узнать отъ долгоносаго Ратоплана, прежде чѣмъ навернулся случай безо всякаго риска показаться мнѣ въ деревнѣ въ качествѣ панскаго гонца.

Былъ чудный, мягкій вечеръ; солнце готовилось спуститься за лѣсъ и бросало на землю свои прощальные багрово-золотые лучи, отъ которыхъ мой жилетъ алѣлъ еще ярче, а галуны отливали золотомъ, когда я ѣхалъ на великолѣпномъ дворовомъ конѣ съ панской запиской къ ксендзу, жившему на противуположномъ концѣ деревни. Я нарочно пустилъ коня легкимъ шагомъ, желая продлить эффектъ и прислушаться къ толкамъ и впечатлѣніямъ, и отлично помню, какъ сильно трепетало мое маленькое сердечко, и какъ я пріосанивался, воображая себя чуть ли не сказочнымъ принцемъ. Помню, впрочемъ, что мнѣ было въ то же время какъ-то жутко, и я сильно не желалъ встрѣчи съ отцомъ или съ Солохой.

Но деревенская улица была почему-то пуста и я встрѣчалъ только меленькихъ ребятишекъ, таращившихъ на меня глаза и шептавшихъ въ удивленіи хорошо долетавшія до моего слуха слова: „смотри, смотри, Ивась ѣдетъ!“—что̀ пріятно щекотало мое наивное самолюбіе. Два-три лица показались въ окнахъ хатъ, да нѣсколько собакъ съ лаемъ набросилось на коня—вотъ и все, что встрѣтило меня по дорогѣ, признаюсь, къ немалой моей досадѣ. Но на обратномъ пути я еще издали замѣтилъ въ бурьянѣ три знакомыя фигуры—Тараса съ друзьями и, пріосанившись, остановилъ противъ нихъ коня въ тотъ именно моментъ, когда они готовились пустить великолѣпнаго громаднаго змѣя.

— Здравствуй, Тарасъ — немного гордо, но мягко сказалъ я брату, повернувшись къ нему всѣмъ своимъ жилетомъ.—Увы! моимъ гордымъ надеждамъ суждено было разлетѣться въ прахъ,—ни яркій жилетъ, ни серебряные галуны и блестящія пуговицы не произвели желаннаго впечатлѣнія. Грубые, дикіе сорванцы, привыкшіе къ своимъ лохмотьямъ, не обратили на нихъ ни малѣйшаго вниманія, точно и не замѣтили, а мое

дружеское привѣтствіе встрѣтили залпомъ самыхъ обидныхъ прозвищъ.

— Дураки! — огорчился я, обиженный и раздосадованный.—Вы ругаетесь потому, что завидуете мнѣ.

— Мы тебѣ завидуемъ?—иронически засмѣялся Тарасъ, оттопыривъ по своему обыкновенію нижнюю губу.

— Ну, да, завидуете... моему платью! На, смотри, какое оно,—не такое, какъ ваше! Завидуете, что я при панахъ, а вы—мужики.

— Ось твое платье съ твоими панами, смотри! — отрѣзалъ Тарасъ, повернувшись спиной и сдѣлавъ одинъ изъ самыхъ непозволительныхъ жестовъ.

— Что, отвѣдалъ, вкусно — загоготали оба его друга, Стецко и Кузька. Меня страшно взорвало. Я чувствовалъ себя разочарованнымъ и обиженнымъ,—чувствовалъ, какъ еще ниже сталъ въ глазахъ этой грубой деревенщины. Мнѣ хотѣлось и унизить ихъ, и наказать, и сдѣлать что-нибудь такое, что сразу поставило бы меня выше ихъ. Разсчитывая на свою безопасность на лошади, я ловко хлестнулъ Кузьку хлыстомъ. Это повлекло за собою большую бѣду для меня. Какъ съ цѣпи сорвавшіеся звѣри, бросились

сорванцы ко мнѣ и въ то время, когда дерзкій до нахальства Тарасъ схватилъ подъ уздцы лошадь и повисъ на нихъ, Кузька и Стецко схватили мою ногу, стараясь изо всѣхъ силъ стянуть меня съ сѣдла. Я поднялъ крикъ, испуганная лошадь поднялась на дыбы вмѣстѣ съ уцѣпившимся за нее, какъ бульдогъ, Тарасомъ и, подъ злобный хохотъ сбѣгавшагося на мой крикъ мужичья, я въ одинъ моментъ какъ-то очутился на землѣ, въ пыли, подъ градомъ кулачныхъ ударовъ.

— Ай да молодцы, ай да хлопцы!—ревѣла одобрительно толпа, когда я, корчась отъ боли, молилъ о пощадѣ разсвирѣпѣвшихъ негодяевъ, входившихъ все въ большій азартъ, и сквозь этотъ общій ревъ, какъ визгливый кларнетъ, выдѣлялось неистовое козлиное блеяніе дьячка Панфила.

— Лупи, Кузька, лупи, сыну, лупи молодчика, выбей ему панскую квашу!—визжалъ этотъ недостойный своего званія служитель храма, а подзадориваемые негодяи забили бы меня до смерти, не явись мнѣ на помощь Солоха, вѣроятно, побужденная къ тому боязнью за послѣдствія для своего Стецка. Ворвавшись неожиданно, она быс-

тро растолкала бившихъ меня негодяевъ и подняла меня съ земли.

— Будетъ съ него! Что, вы забить хотите его, что ли?—накинулась она на нихъ.—А вы что подзадориваете?—огрызнулась она на толпу, хохотавшую.—Давайте лошадь... Садись!—и она подсадила меня на сѣдло.

Мое пышное платье было все въ пыли и мѣстами даже разорвано, во всемъ тѣлѣ я чувствовалъ жгучую боль, точно оно было у меня изломано, а толпа дико хохотала и осыпала меня самою ужасною бранью. По щекамъ моимъ текли слезы, но въ душѣ стояла только одна больная обида за мое такъ грубо поруганное человѣческое достоинство. Я все, кажется, могъ простить, но только не эту унизительную сцену, и сознаніе, что я безсиленъ, что я ничего не могу сдѣлать, еще больше терзало меня. Отъѣхавъ немного, я не выдержалъ и обратился къ визжавшему Панфилу:

— Постой, хапокнышъ проклятый,—смѣло крикнулъ я ему,—достанется тебѣ отъ пана, я все ему скажу.

Но Панфилъ пустилъ въ меня и пана такою бранью, что даже простой мужикъ,—

не церковный служитель, — считалъ бы ее для себя грѣхомъ.

Во дворѣ, на распросы дворни по поводу моего истерзаннаго вида, я сказалъ, боясь насмѣшекъ, что упалъ съ лошади, но я зналъ, что раньше или позже всѣ узнаютъ настоящую причину, и тогда мнѣ не будетъ проходу. О, эта глупая, подлая дворня!... Я забился въ уголъ темной гостиной, одинъ, и тихо плакалъ. Меня терзала вся вынесенная мною сцена; я какъ-то невольно сталъ вспоминать всѣ выпадавшія до сихъ поръ на мою долю обиды, всѣ пакости дворни, и плакалъ все сильнѣе. Мало ли вынесъ я мученій въ особенности отъ этого подлаго нахала Яся, а когда этотъ дерзкій извергъ узнаетъ происходившее сегодня, онъ меня заѣстъ насмѣшками. Боже, что бы я далъ, чтобъ избавиться отъ всего этого, зажать глупые рты дворни, избавиться отъ Яся! О, еслибы Богъ открылъ глаза пани, какъ преданъ я и какъ они всѣ и этотъ Ясь въ особенности относятся къ ней и пану!

— Кто это плачетъ?

Я вскочилъ. Предо мной стояла сама пани.

— Кто тутъ?

— Я!—отвѣтилъ я сквозь слезы.

— Чего ты плачешь? — спросила она, всматриваясь въ меня наклонившись, такъ какъ въ комнатѣ было темно.

Я молчалъ и только плакалъ.

— Говори же, кто тебя обидѣлъ, ну?...

Все, что кипѣло у меня въ груди, что невольно таилось въ ней, страстно вырвалось наружу, все перенесенное, выстраданное, полилось рѣкой. Я бы и не могъ себя сдерживать, еслибы хотѣлъ,—у меня кружилась голова, подкашивались ноги, и я весь дрожалъ и трясся... Словъ своихъ я и тогда не помнилъ,—это былъ какой то страстный монологъ, экспромптъ, болѣзненный крикъ наболѣвшей, изстрадавшейся души, жалоба и молитва вмѣстѣ... Я говорилъ въ общихъ чертахъ о моихъ страданіяхъ, о моей преданности пани, какъ я готовъ за нее выложить всю душу, отдать по каплѣ кровь, и какъ за это мучитъ меня дворня, всегда ее ругающая и проклинающая и, рыдая, я упалъ къ ея ногамъ, прося спасти меня...

— Встань,— мягко сказала она, — и ея теплая, мягкая ручка коснулась моей щеки. Кто же тебя обижаетъ больше другихъ?

Ея голосъ привелъ меня въ себя и я только теперь сталъ сознавать все произшедщее. Я жаловался вообще, а не на кого-нибудь. Это было изліяніе, а не жалоба... На кого же мнѣ жаловаться?—конечно на Яся...

— Ясь, вельможная пани!

Въ тотъ же вечеръ Ясь смѣнилъ пышную ливрею на лохмотья свинопаса. Дворня была побѣждена.

Глава VII.

Мой первый визитъ.

Разъ у пана гостей не было; за обѣдомъ сидѣлъ одинъ неизмѣнный ксендзъ и пани, вскинувъ на меня глазами, когда я мѣнялъ ей тарелку, сказала, обращаясь къ ксендзу шепотомъ, настолько громкимъ, что я всетаки разслышалъ:

— Это замѣчательно хорошій мальчикъ Онъ очень преданъ.

А ксендзъ, которому я всегда оказывалъ глубокое почтеніе, цѣлуя его руку не иначе, какъ подхвативъ ее на обѣ ладони, отвѣтилъ:

— Я самъ замѣтилъ это. Онъ очень по-

чтителенъ!—И затѣмъ добавилъ съ глубокимъ вздохомъ:—Душевно сожалѣю, что онъ не принадлежитъ къ лону нашей святой церкви.

Панъ, смаковавшій жирную индѣйку, переспросилъ, о комъ идетъ рѣчь, и такъ какъ мнѣніе ксендза, а въ особенности пани, было для него закономъ, то онъ, хотя до сихъ поръ не обращалъ на меня никакого вниманія, быстро и громко говорилъ:

— Да... да... да! Совершенно вѣрно, замѣчательный мальчикъ. О, я давно его замѣтилъ, давно!—И затѣмъ, всмотрѣвшись въ меня и какъ бы вспомнивъ, почти закричалъ:—Вѣдь вы знаете, онъ разбойника обнаружилъ! Помню, помню: за то я и взялъ его. Мать просила избавить его отъ мести... Замѣчательный мальчикъ!... Ну, что твоя мать?—обратился онъ ко мнѣ, вытирая салфеткой лоснившійся жиромъ подбородокъ.

— Молитъ Бога за ласки вашей вельможности,—отвѣтилъ я.

— Да, да, да! Хорошая женщина! Славный сынъ! Скажи ей... Нѣтъ, постой... Стась!—закричалъ панъ.

— Я здѣсь, ваша вельможность,—отвѣтилъ почтительно Стась за панскимъ кресломъ.

— А, здѣсь? Ладно. Скажи эконому, что я велѣлъ освободить его мать,—панъ указалъ на меня,—отъ еженедѣльнаго сбора. Понимаешь, скажи: за заслуги сына! Слышишь?

— Точно такъ, ваша милость!

— Такъ и скажи!—И, довольный эффектомъ, а главное брошеннымъ на него взоромъ, которымъ пани отплатила за эту внимательность къ ея похвалѣ, панъ весело приказалъ мнѣ встать, когда я повалился, по установленному обычаю, въ ноги... А затѣмъ повернулся къ остальной прислугѣ:

— Видите и помните! Съумѣю награждать заслуги... Но...—И онъ погрозилъ пальцемъ.

Такимъ образомъ мое положеніе упрочилось и улучшилось; послѣ Стася я сталъ вторымъ лицомъ по положенію и катался, какъ сыръ въ маслѣ. Напуганная дворня волей-неволей принуждена была таить свою черную злобу, которая точила ихъ низкія души. Нѣкоторые даже стали лебезить предо мною и заискивать. По своей добротѣ я охотно прощалъ таковымъ, забывалъ всѣ прошлыя пакости и насмѣшки, относился къ нимъ дружески и даже оказывалъ иногда

разныя услуги. На алчное мужичье не могла, конечно, не подѣйствовать оказанная матери ради меня панская милость, и деревня, хотя и не переставала относиться ко мнѣ враждебно, не могла уже смотрѣть на меня, по-прежнему, какъ на ничтожность. Враждебность же отца, по словамъ матери, почти улеглась. Прійдя благодарить пана за милость, она горячо цѣловала меня.

— Видно, сильно мое материнское благословеніе, сыночку любый!—сказала она,—что всякое зло, тебѣ сдѣланное, превращается въ добро... Тебя побили негодяи,—ахъ! задала-жь я тогда Тарасу,—а панъ тебя наградилъ.

— За меня Яся прогнали. Я теперь первый послѣ Стася!—гордо добавилъ я, заглушая этимъ обидныя воспоминанія объ уличной катастрофѣ.

— Слышала, слышала, дитятко! Какже!—радостно и вмѣстѣ съ тѣмъ гордо подхватила мать.—Знаю! И отецъ теперь доволенъ панской лаской. Уже не клянетъ тебя! Ты забѣги къ намъ, не бойся,—цѣловала она меня, когда я поморщился на ея приглашеніе,—нельзя вѣдь, дитятко: все же онъ отецъ тебѣ!

— Хорошо, мамо! Если ты хочешь, для тебя я все сдѣлаю,—отвѣтилъ я.

Мать такъ и замерла въ поцѣлуѣ.

— Ахъ, ты мой любый! Мой красавчикъ золотой!—страстно зашептала она.—Нечего дѣлать, сыночку: нужно тебѣ повидаться съ отцомъ. Забѣги, но не ходи къ намъ,—тебѣ въ деревнѣ нечего дѣлать. Погоди, они сами, прійдетъ время, будутъ забѣгать къ тебѣ и кланяться въ ноги.

Не была ли мать пророчицей?

Въ первое же воскресенье я отправился домой. Боже, какъ чужда, какъ отвратительна показалась мнѣ наша грязная хата, вся ея убогая обстановка, этотъ нищенскій обѣдъ изъ единственнаго пшеннаго кулиша съ чернымъ, кислымъ хлѣбомъ!

Неужели же я жилъ и дышалъ въ этой хатѣ, довольствовался этою грубостью и вонью?...

Я почтительно поцѣловалъ руку дѣда и отца. Дѣдъ поцѣловалъ меня, а отецъ встрѣтилъ довольно сурово... Оглядѣвъ меня съ ногъ до головы, онъ сказалъ:

— Выпороть бы тебя слѣдовало, да такъ, чтобъ ажъ чортъ поперхнулся отъ страха... Много горя и бѣдъ надѣлалъ ты. Человѣка

сгубилъ, старухѣ - теткѣ всадилъ ножъ въ сердце...

— Довольне уже съ него! Что его мучить за прошлое. Оно вѣдь дитя было неразумное: много оно понимало? Цѣлый вѣкъ не видалъ сына и вмѣсто добраго слова!...—вступилась было мать, но отецъ сурово перебилъ ее:

— Молчи! Не тебѣ говорятъ,—обернулся онъ къ ней.—Чего застрекотала, какъ сорока? Нужно же ему правду сказать—на будущее время предохранить отъ зла... Не годится такъ поступать человѣку!—обратился онъ опять ко мнѣ.—Кто выдаетъ своихъ, кто переходитъ на чужую сторону, тотъ все равно что Іуда проклятый! Проклятіе тому отъ людей на этомъ и вѣчный огонь на томъ свѣтѣ. Ты—мужикъ, а не ляхъ или панъ. Зачѣмъ же ты, какъ Іуда, продалъ своихъ? Они и такъ богаты и знатны, а мы бѣдны и голы. Живемъ въ кабалѣ, мочимъ сухой хлѣбъ слезами и никого нѣтъ у насъ, чтобы заступился за насъ, а ты еще, какъ Каинъ, пошелъ противъ своего брата...

Дѣдъ шепталъ: „Такъ, такъ, хорошо Семене!“ Чувствительный Тарасъ обливался слезами, а Галя сидѣла вся красная. На ме-

ня, конечно, не могла подѣйствовать эта своеобразная мораль, возводящая въ доблесть такое преступленіе, какъ укрывательство преступника, разъ этотъ преступникъ—мужикъ. Но я чувствовалъ себя крайне неловко во время всей этой сцены, щеки мои горѣли, какъ мой жилетъ...

— Да онъ вѣдь былъ маленькій!—попробовала было опять мать.

— Молчи,—еще грознѣе крикнулъ отецъ,—самъ знаю! Въ томъ ему и прощеніе, что онъ былъ маленькій, а не то—своими бы руками зарѣзалъ его...

— Семене!—всплеснула мать руками,—свое дитя?!... зарѣзалъ?!

— Да,—заревѣлъ отецъ,—свое дитя! Пусть ляжетъ лучше въ землю, чѣмъ растетъ лядащимъ (негоднымъ) на нашу муку. И такъ уже терпѣнія не хватаетъ выносить все! А тутъ еще, чтобъ твои же дѣти, да и кровь твою пили! Слышишь, сыну?—грозно сдвинувъ брови, крикнулъ онъ мнѣ,—въ первый и послѣдній разъ, только ребяческой твоей глупости ради, прощаю тебѣ. Но смотри!...

— Кланяйся же отцу, кланяйся, сыну!—подталкивала меня мать, желая скорѣе покончить эту сцену примиренія.

113739А

— Не нужно, не нужно...—замахалъ отецъ руками, удерживая отъ земнаго поклона,— зачѣмъ? Обѣщай только не дѣлать такъ въ другой разъ... Вотъ присягни на образъ, на Христа распятаго.

Дрожа отъ страха, я перекрестился и присягнулъ.

Одно впечатлѣніе этого перваго моего посѣщенія могло заглушить всякое желаніе навѣщать родныхъ, но у меня уже его вовсе и не было и я твердо рѣшился послѣдовать совѣту матери—ждать той поры, когда во мнѣ будутъ нуждаться. Время летѣло незамѣтно и быстро, я росъ и развивался, отдавшись весь дворовой службѣ и ея интересамъ, приводя въ то же время въ восторгъ старика Ратоплана своими успѣхами. Не знаю, что именно во мнѣ подкупало этого неудачника, относившагося вообще ко всему съ какимъ-то слезливымъ добродушіемъ, жалѣвшаго кривыхъ собакъ и слѣпыхъ индюшекъ, искренно точившаго слезы, когда околѣлъ его чижъ,—только онъ всегда хорошо относился къ моимъ занятіямъ, всегда ставилъ меня въ примѣръ паничу, защищалъ отъ его необузданности. Иногда онъ распрашивалъ меня о житьѣ семьи, кивалъ

какъ-то слезливо головой, и, несмотря на то, что въ такихъ случаяхъ всегда гладилъ меня по головѣ, я съ трудомъ сдерживалъ здоровый молодой смѣхъ,—до того комично становилось его лицо съ громаднымъ носомъ, дѣлавшимъ его, какъ двѣ капли воды, похожимъ на сыча. А онъ все продолжалъ гладить меня, ничего не замѣчая, доставалъ свою табакерку, набивалъ свой клювъ табакомъ, вытиралъ его краснымъ платкомъ и говорилъ:

— Э-э... Было и у насъ когда-то, да мы живо передѣлали. Будешь учиться, все узнаешь.

Я учился и все узналъ, какъ и то, что слезливый Ратопланъ, какъ всякій французъ, несмотря на свое добродушіе, носилъ въ себѣ задатки якобинца.

Нервный, впечатлительный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и лѣнивый, паничъ сначала долго дулся на меня за мои успѣхи, возмущался и обижался, когда меня ставили въ примѣръ ему, но мало-помалу примирился и только старался щеголять своими иностранными языками, злорадно торжествуя, когда я просилъ переводить то то, то другое, отданное мнѣ на иностранномъ языкѣ, приказаніе.

Мало-помалу однако и это улеглось въ немъ, такъ какъ за подобное хвастовство я мстилъ ему отказомъ отъ игръ подъ предлогомъ работы, уходя и оставляя его скучать въ четырехъ стѣнахъ, и въ концѣ концовъ онъ сблизился со мной до того, что сталъ относиться ко мнѣ почти какъ къ родному.

Панъ, послѣ оказанной мнѣ милости, сталъ чаще обращать на меня вниманіе, снисходилъ иногда до шутокъ, щипалъ за щеку и вообще до того отличалъ меня отъ другихъ, что разъ, когда Стась, простудившись, провалялся на печи въ кухнѣ четыре дня, онъ изо всей дворни выбралъ меня для своихъ услугъ. Въ теченіе этихъ четырехъ дней я раздѣвалъ и одѣвалъ его, подавалъ ему умываться, причемъ онъ всегда хвалилъ мою ловкость и расторопность и довѣрялъ мнѣ даже свои сердечныя тайны, — строго наказавъ, конечно, молчаніе, — приказывая позвать къ нему то ту, то другую изъ дворовыхъ дѣвокъ.

Но важнѣе этого было для меня все возраставшее расположеніе всемогущаго ксендза, а главное—самой пани. Ксендзъ, посѣщавшій дворъ ежедневно, каждый разъ тихонько распрашивалъ меня подробно обо всемъ

происходившемъ, не исключая даже любовныхъ шашень пана, и былъ всегда очень доволенъ моею искренностью и правдивостью, громко хвалилъ меня и пророчилъ пану и пани, что изъ меня выйдетъ „золотой“ для нихъ человѣкъ. Сама же пани, не обращавшая ни малѣйшаго вниманія даже на Стася, заговаривала иногда со мной и даже улыбалась, выслушивая мои наивныя признанія въ преданности, а это, конечно, не могло укрыться отъ внимательныхъ глазъ завистливой дворни и, понятно, служило такимъ образомъ къ вящему моему торжеству. Одной угрозы: „я скажу пани“—было достаточно, чтобы привести всю эту злую сволочь въ трепетъ, заставить ее прикусить свой дерзкій, колючій языкъ и даже лебезить предо мною, еще безусымъ подросткомъ.

Глава VIII.

Я дѣлаюсь добрымъ геніемъ пани.

Какъ ни боялась дворня высказываться открыто въ моемъ присутствіи, какъ тщательно ни скрывала отъ меня своихъ мыслей, видя во мнѣ врага всѣхъ ея гнусностей и неблагонадежности, все же изъ разныхъ ея

намековъ, полусловъ, улыбочекъ, я понялъ, что она подозрѣваетъ пани въ особенной близости къ пану Ромуальду Врублевскому. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я не могъ не замѣтить, что Стась, потерявши свое громадное значеніе со вступленіемъ въ домъ нашей пани, всегда какъ-то особенно подозрительно слѣдитъ за ея съ нимъ прогулками. Часто видѣлъ я, какъ въ дни пріѣзда пана Ромуальда Стась подозрительно шептался съ горничной Антосей, своей племянницей, какъ она бѣгала зачѣмъ-то въ садъ, когда пани гуляла, и, чуя своимъ преданнымъ чистымъ сердцемъ возможность непріятности для моей дорогой благодѣтельницы, я далъ себѣ слово слѣдить въ свою очередь за ея врагами и сберечь ее отъ ихъ злобы. Хотя Стась относился ко мнѣ всегда хорошо, не видя во мнѣ, вѣроятно, соперника, такъ какъ онъ зналъ, что панъ любитъ его больше меня—тѣмъ не менѣе совѣсть не позволяла мнѣ допустить безпрепятственно злые ковы противъ моей благодѣтельницы, и, чуждый какихъ бы то ни было корыстныхъ или честолюбивыхъ цѣлей, единственно по внушенію своей природы, я сталъ добрымъ геніемъ пани.

Я сталъ слѣдить за всѣмъ со всею стро-

гостью и пылкостью преданнаго, любящаго юноши. Когда пріѣзжалъ панъ Ромуальдъ и пани ходила съ нимъ гулять, я, какъ тѣнь, неслышно крался въ кустахъ, прячась за стволы деревьевъ и не спуская съ нихъ преданнаго взора, чтобы предостеречь въ случаѣ опасности или накрыть тайнаго шпіона. Часто я замѣчалъ изъ своей засады хитрую Антосю, но, шпіоня, эта тварь принимала всегда такой скромный, дѣловой видъ, рвала цвѣты для комнатныхъ вазъ или искала чего-нибудь, будто потеряннаго, съ такою беззаботностью, что придраться къ ней положительно было невозможно, да къ тому же между пани и паномъ Ромуальдомъ ничего, кромѣ оживленныхъ разговоровъ, не происходило.

Разъ вечеромъ, я неслышно подкрался такимъ образомъ къ китайской бесѣдкѣ, откуда доносился шепотъ, и увидѣлъ неожиданную сцену. Панъ Ромуальдъ стоялъ на колѣняхъ, обнявъ пани и страстно цѣлуя ея платье и ножки, а пани, обнявъ его голову, говорила:

— Ты не повѣришь, Ромуальдъ, какъ я несчастна съ этимъ звѣремъ. Вѣдь меня насильно за него выдали, ради его богатства...

Я ненавижу его; онъ мѣняетъ меня на первую попавшуюся дѣвку, думая, что я ничего не знаю... Боже, какъ я несчастна!—И въ голосѣ ея мнѣ послышались слезы.

Мнѣ стало жаль бѣдную пани и я нашелъ совершенно естественнымъ отвѣтъ пана Ромуальда.

— О, извергъ! Мѣнять тебя! Когда за одинъ взглядъ твой можно, не задумываясь, отдать все на свѣтѣ!

— Ты не обманываешь? Ты любишь?—спрашивала страстнымъ шепотомъ пани,—откидывая съ его лба волосы и заглядывая ему въ глаза.

— Тебя... люблю ли?—И панъ Ромуальдъ отчаянно, не своимъ голосомъ, взвизгнувъ, душилъ пани въ своихъ объятіяхъ, осыпая поцѣлуями ея волосы, руки и платье.

Какъ ни увлекательна была эта сцена молодой, скромной и беззаботной любви, но, признаюсь, къ живому интересу у меня примѣшивался какой-то неопредѣленный страхъ... Вотъ-вотъ, казалось, панъ Ромуальдъ укуситъ пани или произойдетъ что-нибудь неожиданно неладное... Вдругъ пани быстро вскочила на ноги и высвободилась изъ сильныхъ рукъ возлюбленнаго.

— Нѣтъ, нѣтъ, дорогой мой, не теперь... постой...—заговорила она.

— Когда же, когда?—моляще затянулъ панъ Ромуальдъ.

— Я приду ночью сюда же, слышишь?... Ты жди меня... такъ около часу, а теперь пойдемъ!

И, поцѣловавшись разъ сто, они ушли...

Первымъ дѣломъ моимъ было осмотрѣться кругомъ, нѣтъ ли гдѣ шпіона, этой хитрячки Антоси; но, повидимому, ея нигдѣ не было. Я осмотрѣлъ всѣ кусты и заросли, заглядывалъ даже въ листву деревьевъ, но ничего подозрительнаго не нашелъ. Тѣмъ не менѣе, какое-то тайное предчувствіе побуждало меня не успокоиваться, а напротивъ, тщательно слѣдить за врагами, и тревога моя возрасла още сильнѣе, когда я увидѣлъ, что прибѣжавшая Антося долго шепталась со Стасемъ. Боже, что бы я далъ за то, чтобы знать, о чемъ они шептались!

Пани сказалась больной, заперлась въ спальню и не вышла къ чаю, такъ что вечеръ панъ провелъ втроемъ съ ксендзомъ и паномъ Ромуальдомъ, играя въ карты, и сильно сердился, что ему не везетъ. Послѣ ужина ксендзъ скоро собрался домой, панъ

ушелъ къ себѣ, а я тихо прокрался изъ классной, гдѣ спалъ обыкновенно, въ столовую.

Рядомъ со столовой находилась каморка Стася, и, спрятавшись за большимъ дубовымъ буфетомъ, я непремѣнно увидѣлъ бы Антосю, еслибъ она, выслѣдивъ пани, пришла сообщить Стасю, услышалъ бы до слова весь ихъ разговоръ и такимъ образомъ получилъ бы возможность разсѣять ихъ низкія ковы. Помню, какъ тревожно билось мое сердце, точно хотѣло выскочить изъ груди, когда я лежалъ на стражѣ за буфетомъ, чутко прислушиваясь къ малѣйшему звуку. Маятникъ стѣнныхъ часовъ мѣрно качался, Стась ворочался и кашлялъ, попугай съ просонья встрепенулся и зашумѣлъ крыльями, а я все ждалъ, какъ рыцарь въ сказкѣ, оберегающій сонъ красавицы-царевны. Вдругъ сердце точно замерло, духъ захватило, и я окаменѣлъ на мѣстѣ. Скрипнула дверь,—одна другая... Чьи-то босыя ноги ступаютъ осторожно по полу... ближе и ближе... Антося!

— Вставайте... скорѣе... она съ нимъ,— зашептала эта гадина.

— Ты не врешь?—вскочилъ какъ ужаленный Стась.

— Чтобъ мои глаза лопнули. Пропади я на этомъ мѣстѣ. Сама видѣла. Ахъ, ужь и цѣлуются!—захихикала подлая дѣвка.

— Чего ты регочешь, дура?!—нетерпѣливо перебилъ ее Стась.—Говори толкомъ, гдѣ?

— Въ саду, въ китайской бесѣдкѣ!...

— Да не показалось ли тебѣ? Хорошо ли ты видѣла? Вѣдь я пану скажу!—все еще сомнѣвался Стась.

— Чтобъ мнѣ съ мѣста не сойти!

Прокрасться въ садъ, выйти на балконъ, спуститься въ садъ было для меня дѣломъ одной минуты! Я летѣлъ, какъ вѣтеръ, не помня себя, не чувствуя земли подъ ногами, не отдавая себѣ ни въ чемъ отчета, и вихремъ ворвался въ бесѣдку.

— Спасайтесь! Стась ведетъ пана!

— Что... что... что такое?—въ одинъ голосъ спросили влюбленные, оба дрожащіе и перепуганные.

— Стась ведетъ сюда пана! Антося выслѣдила.

— Боже!—воскликнула пани.—Бѣги, Ромуальдъ! Бѣги,—нетерпѣливо толкнула она его, видя его колебаніе,—бѣги!

Панъ Ромуальдъ перескочилъ барьеръ и скрылся въ саду.

— Это ты, Ивась? Голубчикъ мой!—все еще волнуясь, спросила пани.

— Я, вельможная пани!

Она погладила меня, я хотѣлъ повернуться и уйти, но ея рука удержала меня.

— Стой здѣсь!—И она сѣла. По тону голоса я узналъ, что пани пришла въ себя.

Я почтительно всталъ у входа, вытянувшись, какъ часовой на часахъ; и въ тотъ же почти моментъ что-то хрустнуло, брызнулъ яркій, ослѣпительный лучъ свѣта, и на порогѣ появился красный, запыхавшійся панъ въ однѣхъ чулкахъ и бѣльѣ, подъ накинутымъ на плечи халатомъ, съ потайнымъ фонарикомъ въ одной и пистолетомъ въ другой рукѣ.

— Кто здѣсь?—громко окликнулъ онъ.

— Что вамъ угодно?—точно перепуганная и изумленная неожиданностью, спросила пани, поднимаясь.—Что это значитъ?

Панъ сдѣлалъ ужасно глупое лицо. Онъ стоялъ ошеломленный, раскрывъ ротъ и удивленнымъ, растеряннымъ взоромъ обводилъ бесѣдку, пани, меня, и во всѣ стороны вращалъ зрачками, опустивъ, какъ плети, руки, вооруженныя фонаремъ и пистолетомъ.

— Ты одна?—растерянно, нерѣшитель-

нымъ, сконфуженнымъ голосомъ переспросилъ онъ, слегка икнувъ отъ волненія.

— Одна ли? Вы видите, что нѣтъ.—И пани указала на меня рукой.—Я боюсь одна ходить ночью по саду и взяла козачка съ собою. Но вы, чего здѣсь? И этотъ видъ!... Боже, и оружіе!... О, да тутъ какая-то драма!—иронически зазмѣялась она.—Что это значитъ?

Панъ стоялъ, какъ въ воду опущенный, страшно побагровѣвъ. Онъ сконфузился и растерялся до того, что не могъ говорить, и только икнулъ во всю глотку.

— Что же вы молчите? Что это значитъ, наконецъ?—переходя изъ презрительнаго въ обиженный и негодующій тонъ, наступала пани.—Какъ вы смѣли? Какъ вы могли такъ забыться? Или у васъ тутъ, можетъ быть, было назначено свиданіе съ какою-нибудь Гапкой? Такъ извините,—язвительно, вся дрожа отъ негодованія, добавила она,—я вѣдь не знала!...

— Я думалъ... мнѣ сказали!...—испуганно заговорилъ панъ, озираясь во всѣ стороны, не зная куда дѣваться отъ язвительнаго тона пани и отъ ея намековъ на его невѣрность.—Стась мнѣ сказалъ...

— Что-ô?... Что онъ вамъ сказалъ?—широко раскрывъ свои чудные глаза, гордо и настойчиво спросила пани.

— Будто панъ Ромуальдъ...

Но пани не дала ему договорить. Отступивъ на шагъ, точно пораженная его словами, выпрямившись какъ стрѣла, откинувъ назадъ голову и смѣло смотря на уничтоженнаго пана, она воскликнула.

— Боже, что я слышу! Вы осмѣлились подозрѣвать меня,—меня!? Вы повѣрили навѣтамъ презрѣннаго слуги на жену! Вы, обманывающій меня на каждомъ шагу, осмѣлились еще оскорблять меня подозрѣніями!—наступала она на отступавшаго пана, заломивъ свои чудесныя, бѣлыя, словно выточенныя руки.—Съ этого дня я не жена ваша и завтра же моя нога не будетъ въ этомъ домѣ!

— Ванда, прости!—заревѣлъ панъ, падая на колѣни и простирая впередъ свои короткія, жирныя руки.—Ради неба молю тебя: прости!

— Ступайте прочь къ своему Стасю!—выпрямилась пани гордо, указывая рукою на выходъ.

— Я его убью, повѣшу, уничтожу... толь-

ко прости... Я все сдѣлаю, чего ты захочешь, я...

— Ступайте прочь, или я уйду!—И пани направилась къ выходу.

Панъ загородилъ собою выходъ.

— Стась!—заревѣлъ онъ не своимъ голосомъ.

На порогѣ показался Стась, весь блѣдный и дрожащій.

— Ха-ха-ха! — болѣзненно захохотала пани:—доблестный рыцарь явился съ оруженосцемъ.

— Молись!—заревѣлъ на него панъ, не помня себя.

Стась упалъ на колѣни.

— Пане,—началъ онъ дребезжащимъ, тихимъ голосомъ:—вельможный пане! Я васъ на рукахъ носилъ! Я вамъ служилъ правдой! Пане, я, какъ собака, оберегалъ васъ!...

— Молись, каналья, а не то умрешь, какъ собака!—бѣшено перебилъ его панъ, со всего размаха хвативъ по скулѣ.

— Вы деретесь въ моемъ присутствіи... еще оскорбленіе! Боже! На моихъ глазахъ вы грозите сдѣлать преступленіе!—закричала пани.—Что вы! Боже мой, спаси меня!—И она грохнулась въ истерикѣ на скамью.

Панъ бросился къ ней, приказавъ мнѣ бѣжать за водой. Впрочемъ, не знаю, видѣлъ ли онъ меня; онъ только кричалъ: „воды, воды!“, а я уже самъ бѣжалъ за нею. Стась исчезъ, какъ видѣніе...

На другой день Антосю послали пасти гусей, а Стася нашли повѣсившимся на прекрасной яблонѣ, которую панъ приказалъ немедленно срубить и сжечь. Такъ кончилъ свою карьеру этотъ нѣкогда вліятельный дворовый человѣкъ.

Я заступилъ его мѣсто. Я сталъ первымъ лицомъ въ дворнѣ. Но, откровенно говорю, пользуясь своимъ положеніемъ, никому не мстилъ за прошлое, хотя, конечно, могъ бы легко отомстить всѣмъ.

Пани приблизила меня къ себѣ, освободила отъ всякой черной работы, сдѣлала своимъ пажемъ и вполнѣ и во всемъ довѣрилась мнѣ, при всякомъ удобномъ случаѣ ставя меня въ примѣръ другимъ и хваля мою расторопность и ловкость. Я всегда сопровождалъ ее въ ея прогулкахъ верхомъ, передавалъ тайныя порученія и записки пану Ромуальду и смѣнившему его вскорѣ другому пану и всѣмъ послѣдующимъ фаворитамъ, которымъ я и счетъ потерялъ, такъ

какъ пани не отличалась постоянствомъ и мѣняла шляхтичей, какъ свои перчатки. Вмѣстѣ съ тѣмъ я оберегалъ ее отъ всякихъ непріятныхъ случайностей, чистосердечно и искренно передавалъ ей всѣ услышанные или подхваченные на лету толки и мнѣнія и вѣрно караулилъ въ часы любовныхъ свиданій, такъ что пани за моей спиной чувствовала себя совершенно безопасной и, понятно, не могла не чувствовать благодарности и не отличать меня отъ другихъ.

Все это не могло не отразиться на отношеніяхъ ко мнѣ самого пана, почти на четвереньках ползавшаго теперь передъ пани. Такъ какъ пани стала держать себя съ нимъ еще холоднѣе и недоступнѣе и панъ положительно приходилъ въ трепетъ, краснѣлъ и икалъ отъ одного ея взгляда, боясь иногда промолвить даже слово, то невольно я сталъ какъ бы звеномъ или посредникомъ между нимъ и пани, что не могло не привязывать его ко мнѣ. Съ доброй улыбочкой, называя меня всегда „милый Ясикъ“, панъ частенько обращался ко мнѣ съ вопросами о томъ, гдѣ или что дѣлаетъ пани, посылалъ узнавать о ея здоровьи, справляться о томъ, согласна ли она принять его, выйдетъ ли къ

обѣду и т. д., и такимъ образомъ все больше и больше привыкалъ ко мнѣ. Мало-по малу эта привычка выросла въ потребность имѣть меня подъ рукой, обращаться то за тѣмъ, то за другимъ, чему много способствовала тупость остальной прислуги, среди которой не было ни одного человѣка, способнаго угодить пану, и такимъ путемъ современемъ я сталъ для него тѣмъ же, чѣмъ былъ нѣкогда Стась.

У меня завелись и деньги... Мои дѣтскія грезы исполнились и на меня дѣйствительно сыпалось золото. На другой же день послѣ сцены въ бесѣдкѣ, панъ Ромуальдъ при встрѣчѣ тихонько всунулъ мнѣ въ руку цѣлыхъ пять дукатовъ, и когда я, въ порывѣ восторженной благодарности, поцѣловалъ его руку, онъ сказалъ мнѣ тихонько:

— Будь только молодцомъ, я дамъ еще больше...—И сдержалъ свое слово. Отъ него и всѣхъ прочихъ фаворитовъ пани на меня такъ и сыпалось... Летѣли годы, мѣнялись фавориты и моя тайная касса расла да расла.

Помню, когда я впервые перекидывалъ свои собственные, жаромъ горѣвшіе, дукаты,—у меня захватывало духъ отъ восторга,

кружилась голова и подкашивались ноги. Я положительно не зналъ, что съ ними дѣлать, пряталъ ихъ въ сапогъ, зарывалъ въ землю, лазилъ на чердакъ, гдѣ засовывалъ въ щели крыши, и все не вѣря, что они не станутъ добычей какого-нибудь наглеца, даже ночью срывался иногда съ постели, вихремъ летѣлъ туда, куда ихъ въ сотый разъ запряталъ, доставалъ и запрятывалъ въ новое мѣсто. Я положительно страдалъ въ своей наивной тревогѣ и послѣ многихъ дней мученія рѣшилъ наконецъ довѣриться матери.

— Мамо,—сказалъ я, какъ только увидѣлъ ее во дворѣ,—у меня есть много дукатовъ, куда ихъ спрятать?

— Много дукатовъ? — всплеснула мать руками отъ удивленія,—что ты говоришь?

— Ей-богу же, мамо! Вотъ они, — и я осторожно вынулъ ихъ изъ кармана,—куда ихъ спрятать? Я все боюсь вора...

Мать была до того поражена, что даже не спросила, какъ они мнѣ достались...

— Да, куда спрятать?—зашептала она.— Ахъ, сыночку, только бы отецъ, не узналъ, а то онъ сейчасъ отберетъ и пуститъ ихъ на семью, а тебѣ копить нужно для себя.

— Конечно, мамо, для себя! Какъ же

отецъ узнаетъ, когда мнѣ ихъ тихонько дали?... Только не знаю, куда спрятать!

— Давай мнѣ, я спрячу... Положу въ кубышку и зарою въ огородѣ—подъ липой. Помнишь липу?

Я довѣрчиво отдалъ и въ тотъ же день навѣстилъ хату... О, какъ давно я уже ее не видалъ, грязную, вонючую, отвратительную! Какъ я измѣнился, выросъ, поумнѣлъ за все это время!... Отца не было, дѣдъ храпѣлъ на печи, Тарасъ возился чего-то возлѣ телѣги, Галя, уже невѣста, пряла и пѣла:

Зелененькій барвиночку
Стелися низенько...
А ты милый, чернобрывый,
Присунься близенько!

Великодушно забывъ все прошлое, я тепло поцѣловался съ братомъ, глядѣвшимъ какъ-то сконфуженно на меня, чувствуя, вѣроятно, разницу въ нашихъ положеніяхъ, и съ сестрой, пообѣщавъ ей достать красивую ленту, что̀ повидимому, ей очень понравилось.

Мать повела меня въ огородъ и указала мѣсто, куда зарыла деньги; я обѣщалъ от-

давать ей на храненіе все, что получу когда-нибудь, что̀ и исполнялъ всегда.

Мы уже шли къ хатѣ, когда къ намъ подошелъ Тарасъ и, указывая на солнце, сказалъ матери:

— Теперь, мамо, уже не сто́итъ ѣхать,— солнце заходитъ.

— Солнце не ходитъ, Тарасъ!—наставительно перебилъ я его и сталъ излагать ему и матери теорію вращенія земли и другія данныя изъ физической географіи. Я увлекся, говорилъ живо и образно и, вѣроятно, очень понятно, такъ какъ даже мать поняла и только качала головой, говоря:

— О, какой же ты разумный, Ивасикъ! Чего ты только не знашь!

Я говорилъ о звѣздахъ, о планетахъ и о млечномъ пути,—говорилъ, отчего дуетъ вѣтеръ и о многомъ другомъ. Мать качала головой, а Тарасъ стоялъ, какъ вкопанный, раскрывъ ротъ и выпучивъ глаза. Онъ не пришелъ въ себя даже тогда, когда я сталъ прощаться, и все выглядѣлъ огорошеннымъ, потерявъ своихъ трехъ китовъ, на которыхъ, какъ онъ думалъ, стоитъ земля.

Я былъ въ отличномъ настроеніи и, прійдя во дворъ, сейчасъ же упалъ пани въ ноги.

— Чего тебѣ, Ясю? — добродушно спросила она.

— Вельможная пани, окажите милость, подарите мнѣ одну изъ вашихъ ленточекъ! — сказалъ я.

— Зачѣмъ тебѣ?—лукаво улыбнулась пани,—развѣ у тебя завелась своя дивчина?

Я почтительно улыбнулся на эту шутку.

— Нѣтъ, вельможная пани! У меня сестра есть, уже невѣста, скоро замужъ отдавать пора...

— О, Ясю, смотри!—шутливо пригрозила пани и набросала мнѣ цѣлую охапку лентъ, съ которою я стремглавъ бросился къ Галѣ.

— На!—гордо и радостно бросилъ я ей ленты на голову, неожиданно ворвавшись въ хату, такъ что всѣ даже перепугались. Галя взвизгнула отъ восторга и что есть силы обняла мою шею.

— А, что, не говорила я вамъ,—ликуя, вступилась мать, переводя восторженные глаза съ сестры на меня и обратно,—не говорила, что Ивасикъ рожденъ намъ всѣмъ на радость? Гдѣ же ты ихъ взялъ?

— Сама пани дала!—гордо отвѣтилъ я.

— Пани?!—удивлялась мать.

Это придало еще больше прелести и блеска

лентамъ. Галя даже дрожала, перебирая ихъ своими мозолистыми, некрасивыми руками.

Когда я уже вышелъ изъ хаты, кто-то дернулъ меня за рукавъ.

— Подожди минуточку, Ивасику,—мнѣ...

— Чего тебѣ, Тарасъ?

— Мнѣ...—началъ онъ сконфуженно,— ты... какъ это...

— Да что такое, говори!—нетерпѣливо перебилъ я его;—меня ждутъ во дворѣ!

— Ты сегодня расказывалъ о солнцѣ и все такое... Это въ книжкахъ прописано?

— Конечно!—захохоталъ я.—Ахъ, какой же ты глупый!... Въ книжкахъ, и многое другое еще, про все напечатано въ книжкахъ!—И я собрался идти.

— Постой, постой! А ты всякую книжку можешь читать?

Я опять расхохотался.

— Конечно: если умѣю одну, то прочту и другую. Я даже по-французски умѣю!— гордо добавилъ я.

— А это трудно?

— Что?

— Да читать.

— Если у кого есть на то способности, тотъ скоро научится... Ты вѣдь знаешь: у

кого способности къ мужицкой работѣ, тотъ скоро выучится работать, а у кого къ наукѣ... На все нужно имѣть способности!

— Правда, правда,—зашепталъ какъ-то задумчиво Тарасъ. Только впослѣдствіи узналъ я причину этихъ глупыхъ вопросовъ. Оказалось, что мой импровизированный урокъ изъ физической географіи сильно подѣйствовалъ на Тараса, и онъ, къ моему удивленію, не спрашивая себя, зачѣмъ и есть ли у него способности, задумалъ учиться у дьячка Панфила. Онъ настоялъ на этомъ у отца, тѣмъ болѣе, что его поддерживали Панфилъ и Солоха, и всю зиму учился вмѣстѣ съ Кузькой.

О, какъ я впослѣдствіи пожалѣлъ объ этомъ урокѣ, сознавая себя виновникомъ грамотности брата, не принесшей ему ни чего, кромѣ зла... Но развѣ я зналъ?

Глава IX.

Продукты филантропическихъ бредней и сантиментальнаго воспитанія.

У меня еще только едва начали пробиваться черненькіе усики, а я уже, благодаря всему вышеизложенному, стоялъ на

такой высотѣ при панскомъ дворѣ, до какой никогда не достигалъ даже покойникъ Стась,—прости Господи его грѣшную душу! Я носилъ общую лакейскую ливрею, правда, сшитую щеголевато и красивѣе, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ, но я не былъ уже простымъ комнатнымъ мальчикомъ или лакеемъ, носящимъ блюда и подметавшимъ паркетъ,— я былъ довѣреннымъ лицомъ пани и пана, ихъ „правою рукой", какъ иногда въ шутку величалъ меня панъ, своего рода домашнимъ секретаремъ, одно слово котораго значило для нихъ во сто кратъ больше, чѣмъ самыя торжественныя клятвы цѣлой дворни. Я могъ всего добиться отъ пана и пани, выпросить и повернуть что угодно по своему желанію, мнѣ всегда низко кланялся вольный и богатый Кондратъ, снимая на виду у всѣхъ свою великолѣпную смушковую сѣрую шапку и называя не иначе, какъ „пане Ясь"; конторскіе панычи считали за честь знакомство со мною.—Словомъ, я сталъ уже очевидно силой, которую должны были признать самые злѣйшіе, отъявленные враги мои!

Боже, сколько мнѣ ихъ создала людская злоба, зависть и алчность!

Отъ такого быстраго, почти сказочнаго, превращенія, въ теченіе только нѣсколькихъ лѣтъ, простого деревенскаго мальчика во вліятельнаго, старшаго двороваго служителя, почти панскаго друга,—у слабаго, самолюбиваго, недалекаго эгоиста могла бы легко закружиться голова и онъ несомнѣнно зарвался бы и свихнулся. Его погубили бы легко развивающіяся въ такихъ случаяхъ заносчивость и самомнѣніе, и онъ, какъ неопытный аэронавтъ, почти задохнувшійся отъ слишкомъ быстраго поднятія и потерявшій равновѣсіе въ своей утлой лодочкѣ, грохнулся бы на земь съ заоблачной высоты и разбился бы въ дребезги... Но задатки, вложенные въ мое сердце доброю матерью еще въ раннемъ дѣтствѣ, спасли меня отъ этой участи. Я никогда не забывалъ своего прошлаго, тѣхъ дней, когда ребенкомъ я только мечталъ о теперешнемъ счастіи и жадно вглядывался изъ темнаго парка въ громадныя окна тогда мнѣ еще недоступнаго палаццо.

Я никогда не забывалъ, что своимъ поднятіемъ изъ мрачной грязи и ничтожества обязанъ панской добротѣ и великодушію, что панъ и пани—мои благодѣтели, что имъ

я обязанъ почтительностью, повиновеніемъ и строгою преданностью, какъ духовнымъ отцу и матери... И дѣйствительно, ничего и никогда у меня не было такого, чѣмъ бы я не поступился для своихъ благодѣтелей, что бы задумался сложить покорно у ихъ ногъ, будь то самыя страстныя и сильныя чувства... Вездѣ и всегда, при всякомъ случаѣ, я былъ покоренъ, почтителенъ и преданъ, а этого, конечно, не могли не цѣнить панъ и пани.

И паничъ Михась привыкалъ и любилъ меня все сильнѣе и сильнѣе. Онъ любилъ меня, какъ единственнаго друга-сверстника, единственнаго повѣреннаго его думъ, юныхъ фантазій и грезъ, надеждъ и желаній. Много способствовала этому его врожденная доброта и какая-то женственная жалостливость; онъ весь былъ въ свою покойную мать, какъ говорили, женщину необычайно добрую, гуманную и великодушную, что признавала за ней даже Солоха. Эти врожденныя черты характера сильно развились въ Михасѣ подъ вліяніемъ слюняваго, плаксиваго Ратоплана, такъ что самыми ранними мечтами его стали мечты о какомъ-то донъ-кихотскомъ всеобщемъ бла-

годѣтельствованіи... Иначе не могу я назвать его филантропическія бредни и думы о разныхъ переустройствахъ и благодѣяніяхъ, когда онъ станетъ законнымъ владѣтелемъ селъ, его прогулкахъ и поступкахъ вродѣ Гарунъ-аль-Рашида, образомъ котораго онъ страстно восторгался. Ратопланъ, привязавшійся къ нему совершенно по собачьи, вложившій въ него, такъ сказать, всю свою душу, какъ старая дѣва, пичкалъ его всякими сентиментальностями, разсказами о разныхъ сумасбродныхъ фантазерахъ благодѣтеляхъ и ихъ дикихъ теоріяхъ, поддерживая въ немъ пылъ къ мечтамъ и фантазіямъ. Страстный, болѣзненный, нервный мальчикъ увлекался, какъ дѣвочка, горѣлъ и таялъ, слушая разныя глупости и дошелъ, наконецъ, до какого-то обоготворенія глупаго француза, въ которомъ только и видѣлъ авторитетъ и мнѣніемъ котораго дорожилъ больше, чѣмъ мнѣніемъ отца и матери.

Въ своихъ фантазіяхъ Михась удѣлялъ мнѣ полную массу благъ: онъ дѣлалъ меня вольнымъ и богатымъ, своимъ ближайшимъ другомъ и совѣтникомъ, съ которымъ у него будетъ-де все общее и т. д., и т. д., все въ

этомъ же родѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ дѣлалъ меня своимъ помощникомъ во всѣхъ великихъ предпріятіяхъ и передѣлкахъ, за мою-де практичность и званіе жизни и, понятно, удѣлялъ мнѣ часть ореола своей будущей славы; а когда я обливалъ его съ ногъ до головы какимъ-нибудь трезвымъ замѣчаніемъ, разбивавшемъ въ дребезги его химерическія утки, онъ волновался, сердился, упрекалъ меня въ черствости и холодности, даже эгоизмѣ и въ подкрѣпленіе своихъ химеръ, читалъ какое-нибудь красивое, звучное стихотвореніе. Вообще Михась любилъ стишки, пописывалъ иногда и самъ, сильно злоупотребляя риѳмами и, грѣша противъ версификаціи, но читалъ ихъ мнѣ всегда почти со слезами на глазахъ и съ порывистыми жестами.

— Хорошо, Ясю, нравится тебѣ?—лихорадочно спрашивалъ онъ меня, дрожа и сверкая глазами, и когда я отвѣчалъ ему, что не берусь быть судьей, такъ какъ стихоплетеніе не мое дѣло, человѣка обязаннаго трудомъ добывать себѣ хлѣбъ, а панская забава, въ которой я ничего не понимаю,— Михась выходилъ изъ себя.

— Ахъ ты эгоистъ, холодная душа!—сер-

дился онъ, чуть не плача, на что я невольно весело смѣялся.

Нелюбовь его къ мачихѣ не только не уменьшалась съ годами, но, напротивъ, все увеличивалась и переходила въ какую-то слѣпую, затаенную ненависть, которая сквозила въ каждомъ его жестѣ, взглядѣ, и за которую пани платила ему только холоднымъ презрѣніемъ. Панъ, вообще никогда ничего не замѣчавшій, въ особенности такихъ тонкихъ вещей, какъ душевныя движенія, приписывалъ поведеніе Михася съ мачихой застѣнчивости, сосредоточенности и неловкости, и если сердился на него, то только за мужицкую грубость и неотесанность, не подозрѣвая настоящаго. Свою ненависть Михась распространялъ и на всѣхъ близкихъ лицъ къ пани, всѣхъ ея поклонниковъ, дѣлая только исключеніе для меня, такъ какъ я скрывалъ отъ него свои застоящія чувства, притворяясь, что вполнѣ сочувствую ему, и для ксендза, уважать котораго невольно побуждала его страстная набожность. Впрочемъ, это уваженіе получило скоро страшный ударъ, подкосившій и набожность.

Въ тотъ день, когда Михасю исполнилось

16 лѣтъ, домъ былъ полонъ гостей и пани съ нѣжнымъ поцѣлуемъ въ присутствіи всѣхъ подарила ему дорогіе золотые часы съ великолѣпною цѣпочкой... Михась встрѣтилъ и поцѣлуй, и подарокъ, по обыкновенію, очень холодно, хотя въ душѣ былъ очень радъ своимъ часамъ, то и дѣло вертѣлъ ихъ и разглядывалъ, гордясь, повидимому, больше всего тѣмъ, что подобнымъ подаркомъ онъ оффиціально признанъ уже не мальчикомъ, а чѣмъ-то вродѣ большаго... Всѣ чувствовали себя очень весело, панъ былъ въ особенно хорошемъ расположеніи, духа и весело смѣялся, пани тоже все шутила съ молодыми шляхтичами и день обѣщалъ пройти особенно пріятно, но, къ несчастію, вышло совсѣмъ наоборотъ.

Въ числѣ гостей была и пани Плонская, обладавшая великолѣпнымъ голосомъ... Вечеромъ, послѣ долгихъ и жалобныхъ упрашиваній пановъ и увѣреній, что она не въ голосѣ, она стала пѣть и почему-то все жалобные и плаксивые романсы, производившіе, благодаря ея чудному голосу и умѣнью, чрезвычайно сильное впечатлѣніе... Паны то и дѣло хлопали въ ладоши и кричали „браво“, а Михась, которому рѣдко выпадало на до-

лю слышать пѣніе, которое онъ, какъ и музыку, любилъ страстно, просто горѣлъ и таялъ... Подъ конецъ пани Плонская затянула необыкновенно грустный романсъ о смерти нищаго и его ропотѣ на какое-то міровое зло, и спѣла его замѣчательно хорошо; паны, незадолго передъ тѣмъ хохотавшіе, повидимому, были сильно потрясены и взволнованы...

— Чудо, прелесть, божественно!—раздалось кругомъ, когда она кончила.

Въ этотъ моментъ я подавалъ пану трубку и взглянулъ въ уголъ въ сторону Михася... Я положительно не узналъ его... Онъ стоялъ блѣдный, дрожащій, съ полуоткрытымъ ртомъ, съ горѣвшими глазами. Подавъ трубку, я сейчасъ же вышелъ на крыльцо, чтобы позвать кого-то къ пану, какъ меня позвалъ Михась.

— Ты слышалъ?...—какимъ-то глухимъ, дрожащимъ голосомъ спросилъ онъ меня еще издали.

— Что такое?...

— Пѣніе... этотъ романсъ про нищаго!

— Да, слышалъ... Хорошо!...

— Хорошо!—крикнулъ Михась,—хорошо? —кладя мнѣ руки на плечи.—Не въ этомъ

дѣло!... А это правда... все правда... настоящая правда!... Да, да, нищій умираетъ съ голоду, когда другой бросаетъ на вѣтеръ тысячи, и можетъ-быть въ этотъ самый часъ кто-нибудь такъ умираетъ и въ послѣдній разъ смотритъ на это заходящее солнце, а у насъ пиръ, веселье, музыка, балъ!...—Онъ былъ совсѣмъ какъ сумасшедшій.

— Что-жь, не нужно ли созвать въ палаццо нищихъ?—невольно улыбнулся я на этотъ бредъ.

— Что?—переспросилъ онъ, не разслышавъ въ волненьи.

— Я говорю, не созвать ли нищихъ сюда на балъ или, что еще лучше, отдать имъ и палаццо, и деревню, а самимъ сдѣлаться нищими.

Мой трезвый, ироническій отвѣтъ ошеломилъ взволнованнаго панича: онъ вытаращилъ глаза, долго всматривался въ меня, точно не понимая ничего или соображая, и, наконецъ, сказалъ, направляясь черезъ дворъ въ садъ.

— Ты золъ, Ясь, и глупъ!...

Я громко разсмѣялся. Кто изъ насъ

двоихъ былъ именно глупъ въ настоящую минуту?!...

Не успѣлъ Михась сдѣлать и нѣсколькимъ шаговъ, какъ на встрѣчу ему изъ-за угла вышла попрошайка-нищая съ маленькою дѣвчонкой. Въ послѣднее время ихъ расплодилось множество и каждая улица такъ и кишѣла нищими... Баба протянула къ нему руку и, падая въ ноги, что-то причитала о бѣдности и голодѣ...

— Пошла вонъ, какъ ты смѣешь ходить сюда!—крикнулъ я, вспомнивъ панское приказаніе не пускать во дворъ нищихъ, зачастую самыхъ отчаянныхъ воровъ.

— Стой, стой, не слушай его!—заговорилъ быстро Михась къ собравшейся бѣжать нищей,—на, возьми... продай себѣ!—и онъ снялъ цѣпочку съ часами и подалъ ихъ оборванной бабѣ...

Я стоялъ, какъ столбъ, отъ изумленія... Баба нерѣшительно держала въ рукѣ цѣнный подарокъ, краснѣя, заминаясь, не рѣшаясь его принять и протягивая его обратно Михасю.

— Бери, бери!—закричалъ тотъ не своимъ голосомъ,—бери... У меня нѣтъ денегъ, бери

ихъ, они нужны тебѣ, — и онъ убѣжалъ, сломя голову.

Баба стояла въ нерѣшительности, точно въ испугѣ... Придя въ себя, я приказалъ ей слѣдовать за собою, ввелъ въ сѣни палаццо, а самъ направился въ залъ и доложилъ обо всемъ пани. Панъ сильно разсердился, также и ксендзъ, и многіе изъ гостей, услышавъ мой разсказъ, и только одна пани замѣтила, что у Михася великодушное, доброе сердце, что̀ вызвало со стороны шляхтичей громкія похвалы ея сердцу...

— Это ваше божественное вліяніе на него!—кричали и панъ Ромуальдъ Врублевскій, и вся прочая молодежь.—Ваше сердце видитъ одно доброе и прощаетъ оскорбленіе.

— Это глупство!—ревѣлъ панъ.

— И дерзость,—вторилъ ксендзъ:—материнскій подарокъ отдать какой-то потаскушкѣ!...

Часы были немедленно отобраны и вмѣсто нихъ пани выслала нищей, къ ея радости, нѣсколько грошей, а за Михасемъ были посланы люди съ приказаніемъ разыскать его немедленно.

— Спасибо тебѣ, Ивасю,—сказалъ мнѣ

панъ,—безъ тебя пропали бы часы!—и онъ потрепалъ меня по щекѣ.

— Бравый хлопецъ!—вскинула пани на меня глазами, обращаясь къ шляхтичамъ, и они всѣ въ одинъ голосъ осыпали меня похвалами, а ксендзъ даже погладилъ по головѣ, приговаривая:

— Такъ, такъ, Ивасику, всегда защищай добро своихъ господъ!!..

Я никогда не чувствовалъ себя такъ хорошо

Тутъ пришелъ Михась, котораго насилу разыскали, и, взглянувъ на его блѣдное съ посинѣлыми, дрожащими губами лицо, я сразу почувствовалъ, что будетъ бѣда.

— Ты что за филантропіи разводишь, мальчишка!—накинулся на него панъ, какъ только онъ появился на порогѣ.

Михась молчалъ. Это еще больше взбѣсило пана и, весь побагровѣвъ, не слушая кроткихъ увѣщаній пани, нѣжно и томно умолявшей его быть помягче, онъ схватилъ сына за плечо и тряся, грозно крикнулъ:

— Отвѣчай! ты какъ смѣлъ дарить часы какой-то потаскушкѣ?

— Развѣ они были не мои, рѣзвѣ они не были мнѣ подарены?—спросилъ тотъ задыхаясь.

— Да, они были тебѣ подарены, болванъ, но для того, чтобы ты носилъ ихъ! Они были подарены тебѣ матерью въ день твоего рожденія, и ты долженъ былъ беречь ихъ, какъ зѣницу ока, — понимаешь, какъ зѣницу ока!.. дорожить ими, цѣнить ея любовь и вниманіе!..

— Во всякомъ случаѣ они были мои и я думалъ, что имѣю право распорядиться ими, какъ найду лучше...

— Что, что, болванъ!—уже гораздо тише окрикнулъ его панъ, гнѣвъ котораго обыкновенно проходилъ такъ же быстро, какъ и вспыхивалъ, а весь этотъ день онъ былъ въ особенно хорошемъ настроеніи. — Что ты говоришь?.. Глупости!... Хорошее употребленіе, которымъ наносишь оскорбленіе матери!... Проси у нея прощенія!..

Михась повернулся лицомъ къ матери и, не поднимая глазъ, дрожащимъ голосомъ проговорилъ:

— Прошу прощенія. Я не думалъ, что оскорблю васъ, если подарю часы бѣдной женщинѣ, которая можетъ быть умерла бы съ голоду... Но во всякомъ случаѣ...

Голосъ его сильно задрожалъ, злая улыб-

ка искривила его синія губы, а съ опущенныхъ рѣсницъ закапали слезы.

— Кто ему набилъ такими глупостями голову!—гнѣвно воскликнулъ панъ, а ксендзъ и гости расхохотались.

— Я охотно прощаю тебя, мой милый,— нѣжно перебила пани и гнѣвные возгласы пана, и общій хохотъ,—если тобой руководило доброе чувство и чувствительное сердце!—и она протянула къ Михасю руку съ часами.

— О, ангельская доброта!—закричали всѣ кругомъ, а панъ даже разсердился, увѣряя, что пани сама портитъ Михася своею чувствительностью... А тотъ, такой же блѣдный, дрожащій, съ крупными слезами на щекахъ, стоялъ не двигаясь и глядѣлъ съ изумленіемъ на часы въ рукахъ матери, только теперь узнавъ, что они были отобраны у бабы...

— Бери же, болванъ, да смотри выбрось изъ головы своей филантропіи, а не то!— погрозилъ панъ пальцемъ...

Михась не двигался.

— Ну, благодари!..

— Нѣтъ, отецъ, — сказалъ онъ твердо, поднимая свои черные, злые глаза,—я не возьму ихъ.

По тону голоса я понялъ, что въ немъ проснулась его гордость и упрямство.

— Не возьмешь?—опять вспылилъ панъ...— Почему?

— Не возьму,—я ихъ подарилъ, и они уже не мои!

Минута, и панъ навѣрное прибилъ бы сына... Всѣ такъ и ахнули, услышавъ дерзкій отвѣтъ, но ксендзъ, понявъ опасность, подскочилъ къ Михасю и заслонивъ его собою, сурово спросилъ его.

— Какъ тебѣ не стыдно дѣлать такія вещи?

— Что же я сдѣлалъ дурнаго, отче? — спросилъ упрямецъ, дерзко смотря ему въ глаза.

— Какъ что?—изумился ксендзъ...—Отдать нищей?...

— Но вы сами же, отче, учили въ костелѣ быть милосерднымъ!—перебилъ тотъ его.

— Да, да, да,—запыхтѣлъ ксендзъ, побагровѣвъ,—но ты могъ дать ей на хлѣбъ, а то...

— Она—мой ближній, отче!

— Вацъ-панъ, кажется мнѣ, проповѣдь читаетъ!—задыхаясь и глотая слова, заго-

ворилъ онъ, грозя пальцемъ,—мнѣ, служителю алтаря и проповѣднику слова Божія, — проповѣди, когда Вацъ-пану слѣдовало бы еще помнить о розгахъ, и хорошихъ розгахъ.

Напоминаніе о розгахъ взорвало обидчиваго и гордаго мальчика, болѣзненно самолюбиваго... Онъ отступилъ на шагъ, весь поблѣднѣвъ и дрожа и, еле выговаривая слова, выпалилъ прямо и дерзко смотря на ксендза, причемъ посинѣвшія губы дерзко улыбались.

— Я убѣдился, что ваша имость больше помните о розгахъ, чѣмъ о милосердіи!

Ксендзъ отступилъ пораженный и чуть дыша отъ ярости... Гости всплеснули руками, панъ громко крикнулъ: розогъ!—и Михась бросился бѣжать, но, споткнувшись о порогъ, грохнулся на земь, ударился головой объ уголъ печи и съ глухимъ стономъ, какъ трупъ, растянулся на полу.

Поднялся невообразимый переполохъ: пани и нѣсколько дамъ попадали въ обморокъ на руки кавалеровъ, а всѣ прочіе въ испугѣ бросились къ Михасю, у котораго въ кровь было разбито лицо, но всѣ ихъ усилія привести его въ чувство были тщетны... Док-

торъ констатировалъ столбнякъ и Михасю пришлось долго пролежать въ кровати, витая между жизнью и смертью. Все время его болѣзни Ратопланъ не отходилъ отъ него, какъ собака, цѣловалъ потихоньку его руки и вѣчно слезилъ, отчего его красный клювъ сталъ подъ конецъ совсѣмъ синебагровымъ.

— Тебѣ не жаль его?—окликнулъ меня этотъ красный клювъ, когда я, дежуря тою же ночью по приказанію пани, задумался у постели Михася и не перемѣнилъ долго компрессовъ на головѣ, отъ чего больной началъ стонать.

— Какъ не жаль, мсье, — отвѣчалъ я встрепенувшись и дѣлая видъ, будто собираюсь плакать,—очень, очень жаль...

Французъ сейчасъ же успокоился и сталъ гладить меня по головѣ, приговаривая: не плачь, не плачь, — я знаю, ты хорошій... Иди, усни,—я посижу за тебя,—ты усталъ вѣрно...

Я отнѣкивался, но Ратопланъ настоялъ, и когда я уходилъ, онъ проговорилъ не то ко мнѣ, не то въ пространство:

— Это первый ударъ жизни за чистое

чувство, а сколько ихъ еще будетъ!... Бѣдный мальчикъ!...

Да, дѣйствительно, бѣдный мальчикъ, когда его воспитываетъ слезливый фантазеръ!...

Этотъ случай имѣлъ большое вліяніе какъ на характеръ Михася, такъ и на его судьбу. По выздоровленіи онъ сталъ положительно угрюмъ, избѣгалъ всякаго общества, даже какъ будто и моего, и проводилъ все время то за чтеніемъ, то въ какой-то мечтательной задумчивости или въ разговорѣ съ Ратопланомъ, къ которому привязался еще сильнѣе.

Вообще въ немъ произошла большая перемѣна, сквозившая даже въ его обращеніи; но что такое именно происходило въ этой больной, бродившей, сентиментальной душѣ,—оставалось мнѣ неизвѣстнымъ, такъ какъ Михась, повторяю, сталъ какъ будто избѣгать меня и не дѣлился уже со мною своими думами и фантазіями. Что же касается пана и пани, то послѣ всего происшедшаго они оба рѣшили отправить Михася въ Кіевъ, гдѣ бы онъ, подъ руководствомъ и наблюденіемъ Ратоплана, готовился непосредственно для поступленія въ универ-

ситетъ, какъ только позволитъ его здоровье, такъ какъ докторъ предписалъ ему покой и запретилъ по крайней мѣрѣ въ теченіе года отвозить въ городъ.

Глава X.

Сентименты Кондрата.

Предсказаніе чуткой сердцемъ матери сбылось вполнѣ и мужичье деревни само забѣгало ко мнѣ то за тѣмъ, то за другимъ, прося то защиты, то покровительства, помощи, одолженія. Чаще всего прибѣгали ко мнѣ за помощью молодые парубки и дивчата, желавшіе связать себя цѣпями Гименея по влеченію, низко кланялись, иногда даже въ ноги и носили деньги. Панъ любилъ устраивать браки крѣпостныхъ по своему усмотрѣнію, игнорируя всякія сентиментальности и часто для шутки назначалъ уморительные браки ненравящихся другъ другу или соединялъ двѣ враждующія семьи. Все это опредѣлялось заранѣе въ кабинетѣ съ глазу на глазъ со мной, такъ какъ панъ не могъ знать всѣхъ своихъ крѣпостныхъ, ихъ взаимныхъ отношеній и семейнаго положенія; при моей помощи все записывалось

на бумажку и затѣмъ панъ выходилъ въ сѣни къ призваннымъ парубкамъ, читалъ съ бумажки свою волю и весело хохоталъ, смотря на кислыя подчасъ лица и длинные носы подневольныхъ жениховъ.

— Ничего, ничего,—хохоталъ онъ,—стерпится, слюбится... Да смотри, чтобы черезъ годъ былъ сынъ, а не то... ты вѣдь знаешь, я шутить не люблю и такого тебѣ подсыплю любовнаго жару!...

Но тутъ хохотъ и одышка мѣшали ему говорить и онъ только захлебывался, весь трясясь и багровѣя. Понятно, что въ такихъ случаяхъ многое, если даже не все, зависѣло отъ меня, и я дѣйствительно могъ, что называется, „казнить или миловать". Боже, какъ я былъ счастливъ, какъ радостно билось мое сердце, какъ гордо держалъ я свою голову, когда впервые у моихъ ногъ валялось все, нѣкогда меня ругавшее, презиравшее, участвовавшее такъ или иначе въ гнусномъ побоищѣ, имѣвшемъ для меня, по волѣ всемогущаго Провидѣнія, хорошія послѣдствія, на которыя, конечно, враги мои не разсчитывали... Какъ мало было у нихъ гордости, самолюбія, чувства собственнаго достоинства, если, послѣ всего стараго, они,

какъ ни въ чемъ ни бывало, пришли ко мнѣ валяться, чуть не плача, у моихъ ногъ!... О, я тогда уже понималъ, какъ низка, какъ пошла эта чернь, алчная, жадная, завистливая. Но все-таки не могъ удержаться отъ брезгливаго чувства и не сказать:

— А помните, какъ вы всѣ прежде?...

Мои слова были заглушены просьбами о прощеніи и проклятіями своей прежней глупости.

Но я, конечно, не вѣрилъ всему этому,— не вѣрилъ потому, что уже зналъ людей. Я зналъ, что нѣтъ ничего лукавѣе, злѣе, льстивѣе, подлѣе и гаже человѣка. Я зналъ, что чѣмъ ниже кланяются мнѣ, чѣмъ больше льстятъ, тѣмъ больше нуждаются во мнѣ, но тѣмъ сильнѣе ругаютъ за глаза. Я зналъ и то, что чѣмъ больше я сдѣлаю кому-нибудь добра, тѣмъ сильнѣе меня будутъ тѣ же ненавидѣть... И тѣмъ не менѣе я дѣлалъ добро, я рѣдко кому отказывалъ въ услугѣ... Зачѣмъ, спроситъ читатель? Но развѣ можно отвѣтить на вопросъ, зачѣмъ свѣтитъ яркое солнце, зачѣмъ золотая луна освѣщаетъ мракъ ночи, зачѣмъ поетъ птица?... Такимъ родила уже меня мать, такимъ воспитала у своей любящей груди...

Мои услуги другимъ часто переходили въ благодѣянія... Я не только помогалъ нуждающимся протекціей и вліяніемъ у папа, но помогалъ и матеріально, своими собственными кровными деньгами... Я давно взялъ уже свои деньги изъ кубышки матери и раздавалъ ихъ въ ссуду нуждающимся, за умѣренные проценты, разумѣется... Конторскимъ папычамъ и болѣе состоятельнымъ людямъ я отдавалъ безо всякой гарантіи, кромѣ честнаго слова, для голытьбы же я требовалъ только словеснаго удостовѣренія Кондрата, что деньги могутъ быть взысканы. И я раздавалъ, спасая этимъ многихъ изъ самаго безвыходнаго положенія, не спрашивая, враги ли мнѣ они или друзья и зная отлично, что, вымоливъ у меня ссуду, провалявшись въ моихъ ногахъ со слезами на глазахъ, восхваляя меня до небесъ, — большинство, если не всѣ, пойдутъ сейчасъ же ругать меня жидомъ и кровопійцей за мнимо-высокій процентъ!

Развѣ я просилъ ихъ, чтобъ они брали у меня? Развѣ не они сами валялись у моихъ ногъ?

Разъ, вечеромъ, я возвращался отъ ксендза, котораго ходилъ навѣстить по панскому

порученію, такъ какъ у него наканунѣ, послѣ сытнаго панскаго обѣда, гдѣ подавался жареный гусь съ яблоками—любимое блюдо ксендза—сдѣлались судороги въ желудкѣ. Я уже заворачивалъ къ дворовымъ воротамъ, какъ вдругъ неожиданно меня нагнала Галя, вся красная и запыхавшаяся.

— Постой, Ивасику, постой!—еле переводя духъ, кричала она мнѣ въ догонку.

Я давно ее не видѣлъ. Остановившись, я невольно залюбовался на ея хорошенькое личико.

— Чего тебѣ, Галя?

— Ивасику, голубчику, сдѣлай милость!—зашептала она, повиснувъ мнѣ на шеѣ и осыпая поцѣлуями,—будь добрымъ братикомъ...

— Чего же тебѣ, говори?...

— Ивасику, голубчику, милый мой, помоги....

— Да что такое? Передыхни, что ли, да говори толкомъ.

Но Галя какъ-то сконфуженно улыбнулась.

— Видишь...

— Ну?...

— Ахъ, Ивасику, какой ты сердитый

сталъ... право,—надула она свои губки,—и сказать ничего нельзя!...

— Да ты же ничего и не говоришь, дура,—мягко сказалъ я, смѣясь вмѣстѣ съ нею—Въ чемъ дѣло, говори...

— Ты знаешь Федя?—вдругъ выпалила она, опустивъ глазки и пряча головку въ мое плечо.

Я догадался.

— Какого же это?

— Федя Забійниса.

— Этого оборвыша, изъ нищенской семьи?—возмутился я.

— Ну, такъ что же?—обидчиво заговорила Галя,—онъ, правда, бѣдный: у него коровы нѣтъ, только яловка, но онъ хорошій такой...

— Что же въ немъ хорошаго, брови черныя, что ли?

Галя начала плакать.

— Ну, и злой же ты! Я думала, какъ къ брату, а ты!... Онъ меня сватаетъ... и я такъ его люблю!...

— А что мать?—спросилъ я, недовольный этимъ страннымъ выборомъ.

— Мать не знаетъ еще... Я къ тебѣ,

чтобы ты помогъ,—продолжала она все хныкать на моемъ плечѣ.

— Ну, что же? Я прежде всего переговорю съ матерью, какъ она,—обрадовался я возможности такого выхода, заранѣе предчувствуя, что мать будетъ противъ этого сумасбродства красивой дочери, у которой, благодаря положенію брата, могутъ найтись женихи и почище голаго Федя.

Не успѣлъ я собраться, чтобъ, улучивъ свободную минутку переговорить съ матерью, какъ ко мнѣ явился неожиданно Кондратъ и послѣ длиннаго вступленія о томъ, о семъ, сталъ униженно просить помочь ему въ сватаньи на Галѣ. Признаюсь, я невольно разсмѣялся такому совпаденію и мысленно радовался за Галю. „Ай-да дѣвка,—думалось мнѣ,—не промахъ!“ Кондратъ подозрѣвалъ, а по всей вѣроятности и зналъ даже, что сердце дѣвочки уже занято, зналъ, можетъ-быть, даже и кѣмъ и возлагалъ всѣ надежды на мои и родителей увѣщанія, на свое положеніе вольнаго человѣка и богатство. Пообѣщавъ ему сдѣлать все возможне, я разсказалъ все матери и, какъ я предчувствовалъ заранѣе, мать была противъ сватанья голаго Федя, но за то сильно обрадовалась Кон-

драту. Правда, Кондратъ былъ вдовцомъ, не молодъ, отъ первой жены у него осталось двое дѣтей, за то онъ былъ богатъ, относительно, конечно, пользовался вліяніемъ и властью и ко всему этому былъ свободенъ.

Какая бы мать не обрадовалась такому зятю?

Хотя я никогда и ни о чемъ не просилъ пана для своей семьи, не заикался о ней даже, зная, какъ панъ этого не любитъ, требуя, чтобы всѣ его подданные строго выполняли свои обязанности, вытекавшія изъ ихъ положенія, тѣмъ не менѣе мое положеніе, моя близость къ пану или, лучше сказать, боязнь меня, моей мести, невольно вынуждала Кондрата оказывать моимъ родителямъ разныя послабленія и льготы какими никто не пользовался въ селѣ. Несмотря на это, отецъ по-прежнему ненавидѣлъ Кондрата и, узнавъ отъ матери о его сватаньи, не только не обрадовался, но, къ общему удивленію грубо сказалъ:

— Это дѣло Гали, какъ она хочетъ, я же думаю, что ей не слѣдовало бы выходить за такого сукина сына, да еще вдовца къ тому.

Нечего и говорить, что съумашедшая Солоха была вся на его сторонѣ и злобно ликовала.

— Ты что-жь это,—не выдержала мать,— родному дитяти счастья не желаешь? Ты его, можетъ-быть, и за Федя отдашь?

— Если дѣвка его хочетъ, пускай идетъ! Да и чѣмъ Федь плохъ,—что бѣденъ развѣ?—да вѣдь и мы не богачи, а онъ работящій и хорошій мужикъ!

— Хорошій, хорошій подхватила Солоха,—да и Галѣ онъ полюбился... Пускай сватаетъ, я корову свою дамъ! Только вѣдь ей счастья, что милаго цѣловать!...

Солоха, по обыкновенію, ко всему приплетала свое недовольство общимъ положеніемъ.

Галя подпрыгнула отъ восторга при этихъ словахъ, но мать, какъ она мнѣ разсказывала, твердо сказала, что этому не бывать, и залилась горькими слезами.

Такимъ образомъ, въ семьѣ моей начались бурныя сцены между матерью съ одной стороны и отцомъ, Галей, Тарасомъ и Солохой съ другой; пошли ругань и ссоры,— словомъ, цѣлый содомъ, невольно донимавшій и меня, такъ какъ мать все чаще и

чаще забѣгала ко мнѣ плакаться и отводить душу. Съ другой стороны, пилилъ мою душу своимъ любовнымъ нытьемъ этотъ хрычъ Кондратъ, втюрившійся на старости лѣтъ, какъ котъ, въ краснощекую Галю, приходившій ко мнѣ вздыхать и охать, жаловаться на отца и Солоху и просить постоять за него горой.

— Только бы, пане Ивасю, вы не были противъ, а я бы уже выпросилъ ее себѣ у пана и силкомъ бы взялъ!—сказалъ онъ мнѣ разъ.

Дѣйствительно, можно бы было кончить такимъ образомъ, да я вспомнилъ угрозу отца и всю сцену клятвы моей,—правда, вынужденной,—на образъ. А что если отецъ прійдетъ къ пану и прикажетъ мнѣ вмѣстѣ съ нимъ просить пана не отдавать Галю Кондрату? Панъ, конечно, никогда не отказалъ бы мнѣ, а ослушаться отца, сдѣлать по своему собственному разуму, по своей совѣсти; я бы тогда еще не рѣшился, — отецъ былъ мнѣ страшенъ въ своей суровости и рѣшительности. Да къ тому же,— кто его знаетъ,—въ этой стрекозѣ Галѣ сидѣла таки частичка Солохина духа! Кромѣ того, что дѣвчонка могла дѣйствительно

привести въ исполненіе свою угрозу: „выцарапать буркалы“ этой „старой собаци“, какъ она звала Кондрата, она, подзадориваемая такимъ сорвиголовой, какъ Тарасъ, и безъ того грозившимъ всадить Кондрату шило,—при помощи отца, Солохи и всей ихъ клики могла надѣлать чортъ знаетъ что!

— Нѣтъ, погоди. „Це дило треба разжуваты“!—отвѣтилъ я Кондрату старой поговоркой. — Можетъ-быть мнѣ и матери удастся еще уломать дуру.

Кондратъ тяжко вздохнулъ,—до того была тяжела ему эта отсрочка на неопредѣленное время.

Глава XI.

Праздникъ Діаны.

По совѣту лѣчившихъ ее докторовъ, пани, жаловавшаяся съ нѣкотораго времени на грудь и кашель, уѣхала на воды за границу, взявъ съ собой маленькую Зосю, а немного спустя началась извѣстная Крымская война. Кто не читалъ, если не слышалъ, разсказовъ о тяжелыхъ дняхъ этой войны, когда каждый часъ уносилъ сотни здоровыхъ, моло-

дыхъ жизней, когда каждый взрывъ непріятельской бомбы подъ стѣнами Севастополя разсыпался по странѣ слезами русской матери, когда паннихиды и погребальное пѣніе стали необходимымъ явленіемъ почти въ каждой семьѣ. Страшное было это время, ужасомъ разило слово „Севастополь“, адомъ казалась жизнь въ его каменныхъ стѣнахъ. Наборы рекрутъ слѣдовали за наборами, каждый день ревѣли матери, сестры, отцы и братья, провожая на войну дорогаго человѣка, проходили войска и толпы ополченцевъ, неистово буйствуя по городамъ и селамъ, не останавливаясь ни предъ чѣмъ, въ виду грозившаго имъ впереди „севастопольскаго ада“, грабя всякую живность и сѣно, внося развратъ и болѣзни въ мирныя, трудовыя семьи. О, это было тяжелое время. Все стонало, молилось и плакало. Кругомъ стало какъ-то пусто и голо и суевѣрные люди пророчили приближеніе страшнаго суда.

— Охъ, Ивасику,—говорила мнѣ мать,— тяжелое время переживаемъ мы, наказалъ насъ Господь за грѣхи наши. Скоро ѣсть будетъ нечего, хоть съ сумой иди!—и она плакала навзрыдъ.

То же самое говорила и вся деревня, но, благодаря Богу и счастливой судьбѣ, ничто дурное и тяжелое не коснулось меня и все это я наблюдалъ изъ разсказовъ другихъ или изъ панскихъ газетъ, такъ какъ общее несчастье не переходило за стѣны палаццо, гдѣ жизнь продолжала течь такъ же плавно и ярко, среди пировъ и веселія, какъ и всегда. Правда, панъ очень сердился, когда узнавалъ, что проходившіе казаки уносили цѣлыя копны его сѣна, убивали скотъ и птицу, но это нисколько не мѣшало ему наслаждаться жизнью. Напротивъ, съ отъѣздомъ пани, панъ вздохнулъ свободно и въ домѣ пошла широкая, разгульная жизнь совершенно холостаго характера, не имѣвшая ничего общаго съ прежнею салонностью и чопорностью. Съ утра до поздней ночи раздавался теперь немолчный хохотъ и визгъ смазливыхъ дворовыхъ дѣвокъ, хлопали двери, визжали собачьи своры, гремѣли рога псарей, а старое венгерское и медъ изъ заповѣдныхъ дѣдовскихъ бочекъ лились рѣкой, какъ простая вода. Домъ былъ вѣчно полонъ гостей и могучіе, знатные паны весело убивали время за зеленымъ столомъ игрою въ „дьябелка“, травя лисицъ и зайцевъ и

награждая щедрыми звонкими поцѣлуями коралловыя губки дворовыхъ Марусь и Гапокъ. У меня даже кружилась голова и захватывало духъ, выражаясь фигурально, отъ этой страстной, кипучей жизни.

Такъ какъ панъ просто дышать не могъ безъ меня, то я сопровождалъ его всюду—и на облавы, и при посѣщеніяхъ имъ сосѣдей. Дома же, я, можно сказать, буквально не отходилъ отъ него и потому, понятно, не могъ уже заниматься съ Ратопланомъ и Михасемъ, которыхъ видалъ чрезвычайно рѣдко. Да, правду сказать, мнѣ уже тогда было не до ученья; я со всею страстью отдался своему положенію приближеннаго, перваго и любимѣйшаго панскаго слуги, всецѣло увлекаясь картиной веселой, шумной жизни, а въ свободныя минуты, большею частью, когда панъ отдыхалъ, зачитывался до одури романами, которые потихоньку бралъ изъ панской библіотеки.

И я платилъ свою дань молодости!

Впрочемъ, мое зачитыванье безтолковыми романами, какъ это ни покажется на первый взглядъ страннымъ, имѣло для меня благія послѣдствія, спасало меня отъ паденія. Среди той обстановки, въ которой я

жилъ, гдѣ все дышало поклоненіемъ Эроту и Венерѣ, гдѣ соблазнъ стоялъ на каждомъ шагу, я легко могъ завязать интрижки и впасть въ грѣхъ прелюбодѣянія. Всѣ дворовыя дѣвушки, и самыя красивыя, дѣлали мнѣ глазки, заигрывали со мною и употребляли всѣ усилія, чтобы такъ или иначе завлечь меня въ свои сладкія цѣпи, благодаря моимъ чернымъ усикамъ и глазамъ, а главное—моему положенію, но, съ гордостью говорю, тщетно и напрасно. Я остался невиненъ, какъ красная дѣвица. Да, я остался чистъ и невиненъ, несмотря на царившіе кругомъ соблазны и только благодаря страстному чтенію романовъ. Зачитываясь романами, я переживалъ ихъ душою, сердцемъ, головою, всѣми фибрами тѣла. Я вѣчно поэтому виталъ среди графинь и маркизъ, среди блеска и утонченныхъ манеръ, дышалъ чуднымъ ароматомъ салоновъ и будуаровъ, цѣловалъ мраморныя плечи и бѣлоснѣжныя ножки, утопавшія въ шелку и кружевахъ, великосвѣтскихъ красавицъ и потому естественно не могъ увлекаться грубыми, хотя и хорошенькими, Гапками и Маруськами, съ ихъ икотой и отрыжками, съ ихъ грубыми руками и ногами и къ тому

же почти всегда дышавшими то чеснокомъ, то лукомъ.

Съ наступленіемъ осеннихъ дней, панъ задумалъ открыть сезонъ охоты особенно грандіознымъ пиромъ, назвавъ его праздникомъ Діаны, въ честь богини покровительницы охоты, на который позвалъ только самыхъ интимныхъ и близкихъ друзей.

Праздникъ открылся облавой на волковъ, лисицъ и зайцевъ, тянувшеюся съ утра до поздняго вечера. Въ полѣ, на извѣстныхъ мѣстахъ, были разбиты дорогіе, ковровые шатры яркихъ цвѣтовъ съ закуской и винами для пановъ и горѣли костры, на которыхъ шипѣли и бурлили громадные котлы съ пшеномъ для гонцовъ, всего населенія деревни, взрослыхъ, дѣтей и стариковъ, волей-неволей согнанныхъ для облавы, поднимавшихъ въ лѣсу неистовый гамъ и шумъ. При перемѣнахъ паны сходились къ шатрамъ, начинала гремѣть дворовая музыка, гонцы-парубки и дивчата должны были плясать и пѣть и такимъ образомъ среди мертваго поля открывался веселый пиръ... Вино лилось рѣкой; самыя дорогія и изысканныя блюда смѣнялись еще болѣе дорогими и изысканными. Паны закусывали, пили, съ

торжествомъ пересчитывали свои трофеи, залпами на воздухъ встрѣчали каждый трофей. Волковъ, лисицъ, а въ особенности зайцевъ было перебито множество и съ закатомъ солнца паны съ музыкой и пѣніемъ гонцовъ потянулись домой, гдѣ ихъ ждалъ пышный пиръ „классическаго стиля“, какъ выражался панъ, въ золотой палатѣ, а мужиковъ—танцы на лужайкѣ парка подъ звуки деревяннаго дудка, баса, скрипки. Весь палаццъ, дворъ и паркъ были буквально залиты огнями... Тысячи разноцвѣтныхъ фонарей самой причудливой формы, безчисленное множество плошекъ и смоляныя бочки съ ихъ краснымъ снопомъ пламени производили волшебное впечатлѣніе, превращая и дворъ, и палаццъ, и паркъ въ какое-то сказочное царство... Большія залы дворца, убранныя особенно роскошно, живыми благоухавшими цвѣтами, были освѣщены, какъ днемъ, а громадные столы чуть не ломились подъ грудами серебра и хрусталя съ дорогими рѣдкими закусками и фруктами. Статуи, стоявшія по угламъ и стѣнамъ, были сняты съ своихъ пьедесталовъ и вмѣсто нихъ стояли чистовымытые и причесанные, обнаженные подростки изъ

дворовыхъ дѣвокъ съ вѣтками изъ розъ и виноградныхъ листьевъ на головѣ и таліи, держа въ рукахъ высокіе, прекрасные канделябры со множествомъ свѣчей. Онѣ сначала, понятно, упрямились и ревѣли, конфузясь, но угроза быть высѣченными скоро заставила ихъ утереть слезы и принять соотвѣтственныя позы. Красавица Приська, панская любимица, сверкая своимъ мраморнымъ обнаженнымъ тѣломъ, изображала собою Діану съ золоченымъ колчаномъ и лукомъ за плечами и полумѣсяцемъ въ волосахъ. Она красовалась, склонясь на колѣно, на столѣ, покрытомъ, какъ ковромъ, живыми цвѣтами, держа громадный серебряный кувшинъ съ завѣтнымъ венгерскимъ, которымъ наполняла кубки подходившихъ къ ней гостей, цѣловавшихъ ее за это, точно статую, куда попало... Всѣ же остальныя дворовыя дѣвки въ такихъ же классическихъ костюмахъ, т. е. безусловно обнаженныя, только съ вѣнками на головахъ и таліяхъ, замѣняли лакеевъ, такъ какъ никому изъ мужскаго персонала дворни, даже мнѣ, не былъ дозволенъ входъ въ этотъ домъ нѣги, красоты и фей.

— Развратъ!—скажетъ читатель.—Очень

можетъ быть... Но развѣ я могу, развѣ я смѣю осуждать моего благодѣтеля? Какъ и тогда, такъ и теперь, я понимаю святую истину, что всѣ мы люди не безъ грѣха, за который каждый изъ насъ отдастъ отчетъ Богу, и прежде, чѣмъ осуждать кого-либо, не нужно ли вспомнить великія слова: „кто изъ васъ безгрѣшенъ, брось въ нее камень!...“

Я стоялъ на лужайкѣ парка и безпечно глазѣлъ на мужицкіе танцы. Возлѣ меня почтительно стояли конторскіе панычи и Кондратъ, не спускавшій завистливаго и вмѣстѣ сердитаго взгляда съ Гали, лихо отхватывавшей казака съ черноглазымъ Федей подъ одобрительные крики глазѣвшихъ. „Ну, и дивчина-жъ!... Ну-жъ, и хлопецъ...“ только и слышалось къ вящей досадѣ и безъ того уже сердитаго Кондрата и къ моей потѣхѣ вмѣстѣ, такъ какъ лицо его тогда становилось до нельзя глупымъ и комичнымъ. Вскорѣ къ намъ присоединился и паничъ Михась. Онъ на виду у всѣхъ сталъ рядомъ со мной и, положивъ мнѣ на плечо руку, какъ обыкновенно обнимаютъ близкихъ и родныхъ людей, не сводилъ восторженныхъ глазъ съ Гали.

— Кто это, Ясю!—говорилъ онъ, указывая на нее пальцемъ.

— Моя сестра, Галя!—гордо отвѣтилъ я, не оборачиваясь.

— Ну, и сестра-жъ у тебя, красавица!— и Михась захлопалъ въ ладоши и крикнулъ:

— Молодецъ Галя!...

Въ тотъ же самый моментъ пущенная изъ толпы невидимою, но вѣрною рукою громадная сосновая шишка угодила Кондрату прямо въ носъ.

Толпа громка захохотала, расхохотался и Михась, да и я не могъ удержаться отъ улыбки: до того глупо и комично стало обыкновенно важное лицо Кондрата. Онъ сердито сдвинулъ брови и сталъ озираться, чтобы найти виновника, но въ то же время новая шишка при новомъ, еще большемъ взрывѣ всеобщаго хохота, хватила его въ ухо.

Теперь я замѣтилъ, кто бросилъ. Это была Тарасова штука.

Я немедленно направился въ толпу, чтобы унять дерзкаго сорванца отъ продолженія подобныхъ подвиговъ, но онъ все прятался отъ меня за мужицкія спины и мнѣ пришлось искать его долго, такъ что я не

замѣтилъ, какъ къ танцующимъ подошелъ панъ съ гостями.

— Кто это? Чья она?—въ восторженномъ удивленіи воскликнулъ немного подвыпившій, но твердо державшійся на ногахъ, панъ, указывая на Галю.

— Кожухова. Сестра Яся, вельможный панъ, почтительно доложилъ Кондратъ.

— Ясь, Ясь! Гдѣ же ты, проклятый?—закричалъ во все горло панъ.—Иди сюда!

— Что это ты хранилъ подъ спудомъ такую красавицу и не говорилъ мнѣ о ней?—обратился онъ шутливо ко мнѣ, когда я прибѣжалъ на его зовъ.

— Я не зналъ, пане, что она красавица!

— Ха-ха-ха, Дуракъ! не зналъ, что она красавица... Да она чудо, что такое... Правда, панове?

— Правда, правда... Нимфа!—подтвердили въ одинъ голосъ паны, немного покачиваясь.

— Богиня, а не нимфа! — закричалъ панъ.—Поцѣлуй же меня, красотка!...

Но Галя стояла, не шевелясь, сильно покраснѣвъ и опустивъ голову, а Федь нахмурилъ брови и ужасно походилъ на разбойника.

— Стыдишься? Не хочешь?—ласково шутилъ панъ.—Ну, такъ постой же я тебя поцѣлую!—и сильно обнявъ, онъ громко чмокнулъ ее въ губы. Глупая Галя быстро поблѣднѣла и на щекахъ у нея показались слезы. Федь еще сильнѣе нахмурился и я видѣлъ, какъ у него блеснули зрачки глазъ.

— Хочешь ко мнѣ во дворъ изъ своей хаты?—еще ласковѣе продолжалъ панъ.

Но Галя вмѣсто отвѣта только дрожала и совсѣмъ расплакалась.

— Вотъ дурочка! Вѣдь тебѣ здѣсь лучше будетъ, сама увидишь... Съ нынѣшняго же вечера ты останешься здѣсь! Спроси Яся, какъ здѣсь хорошо. Правда, Ясь?—спросилъ панъ меня.

— Совершенная правда, вельможный панъ!

И мнѣ и Кондрату чрезвычайно понравилось и было на руку это панское приказаніе. Для отца было бы страшнымъ ударомъ видѣть дочь во дворѣ, и онъ съ радостью согласился бы отдать ее за Кондрата, если бы мы сказали ему, что иного способа взять ее со двора нѣтъ. А упросить пана отдать Галю Кондрату намъ бы конечно ничего не стоило. Дѣло пошло бы отлично, не вмѣшайся подлый Федь.

Блѣдный дрожащій отъ затаенной злобы, онъ нахально приблизился къ нему и сказалъ, падая въ ноги.

— Вельможный пане освободите ее, бѣдную!

— Ты кто такой?—гнѣвно спросилъ панъ.

— Федь Забійнисъ, вельможный пане...

— Не то... Чего ты хлопочешь за нее? Ты кто ей?

— Я ее сватаю, вельможный пане... Мы одружились съ ней по честному христіанскому закону.

— Какъ, безъ меня, безъ моего позволенія! Безъ моего согласія, подлый хамъ! Ты смѣлъ? Да я запорю тебя, на свиньѣ полосатой женю... Вонъ! Взять ее во дворъ!— рѣзко обернулся онъ къ Кондрату.

Галя отчаянно взвизгнула, Кондратъ съ восторгомъ обхватилъ ее талью своими дюжими руками. Въ то же время обезумѣвшій Федь вскочилъ на ноги... Отчаянный крикъ его возлюбленной привелъ его въ необузданную ярость, какъ хищный ястребъ, бросился онъ на своего соперника и, прежде чѣмъ кто-либо опомнился отъ ужаса и изумленія, Кондратъ лежалъ на землѣ съ перешибленнымъ носомъ, изъ котораго ручьемъ

лила кровь, марая великолѣпную смушковую шапку, освободившаяся Галя, какъ коза, влетѣла въ толпу, самъ Федь исчезъ, какъ подъ землю.

— Лови его... держи... бей въ мою голову!—закричалъ не своимъ голосомъ панъ, топоча ногами и отчаянно размахивая своими короткими руками.

Я и оба конторскихъ паныча, какъ вѣтеръ, бросились въ толпу оторопѣвшаго мужичья, но Федя нигдѣ не было видно... Я бросался во всѣ стороны, расталкивалъ бабъ, глядѣлъ въ кусты и вдругъ увидѣлъ въ концѣ аллеи убѣгавшую бѣлую фигуру Федя, освѣщеннаго зеленоватымъ блескомъ луны. Вихремъ я пустился за нимъ въ догонку, не помня себя, весь охваченный какою-то безумною храбростью, ничего не разсчитывающею, не взвѣшивающею неравенства силъ и опасностей и со всего разбѣга грохнулся о земь.

— Ось тебѣ... не лови! — раздался надо мною въ тотъ же моментъ глупый ироническій хохотъ дерзкаго брата.

— Какъ ты смѣлъ подставить мнѣ ногу, подлый мальчишка?—закричалъ я въ бѣшенствѣ, чувствуя сильную боль въ ушиб-

ленной головѣ и груди.—Я тебя запорю, я пану скажу!—чуть не плакалъ я; но дикій мальчишка только хохоталъ, убѣгая, и осыпалъ меня градомъ самыхъ гнустныхъ прозвищъ. Когда я поднялся, до моихъ ушей донесся новый отчаянный визгъ Гали. О преслѣдованіи Федя ничего было и думать и я бросился на крикъ, боясь какъ бы происшедшее не повліяло на мою карьеру.

Оба конторскіе и Кондратъ, изъ носа котораго все еще продолжала струиться кровь, тащили страшно визжавшую Галю по освѣщенной парадной лѣстницѣ во второй этажъ, а къ нимъ, запыхавшись и что-то крича, бѣжалъ панъ, но у самыхъ дверей палацца остановился, какъ вкопанный... Изъ-за колонны крыльца на встрѣчу ему бросился паничъ Михась, страшно взволнованный, блѣдный и дрожащій.

— Отецъ, пусти ее, ради Бога пусти!—схватилъ онъ за рукавъ отца.

— Прочь!... Ты забылся, кто ты!—не помня себя и плюя отъ бѣшенства, закричалъ панъ, сильно дергая руку.

— Такой же шляхтичъ, какъ и ты, и твой сынъ!—отвѣчалъ горячій, какъ отецъ, Михась, и отъ волненія у него лихорадочно

затрясся подбородокъ и забарабанила губа.— Пусти ее, молю тебя! Молю, заклинаю! Бѣдная она! Отецъ, отецъ!

— Прочь! Я запорю тебя,—рванулся панъ такъ, что Михась отлетѣлъ въ сторону, но, быстро упавъ на колѣни, онъ обнялъ ноги отца.

— Дѣлай, что хочешь, убей меня, но пусти ее, отецъ, молю тебя! Это не по-шляхетски обижать женщину. Это недостойно нашего рода. Именемъ матери заклинаю тебя, во имя покойницы, отецъ!

Эта страстная мольба, а главное—напоминаніе о покойницѣ женѣ пана, которую онъ, говорятъ, страстно любилъ когда-то и которая даже, по словамъ Солохи, отца и Панфила, была „святая женщина“, сильно повліяло на пана: онъ невольно остановилъ какой-то нерѣшительности, точно сконфуженный и не зная, что дѣлать; но въ тотъ же моментъ въ громадномъ открытомъ окнѣ втораго этажа показалась Галя, запертая на ключъ своими похитителями, и, прежде чѣмъ кто-либо изъ насъ могъ догадаться о ея намѣреніи, она, какъ молнія, вскочила на подоконникъ, перекрестилась и съ крикомъ: „прости меня, господи!“—бро-

силась внизъ, ударилась о желѣзный навѣсъ надъ входною дверью нижняго этажа и оттуда со стономъ скатилась на земь.

— Святая Матерь!—въ ужасѣ вскрикнули и я, и панъ, а паничъ безъ чувствъ повалился на землю.

И какъ бы въ отвѣтъ на нашъ крикъ и стонъ Гали, изъ-за темной синевы парка разлилось по небу багровое зарево пожара.

Поднялись невообразимая суматоха, крикъ и толкотня; народъ бѣжалъ сломя голову къ мѣсту пожара, толкая другъ друга, ругаясь, охая и не обращая ни на что вниманія,—разсыпая кругомъ вопросы, что горитъ, и, не получая ниоткуда отвѣта, ускорялъ бѣгъ и ругался еще сильнѣе. У меня отъ страха отнялись и руки, и ноги, и языкъ, и я стоялъ, какъ столбъ, не сводя глазъ съ пана, то и дѣло крестившагося и повторявшаго смущенно: Іезусъ Марія. Нѣсколько мгновеній панъ какъ бы колебался, не зная, куда броситься, переводя зрачки съ Гали на зарево и съ зарева на Михася, но вдругъ быстро пришелъ въ себя и съ громкимъ крикомъ: „люди, ко мнѣ!“—бросился къ лежавшему, точно мертвецъ, Михасю. Панъ поднялъ его, разорвалъ воротъ рубашки и

снова крикнулъ: „люди!“, но на зовъ его никто не явился, такъ какъ кругомъ уже было пусто.

— Что же ты, чортъ, стоишь столбомъ!— крикнулъ панъ ко мнѣ; я пришелъ въ себя и бросился ему на помощь, когда къ намъ уже подбѣжали дѣвки и поваръ. Соединенными усиліями понесли мы Михася, приходившаго уже въ себя, и въ то же время я услышалъ раздирающій крикъ матери, голосившей надъ Галей, проклятія Солохи, увидѣлъ отца и еще нѣсколько человѣкъ, поднимавшихъ Галю, въ числѣ которыхъ мой зоркій глазъ различилъ цыганское лицо Федя, ни вѣсть откуда взявшагося, и курносаго подлеца Тараса. Всю ночь напролетъ продолжался ужасный пожаръ, остановить который не могли всѣ усилія сбѣжавшагося съ окрестныхъ деревень народа, такъ что къ утру богатое панское гумно, сплошь застроенное громадными скирдами хлѣба, представляло одно дымящееся сѣрое пепелище. Всю ночь панъ самъ энергично распоряжался тушеніемъ, смѣло шныряль вездѣ среди дыма и пламени, кричалъ, грозилъ, обѣщалъ награды, но всѣ усилія были тщетны; гумно было однимъ моремъ

пламени, солома вспыхивала, какъ порохъ, съ трескомъ разсыпая кругомъ миріады искръ, которыя, подымаясь вмѣстѣ съ дымомъ высоко кверху, напоминали великолѣпный фейерверкъ.

Глава XII.

Амуръ уступаетъ свою жертву Марсу.

Воспользовавшись общею сумятицей и тѣмъ, что панъ всецѣло былъ поглощенъ тушеніемъ пожара, я побѣжалъ домой провѣдать Галю. Мнѣ никогда не описать того огорченія и озлобленія, въ которомъ я засталъ всю свою семью. Дряхлый, весь дрожавшій, какъ лунь сѣдой, дѣдъ Панасъ утиралъ рукавомъ и безъ того вѣчно слезившіеся глаза; отецъ былъ блѣденъ, мраченъ и усы его тряслись. Онъ только взглянулъ на меня изподлобья и не сказалъ ни слова; я почувствовалъ, что можетъ произойти глупая сцена и какой-то трепетъ пробѣжалъ по мнѣ, но въ то же время я внутренно какъ бы желалъ этой сцены, чувствуя потребность разъ навсегда выяснить наконецъ свое положеніе по отношенію къ семьѣ,— указать, что я уже не мужичокъ Ивасикъ,

котораго можно гнуть какъ угодно, а приближенный, довѣренный слуга всемогущаго пана, изъ уваженія только къ семейному принципу не рвущій кровныхъ связей съ людьми совершенно посторонними мнѣ и по духу, и по положенію.

Мать билась, причитая на лавкѣ точь-въ-точь, какъ нѣкогда Солоха, оплакивавшая Олесю; глупый, громадный Тарасъ ревѣлъ и клялъ пана и Кондрата, ковыряя по обыкновенію въ своемъ глупомъ носу, и только одна Солоха, вся блѣдная, даже синяя отъ злости, молчала и, стиснувъ свои злыя, тонкія губы, суетливо возилась съ ногой Гали, что-то прикладывая и обматывая холстомъ. Галя лежала блѣдная, слегка стонала; но въ глазахъ ея свѣтилось какое-то тупое, даже безнравственное счастье, а не страданіе, такъ какъ тутъ же возлѣ нея виднѣлась цыганская рожа Федя, котораго она безстыдно обнимала рукой.

— Ой-ой-ой, лишенько мнѣ! — плакала во все горло мать,—и чѣмъ это мы разсердили Бога?

А Тарасъ вторилъ ей своимъ звѣринымъ ревомъ:

— Чтобъ имъ солнца не дождаться обоимъ!

— Цыть!—сердито прикрикнулъ отецъ.— Довольно! Чего ревѣть! Слава Богу что хоть жива осталась!

— Ой-ой-ой!—продолжала мать,—такая красавица и будетъ калѣка!

— Не будетъ!—рѣзко отрѣзала Солоха,— говорю вамъ, что не будетъ! Только косточка треснула, да я залѣчу... увидите. До свадьбы сростется.

— Ой, Солохо, ой... еслибъ только это была правда!... А то, вѣдь, я знаю, что ты любишь обманывать!—продолжала мать,—знаю тебя, какая ты...

Къ моему удивленію, Солоха не отвѣтила бранью и, точно не разслышавъ колкихъ, но правдивыхъ словъ матери, продолжала возиться съ ногой Гали, только еще плотнѣе сжавъ свои злыя губы. Но за нее вступился отецъ.

— Молчи!—рявкнулъ онъ, выходя изъ себя, такъ грубо и сердито, что бѣдная мать стала плакать тише, — довольно!... А ты что-жь, сучій сыну,—обратился онъ вдругъ грозно ко мнѣ,—не могъ заступиться за родную сестру, не могъ ей помочь?

Я точно ждалъ этого. Все, что накипѣло, наболѣло въ моей душѣ, все вспыхнуло ра-

зомъ. Я давно уже отвыкъ отъ подобнаго обращенія и меня страшно взорвала и эта ругань, и несправедливый тонъ отца. Весь вспыхнувъ, гордо выпрямившись, я съ достоинствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ почтительно, отвѣтилъ:

— Я не какой-нибудь мужикъ, чтобы вы меня такъ ругали, да и не за что... я...

Но, непомнившій себя отъ злобы, отецъ перебилъ меня:

— Что?! — заревѣлъ онъ, — что? ты не мужикъ?! Нѣтъ?! Ахъ, ты панскій прихвостень!—и, съ пѣной у рта, съ вытаращенными глазами, съ плотно сжатыми кулаками, онъ бросился ко мнѣ....

Минута—и буйный отецъ навѣрное прибилъ бы меня до смерти, но въ то же мгновеніе добрая мать, какъ молнія, бросилась съ лавки и стала между нимъ и мною... На помощь ей поспѣшилъ дрожавшій въ испугѣ дѣдъ; боявшаяся вѣроятно мести пана, Солоха схватила отца за рукавъ, а бѣдная Галя умоляюще застонала:

— Тату, тату, не бейте его!

— Не смѣй его бить, лучше убей меня!— кричала отчаянно мать, но отецъ не обращалъ никакого вниманія на ея крики.

— Я породилъ его, я и убью!... Пустите!— и, неистово борясь со всѣми, онъ осыпалъ меня страшными ругательствами и позорными эпитетами.

— Плюньте на него, Семене, одчурайся, какъ я....—злобно уговаривала его Солоха, а мать кричала:—бѣги, бѣги Ивасику, бѣги!

Я быстро скользнулъ къ дверямъ и въ сѣняхъ вздохнулъ полною грудью, почувствовавъ себя спасеннымъ и свободнымъ... О, какая же страшная пропасть лежала между мною и ими!... Только теперь я ее увидѣлъ ясно, отчетливо, осязалъ такъ сказать духовно... Все было кончено и порвано; мы были два разные міра, два полюса и, какъ бы въ подтвержденіе этимъ быстро летѣвшимъ въ головѣ моей мыслямъ и сознанію, раздались слова отца, посланныя мнѣ въ догонку:

— Чтобъ твоя нога не переступала порога нашей хаты!..

Я прильнулъ лицомъ къ окну и твердо, отчетливо отвѣтилъ:

— Не бойтесь!.. Я подожду, пока вы ко мнѣ прибѣжите!...

Когда я, въ понятномъ волненіи, весь горя лихорадочнымъ огнемъ отъ всего только-что

вынесеннаго, вернулся къ мѣсту пожара тушеніе было кончено, такъ какъ горѣть уже было не чему и панъ самолично производилъ слѣдствіе о причинѣ пожара. Поджогъ былъ несомнѣненъ, но виновниковъ его не было, или, лучше сказать, прямыхъ уликъ ни на кого не было. Одинъ старикъ утверждалъ, что будто бы видѣлъ, какъ кто-то прошелъ мимо гумна съ трубкой во рту не задолго до пожара, но это было очевиднымъ враньемъ, съ цѣлью отвести глаза, взваливъ все на „нечаянностъ...“

— Знаете, пане Ясю, чьи эти штуки?— шепнулъ Кондратъ, наклоняясь къ моему уху.

— Нѣтъ, Кондратъ, ей-богу не знаю!

— Федь!—шепнулъ онъ мнѣ опять.

Я вполнѣ повѣрилъ Кондрату, вполнѣ съ нимъ согласился. Дѣйствительно, подобное преступленіе было совершенно въ духѣ дерзкой, цыганской натуры Федя. Несомнѣнно, что поджогомъ онъ отомстилъ за свою возлюбленную.

— Неужели же гумно загорѣлось само собою? крикнулъ въ это время панъ, грозно озирая толпу и, замѣтивъ меня, подозвалъ къ себѣ и спросилъ:

— Не слышалъ ли ты чего нибудь, Ясю?

Я низко поклонился.

— Кондратъ, ваша вельможность, имѣетъ подозрѣніе на одного.

— Кондратъ?... Ахъ, ты старая собака!... Что же ты молчишь? — набросился на него панъ.—Иди сюда, говори!...

Кондратъ выступилъ впередъ и я видѣлъ, какъ всѣ лица толпы вытянулись и поблѣднѣли.

— Вельможный панъ,—началъ Кондратъ, отвѣшивая низкій поклонъ,—я потому молчалъ, что только догадуюсь, чье это дѣло... Но вотъ и Ивась тоже думаютъ... Не можетъ быть, чтобъ отъ трубки загорѣлось... Сколько разъ проходятъ люди съ трубками и даже въ вѣтеръ, а ничего, слава Богу, не бывало, а теперь и вѣтру не было... Я такъ думаю, что это сдѣлано нарочно, по лютой злобѣ на пана...

— Кто же могъ это сдѣлать? — грозно крикнулъ панъ.—Что ты тянешь, какъ баба прядево?!...

Кондратъ опять низко поклонился.

— Я такъ думаю... да вотъ и Ивась такъ думаетъ, что это дѣло Федя...

— Какого Федя?—заревѣлъ панъ.

— А того, ваша вельможность, что еще вечеромъ, при самомъ панѣ осмѣлился драться и защищать дѣвку, а потомъ убѣжалъ!...

— А, помню!... Гдѣ онъ, разбойникъ?— заревѣлъ неистово панъ, не слушая дальше Кондратовой рѣчи.—Тащи его!—и быстро пошелъ къ палаццо.

— Ты поджогъ, разбойникъ? — грозно окрикнулъ онъ, когда къ нему въ комнату ввели блѣднаго, оборваннаго Федя и, прежде чѣмъ тотъ открылъ ротъ, хватилъ его съ размаха по скулѣ и закричалъ:

— Не трудись врать, разбойникъ, — знаю!... Всыпать ему сотню, да горячихъ!...

Федя повалился въ ноги. Губы его дрожали, изъ черныхъ цыганскихъ глазъ текли крупныя слезы; грудь его то поднималась, то падала съ какимъ-то глухимъ, придавленнымъ хрипомъ, что мѣшало ему говорить ясно и связно; но панъ махнулъ рукой и преступника быстро вытащили.

Въ то время, когда на панской конюшнѣ руки Кондрата дарили его ласками болѣе горячими, чѣмъ тѣ, что онъ только-что получалъ у ложа своей возлюбленной, панъ далъ мнѣ перебѣлить исписанный клочекъ бумаги. Я перебѣлилъ:

„Его В—родію, господину исправнику. Въ настоящее трудное время, когда дорогое, священное наше отечество такъ нуждается въ храбрыхъ защитникахъ воинахъ, и желая принести посильную лепту на святой алтарь отечества, прошу принять отъ меня и зачислить въ ряды доблестнаго нашего воинства препровождаемаго при семъ крѣпостнаго моего Федя Забійниса сверхъ комплекта и не въ очередь“.

Въ тотъ моментъ, когда окровавленнаго, избитаго, еле дышащаго Федя укладывали въ телѣгу, вбѣжала его старуха мать, терявшая съ своимъ преступнымъ сыномъ единственнаго кормильца. Она была въ страшномъ отчаяніи. Сорвавъ съ головы платокъ, она рвала свои сѣдые волосы, каталась по землѣ, кляла, грозила Божьимъ гнѣвомъ, визжала, что сынъ ея невиненъ, молила пана спасти его, приписывая все злобѣ и навѣтамъ Кондрата. Ея отчаянные вопли проникли даже сквозь каменныя стѣны „палаццо“ и раздраженный панъ приказалъ увести ее со двора.

— Уходите, бабусю! — сказалъ я ласково,—уходите... панъ сердится!...

— Божья дытына!—крикнула она падая,

обнимая мои ноги и осыпая ихъ горячими поцѣлуями,—Ивасику! хорошій, добрый!... Я на рукахъ носила тебя... Мѣсяцъ ты мой ясный! выпроси мнѣ сына у пана, выпроси моего сокола...

— Бабусю... бабусю!—шепталъ я растроганный, всѣмъ сердцемъ своимъ жалѣя и ее, и Федя.

— Выпроси, голубчикъ!... Я Бога молить буду... Я на колѣняхъ доползу до Почаевской Владычицы и замолю у ней всѣ грѣхи твои... Я на томъ свѣтѣ,—я старуха уже, Ивасику, я у могилы стою, — я на томъ свѣтѣ буду молить Бога за тебя... Ивасику... Ивасику!...

Но что я могъ сдѣлать?

Глава XIII.

Капля долбитъ и камень.

Послѣдствіемъ описаннаго было то, что панъ отправилъ Михася въ К., гдѣ бы онъ готовился въ университъ, а вся моя семья, начиная дѣдомъ и кончая Тарасомъ, ходила опустивъ голову и повѣсивъ носы, заказывала молебны и ставила свѣчи святымъ угодникамъ, вымаливая здоровье для Гали,

которая со дня катастрофы съ ея возлюбленнымъ лежала въ горячкѣ. Хотя я, разумѣется, не забѣгалъ даже на мигъ домой, но, благодаря матери, зналъ отлично все, что дѣлалось дома, до мельчайшихъ подробностей,—зналъ, что ехидная Солоха, пользуясь своимъ положеніемъ лѣкарки, просто поселилась у насъ и, благодаря своему вліянію на слабаго отца, забрала все въ свои руки, верховодила въ хатѣ, такъ что моей бѣдной матери просто житья не было. Отецъ за послѣднее время сталъ страшно угрюмъ и золъ, не позволялъ матери не только отстаивать свои права отъ нахальной Солохи, но даже рта разѣвать, такъ что, не будь меня, бѣдной женщинѣ не съ кѣмъ было бы даже подѣлиться своимъ горемъ, не было бы любящей груди, на которой она могла бы выплакать свои слезы.

О люди, люди!

По отношенію ко мнѣ панъ послѣ катастрофы съ Галей сталъ еще добрѣе и ласковѣе. Его, повидимому, сильно тяготило, что онъ явился какъ бы невольнымъ виновникомъ несчастія съ моею сестрой, и онъ чувствовалъ себя какъ-то неловко, когда я являлся къ нему съ заплаканными глазами.

Желая естественно больше привязать его къ себѣ, я ходилъ постоянно грустнымъ и заплаканнымъ, но тонъ моего голоса былъ еще почтительнѣе, когда я отвѣчалъ ему на его приказанія: „слушаю пане“ или „что прикажете“,—и это невольно трогало его сердце и побуждало жалѣть меня. Онъ никогда не заговаривалъ со мною о случившемся, норазспрашивалъ иногда о здоровьи Гали, трепалъ по щекѣ, дарилъ деньги и другими способами ясно выказывалъ своерасположеніе

Съ выздоровленіемъ Гали всѣ окружавшіе ее стали замѣчать разительную перемѣну въ ея характерѣ. Ее просто нельзя было узнать,—до того она измѣнилась. Изъ живой, буйной, веселой и своенравной она вдругъ стала апатичной, вялой, покорной и смирной, изъ рѣзвой пѣвуньи и коновода всѣхъ дѣвичьихъ проказъ на селѣ—кислой плаксой. Прежде она бывало то и дѣло щебетала воробьемъ на всю хату, веселя этимъ угрюмаго отца, а порой даже надоѣдая матери такимъ стрекотаньемъ, теперь же она сидѣла сиднемъ, точно каменная, ничѣмъ не интересуясь, не волнуясь, постоянно плача, и слова отъ нея нельзя было добиться, какъ отъ дерева.

На отца сильно повліяла такая перемѣна въ любимой дочери, грустный видъ и слезы которой были ему положительно невыносимы. Онъ какъ-то быстро осунулся, одряхлѣлъ, но, что хуже всего, сталъ возвращаться домой иногда поздно ночью и сильно подъ хмѣлькомъ, когда прежде онъ былъ замѣчательно трезвымъ мужикомъ.

Бѣдная мать въ такія минуты, трепеща понятно за счастье своихъ дѣтей, за послѣднія крохи несчастнаго имущества, накидывалась на отца со слезами и упреками, но отецъ встрѣчалъ ихъ равнодушно и только смѣялся, такъ какъ въ пьяномъ видѣ онъ становился необычайно веселъ и благодушенъ. Тогда онъ обыкновенно съ азартомъ повторялъ давно бродившія среди черни надежды и слухи „о волѣ", а Галю принимался успокоивать на счетъ судьбы Федя, гадая, что тотъ можетъ отличиться на войнѣ, за что де царь царь сдѣлаетъ его своимъ генераломъ, и тогда онъ сдѣлаетъ ее генеральшей, пана повѣситъ на собственныхъ воротахъ, съ Кондрата сдеретъ шкуру, а мнѣ уже де самъ отецъ всыплетъ десять копъ просоленныхъ лозъ.

— Чего ты хочешь, пьяница, отъ Ива-

сика! За что ты это накидываешься на свою родную плоть собакой? — заступалась за меня мать.

— Что?—ворчалъ сердито отецъ, несмотря на свое благодушное настроеніе,—свою родную плоть, говоришь? Нѣтъ у меня сына кромѣ Тараса; знать его не хочу подлеца!— и онъ злобно и грубо стучалъ кулакомъ по столу, такъ что даже окна дрожали. За это разъ, не выдержавъ, мать швырнула ему въ голову большимъ горшкомъ, разлетѣвшимся въ дребезги.

Нужно сказать, что хотя деревня и сильно жалѣла Федя и страшно кляла Кондрата и меня за постигшее его несчастье, но вздохнула свободно, такъ какъ послѣ пожара, въ виду отсутствія виноватаго, каждый дрожалъ за себя, боясь какъ бы подозрѣніе и страшный панскій гнѣвъ не обрушился на него именно. Только этимъ, а также ходившимъ по селу, благодаря досужей фантазіи разныхъ кумушекъ, многочисленнымъ варіантамъ случившагося, по однимъ изъ которыхъ выходило будто Федь самъ сознался въ поджогѣ, а по другимъ, что Федь былъ наказанъ только за сцену на лужайкѣ парка, и можно объяснить, что

вспыхнувшее было всеобщее противъ насъ озлобленіе улеглось скоро и не проявило себя никакимъ преступленіемъ. Но Солоха и находившійся подъ ея злымъ вліяніемъ отецъ никакъ не могли мнѣ простить, что и я былъ за-одно съ Кондратомъ противъ Федя, котораго они считали невинною жертвой нашей злобы. Отецъ, вообще дорожившій мнѣніемъ мужичья, приходилъ положительно въ бѣшенство, что я, его сынъ, считаюсь всею деревней врагомъ, несмотря на всѣ мои благодѣянія, и по своей грубой, партійной логикѣ онъ стыдился и сердился, что я принималъ участіе въ обнаруженіи преступника, „своего же брата—мужика", въ интересахъ де общаго врага—„пана". Онъ чуть было не проклялъ меня, и мать говорила, что ей стоило много слезъ удержать его отъ этого.

Хотя, конечно, Галя не могла увлекаться пьяными фантазіями о генеральствѣ Федя и отвѣчала на нихъ только горькими слезами, къ крайнему сожалѣнію отца, разсчитывавшаго на совсѣмъ другое дѣйствіе своихъ словъ и принимавшагося тоже плакать, но матери было очень непріятны эти напоминанія и фантазіи. Съ одной стороны

они разстраивали Галю, съ другой же, напоминая ей о погибшемъ голоштанникѣ возлюбленномъ, тѣмъ самымъ мѣшали стараніямъ и надеждамъ матери соединить ее съ Кондратомъ. Мать совсѣмъ измѣнила свою тактику съ Галей: она была теперь съ ней необычайно ласкова, постоянно цѣловала ее, плакала вмѣстѣ съ ней и ласкала, — и только тихонько и осторожно нашептывала ей свои желанія и надежды видѣть ее и вольной, и богатой. Галя уже не протестовала по-прежнему, буйно и горячо; много, много если просила оставить ее пока въ покоѣ, но тѣмъ не менѣе дѣло пошло бы скорѣе, не мучь ее отецъ своими пьяными приставаніями съ мнимымъ генеральствомъ.

Въ виду этого мы трое: я, мать и Кондратъ—сговорились на невинный обманъ, имѣвшій цѣлью пользу бѣдной дѣвочки и способный разъ и навсегда покончить съ ея тоской. Въ одно утро, какъ было условлено, мать, вернувшись изъ панскаго двора домой, объявила, будто Федь убитъ и будто извѣстіе объ этомъ получено паномъ оффиціально отъ начальства Федя. Галя упала въ обморокъ, прохворала и протосковала нѣсколь-

ко дней, но, какъ мы и ожидали, стала гораздо спокойнѣе, рѣже плакала, только сдѣлалась еще больше вялой и сонной.

Отецъ продолжалъ выпивать, увлекаясь все сильнѣе и сильнѣе на этомъ прелестномъ поприщѣ и то и дѣло ругая и кляня меня, но оставилъ въ покоѣ Галю и генеральство Федя, махнувъ рукой на все и на всѣхъ и на себя. По мѣрѣ того, какъ онъ втягивался въ свое пьянство, мать забирала верхъ въ домѣ, устраняла вліяніе Солохи; а такъ какъ отецъ въ моментъ отрезвленія не могъ не чувствовать себя виноватымъ передъ нею, а пьяный благодушествовалъ и не перечилъ ей, то подъ конецъ она совсѣмъ-таки прибрала его къ рукамъ, пуская для этого въ ходъ слезы, упреки, укоры въ пьянствѣ и проч. Съ Галей вмѣстѣ съ тѣмъ она удвоила свои ласки и нѣжность и мало-помалу, шагъ за шагомъ, добилась успѣха.—Капля долбитъ и камень!

— Галю, пташка моя,—зарыдала разъ мать послѣ долгихъ нѣжныхъ ласкъ, — утѣшь мое сердце, успокой меня на старости. Дай мнѣ пойти въ могилу спокойно, чтобъ я не боялась за васъ, моихъ дѣтокъ...

Галя молчала, только поблѣднѣла сильнѣе.

— Галичко, сердце мое, — еще сильнѣе зарыдала мать, цѣлуя ее,—Галю моя милая, что вы всѣ будете дѣлать безъ меня съ пьянымъ отцомъ!... Что станется съ Тарасомъ, да и съ отцомъ?... Куда онъ свою старую голову склонитъ, когда пропьетъ все безъ меня?... Пропадете вы всѣ. А я чувствую, моя доню,—охъ, чувствую,—что я уже не жилица на этомъ свѣтѣ.

— Мама!—зашептала Галя.

— Не жилица, Галю, не жилица. Я у могилы стою. Дай же мнѣ, моя доню, сойти въ нее спокойно, чтобы сердце мое не обливалось кровью за всѣхъ васъ. Утѣшь меня, дай мнѣ пристроить тебя...

Галя поблѣднѣла такъ, что мать даже испугалась.

— Дѣлайте, мамо, что хотите... Мнѣ все равно теперь на свѣтѣ... что такъ жить, что въ воду, что за Кондрата...—чуть слышно прошептала она.

Мать страстно обняла ее, цѣловала ея руки, увѣряла, что она будетъ счастлива, благодарила ее, но Галя зарыдала и, склонившись къ подушкѣ, попросила мать оставить ее теперь на время въ покоѣ. Мать

воспользовалась этимъ и вихремъ примчалась ко мнѣ сообщить радостную вѣсть.

Кондратъ пришелъ въ неописанный восторгъ. Онъ немедленно нарядился въ лучшую свою свиту, надѣлъ богатый поясъ и вмѣстѣ со мною направился къ пану. Панъ былъ въ прекрасномъ настроеніи духа и даже навеселѣ, потому что любимая его кобыла разрѣшилась утромъ благополучно красивымъ жеребенкомъ.

Войдя, мы оба, въ тактъ, опустились на колѣни и благоговѣйно поцѣловали панскую ногу...

— Что вамъ?—удивленно и весело спросилъ панъ.

Вмѣсто отвѣта мы еще разъ поклонились и почтительно поцѣловали его ногу, что очень понравилось ему, такъ что онъ еще веселѣе и ласковѣе спросилъ:

— Что вамъ, мои милые? Языки у васъ, что ли, поотнимало? Вставайте, полно валяться!...

— Не встанемъ, пане!—отвѣчалъ Кондратъ.

— Почему? Что такое?...

— Пришелъ просить своего счастья, пане, хоть и не стою вашей милости! При-

шелъ просить отдать за меня сестру Яся!

— Что, ты хочешь жениться?—удивился панъ, даже вскочилъ отъ удивленія и вытаращилъ глаза...

— Да, пане, прошу вашего милостиваго соизволенія на то.

Панъ расхохотался до того, что чуть не упалъ... Онъ махалъ руками, задыхался, визжалъ и кончилъ тѣмъ, что, весь багровый, бросился въ кресло.

— Охъ, Боже мой!... Охъ... уморилъ меня! — кричалъ онъ, еле дыша и переводя духъ.—Жениться хочетъ, ишь ты, старая собака! и снова началъ хохотать. — Да можешь ли ты быть хорошимъ мужемъ?—выпалилъ онъ наконецъ.

— Если панъ благословитъ, то смогу!—отвѣтилъ Кондратъ, шутливо вторя въ тонъ пану и вмѣстѣ съ тѣмъ льстя ему, такъ какъ панъ гордился и хвастался своей физическою крѣпостью.

Ловкій отвѣтъ привелъ въ восторгъ пана: онъ весело вскочилъ, весь сіяя и сквозь смѣхъ сто разъ повторяя:

— Если я благословлю, если я благо-

словлю!—но вдругъ такъ грозно нахмурился, что мы оба съ Кондратомъ съежились.

— Что же ты, старый хрычь, задумалъ жениться, а меня и не думаешь звать въ сваты. Такъ-то ты мнѣ преданъ?... И ты, Ивась, мой первый человѣкъ, и ты не стыдишь его?—обратился панъ ко мнѣ, шутливо хмуря брови.

— Пане, вельможный пане! Смѣли ли мы, послѣдніе рабы ваши, даже думать о такой чести?—кланялись мы оба ему въ ноги...

— Отчего же, развѣ вы не знаете, что кого я люблю, того и жалую?... Ну, такъ просишь въ сваты?—обратился онъ къ Кондрату.

— Пане...—могъ тотъ только прошептать отъ избытка волновавшихъ его чувствъ, кланяясь и ловя панскую ногу, которую осыналъ поцѣлуями и обливалъ слезами благодарности.

— Ну, Ивашку, давай рушникъ, живо!

Я вихремъ сорвался и подалъ пану одно изъ висѣвшихъ у умывальника богато расшитыхъ полотенецъ. Панъ перевязалъ имъ руку по украинскому обычаю и во все горло закричалъ:

— Музыка!

Явился оркестръ дворовой музыки... Пану подали великолѣпно осѣдланную лошадь... Онъ молодцовато вскочилъ на нее и ухарски заломилъ на бокъ шапку. Его окружили верхами дворовые доѣзжачіе и псари и подъ торжественные звуки прекраснаго марша всѣ двинулись къ нашей бѣдной хатѣ на удивленіе всей деревнѣ, бѣжавшей слѣдомъ, недоумѣвая, что все это значитъ.

Галя сначала страшно перепугалась, а потомъ покраснѣла, какъ маковъ цвѣтъ. Мать чуть въ обморокъ не упала отъ счастья и восторга; подвыпившій отецъ крайне добродушно улыбался, стоялъ съ растопыренными пальцами и что-то бормоталъ невнятно, когда панъ громко объявилъ цѣль своего пріѣзда.

— Ну, что-жь, согласна?—весело спросилъ панъ Галю, испуганную и пораженную до того, что она стояла какъ столбъ.

— О, благодаримъ, благодаримъ за честь! отвѣчала за нее мать, падая въ ноги.— Шампана! — закричалъ панъ, вынимая изъ кармана драгоцѣнный кубокъ. Явилось привезенное шампанское.... Громко хлопнула пробка, музыка грянула тушъ и панъ громко крикнулъ:

— Пусть сама невѣста поднесетъ мнѣ изъ этого кубка—ея приданаго.

Всѣ такъ и ахнули отъ такой панской ласки. Мать дрожащими руками, вся сіяя счастьемъ, передала цѣнный кубокъ Галѣ, а та, ошеломленная всею этой сценой, какъ-то машинально, безсознательно поднесла пану вина, дрожа и краснѣя.

— Нѣтъ, голубка, такъ не годится, сама отвѣдай прежде: можетъ ты яду мнѣ подносишь!—пошутилъ панъ.

Мать шепнула Галѣ, та обмочила губки въ винѣ, а затѣмъ панъ до суха выпилъ его и брызнулъ въ потолокъ послѣднія капли.

— Живите счастливо!—крикнулъ онъ.—Ну, а теперь поцѣлуй меня!—и онъ крѣпко обнялъ глупенькую, дрожавшую Галю.

— Я все забылъ!—продолжалъ панъ, держа ее въ своихъ объятіяхъ и цѣлуя ее,—все прощаю тебѣ и радъ, что ты тогда, дурочка, не убилась! Видишь, я не злой и тебѣ нечего было меня бояться!—и онъ весело засмѣялся.—Ну, Кондратъ, бери ее!—крикнулъ онъ наконецъ.—Красавица-жь у тебя будетъ жена, первая красавица! Отдаю ее тебѣ даромъ, пусть будетъ вольная какъ и

ты! Пусть всѣ знаютъ, весь свѣтъ, что какъ я умѣю наказывать за зло, такъ умѣю и награждать преданность и вѣрную службу!

Говоря это, панъ махнулъ лѣвою рукой въ сторону Кондрата, и изъ рукава его посыпались серебряные рубли, затѣмъ махнулъ на начинавшую плакать Галю правою, и на нее посыпались золотые червонцы.

Вся деревня, всѣ, отъ мала до велика, долго не могли придти въ себя отъ всего этого, отъ такой чести и счастья, выпавшихъ на долю нашей семьи.

Глава XIV.

Гдѣ Тарасъ является во всемъ своемъ блескѣ.

Все это время мать была занята приготовленіемъ приданаго, по естественной гордости, не желая, чтобы дочь вступала въ чужой домъ безъ собственной рубашки, а дурочка Галя провела въ слезахъ, остановить которыя не могли самые роскошные подарки Кондрата. Она какъ-то боялась своего жениха и просто блѣднѣла, когда тотъ съ нѣжностью подсаживался къ ней, таращилъ на нее свои масляные глазки и

шепталъ то, что обыкновенно нашептываютъ въ такихъ случаяхъ.

Отецъ же безпросыпно пилъ, въ чемъ ему теперь нисколько не препятствовала добрая мать, боявшаяся, какъ бы трезвымъ онъ не выкинулъ какой-нибудь скандальной штуки съ Кондратомъ. Послѣдній съ тою же цѣлью, а можетъ-быть просто по влеченію собственнаго сердца, желая сдѣлать удовольствіе отцу своей невѣсты, обязательно доставлялъ каждый день водку и приказалъ шинкарю Лейзару открыть отцу безграничный кредитъ. Благодаря такой щедрости и тактикѣ, отецъ пропадалъ иногда по цѣлымъ днямъ и, когда приходилъ домой ночью, то былъ до того пьянъ, что не ходи за нимъ, какъ собака, его Тарасъ, онъ навѣрное не нашелъ бы своей хаты, а отдыхалъ бы гдѣ-нибудь подъ плетнемъ въ образѣ праотца Ноя. Понятно, что въ такомъ состояніи, когда языкъ его не вязалъ лыка, а самъ онъ весь сіялъ благодушіемъ, Кондрату нечего было опасаться и онъ сидѣлъ сиднемъ въ нашей хатѣ и даже дружески шутилъ подчасъ съ отцомъ, если, конечно, только тотъ еще могъ шутить, а не храпѣлъ вмѣстѣ съ дѣдомъ.

Къ нашему счастью, все это время Солоха валялась у себя на печи, благодаря ломотѣ въ спинѣ, не позволявшей этой фуріи ходить даже по хатѣ, и, такимъ образомъ, у насъ царилъ полный миръ, покой и счастье, если не считать глупыхъ дѣвичьихъ слезъ Гали, такъ остроумно сравниваемыхъ народною мудростью съ водой. Впрочемъ, ей не давали много ревѣть ея подружки, для которыхъ Кондратъ не жалѣлъ сластей и лентъ и которыя поэтому съ пѣснями и смѣхомъ съ утра до ночи толпились въ нашей хатѣ и разгоняли глупое настроеніе „мокрой“ невѣсты, какъ въ шутку прозвалъ я Галю за ея плаксивость.

Благодаря всему вышесказанному, я уже безбоязненно могъ посѣщать хату, и такъ какъ добрый панъ часто отпускалъ меня, то я по нѣскольку даже разъ въ день забѣгалъ къ матери, не обращая никакого вниманія на отца. Правда, въ своемъ благодушномъ пьяномъ настроеніи онъ не забывалъ иногда злобно язвить меня, но дѣлалъ это, какъ-то добродушно улыбаясь, шутливо и вмѣстѣ безсмысленно бормоча сотни разъ: „а подлецъ ты, Ивасикъ... о, подлецъ!“—и качалъ при этомъ головой. Я пропускалъ все это

мимо ушей, зная, что съ пьянаго взятки гладки, и только мать иногда, выйдя изъ себя, кричала ему: „цыцъ, пьяница! ложись лучше спать“,—что̀ онъ въ концѣ концовъ покорно и исполнялъ.

Смущалъ насъ всѣхъ немного только дерзкій сорванецъ Тарасъ, злоба и недружелюбіе котораго къ Кондрату, воспитанныя отцомъ и деревней, сквозили въ каждомъ его движеніи и взглядѣ. Выросшій быстро, какъ растетъ всякая дурная трава, обладая для своихъ лѣтъ почти исполинскою силой и чертовскою ловкостью, съ своимъ чисто-отцовскимъ, угрюмымъ и недовѣрчивымъ, характеромъ, къ которому примѣшивалась масса живости, подвижности, ехидной насмѣшливости и безшабашнаго озорства, онъ дѣйствительно могъ быть если не страшенъ, то невыносимо непріятенъ въ своей злобѣ. Тарасъ былъ способенъ на все, а за нимъ пошли бы, какъ одинъ человѣкъ, всѣ сорванцы парубки села, для которыхъ онъ былъ кумиромъ, благодаря всѣмъ поименованнымъ выше качествамъ, какъ и коноводомъ всякихъ пакостей, выкидываемыхъ обыкновенно этими сорванцами. Даже мать побаивалась его, зная все это, и хотя драла иногда за

чубъ и угощала кочергой, но обыкновенно заискивала теперь и старалась быть нѣжной, боясь дразнить въ немъ звѣря, боясь, какъ бы онъ, науськанный Солохой, у которой проводилъ все время, когда не былъ съ пьянымъ отцомъ, не выкинулъ какой-нибудь необычайной гнусности. Одно, повидимому, застраховало ихъ всѣхъ отъ этого дикаря, дразнившаго меня часто насмѣшливымъ прозвищемъ: „ваше свинородіе",—это то, что, по своей привязанности къ отцу, онъ не отходилъ отъ него, когда тотъ былъ пьянъ, ни на шагъ, оберегалъ его, поддерживалъ, когда тотъ не твердо стоялъ на ногахъ, и приводилъ домой ночью, такъ что для озорства у него не было времени.

Впрочемъ, при первомъ же представившемся случаѣ, онъ выказалъ себя во всемъ блескѣ, выкинувъ отчаянную гнусность. Желая его задобрить, Кондратъ, какъ брату своей невѣсты, подарилъ ему богатѣйшую смушковую шапку, какой не было ни у кого въ цѣломъ селѣ и за которую онъ заплатилъ очень дорого; мерзавецъ, въ присутствіи многочисленныхъ свидѣтелей, отбросилъ ее ему чуть не въ лицо, наложивъ предварительно полную шапку такой гадо-

сти, что мнѣ даже сказать стыдно. Бѣдный Кондратъ только поблѣднѣлъ на подобную подлость, закусилъ губы и слегка ахнулъ отъ волненія, а все грубое мужичье села пришло въ восторгъ и чуть не носило Тараса на рукахъ; Солоха, говорятъ, даже заплакала на печи отъ радости и долго цѣловала мерзавца.

— Тарасъ, слушай,—сказалъ я ему разъ, заставъ его задумчиво сидѣвшимъ подъ липой у озера и строгавшимъ что-то ножикомъ,—Тарасъ, неужели тебѣ не надоѣло озорничать и дѣлать гадости?

Онъ задумчиво и какъ-то разсѣянно взглянулъ на меня.

Вечеръ былъ прекрасный... Послѣдніе лучи солнца золотомъ и пурпуромъ отражались въ водѣ, точно цѣлуя ее на прощанье... Легкій вѣтеръ приносилъ съ поля ароматъ цвѣтовъ... Птички чирикали надъ нами, прыгая съ вѣтки на вѣтку, точно выискивали ложе... Вообще все какъ-то въ природѣ располагало къ ласкѣ, миру, нѣжности. Зная нѣкоторую долю сентиментальности за Тарасомъ, приписывая его задумчивость именно ей и проснувшейся, отъ разлитой кругомъ нѣги, совѣсти, я продол-

жалъ горячимъ, задушевнымъ тономъ, искренно желая отрезвить его и навести на путь истинны.

— Тарасъ, слушай, зачѣмъ ты огорчаешь бѣдную мать своими дерзостями съ Кондратомъ, когда онъ будетъ скоро роднымъ нашимъ и дѣлаетъ и желаетъ намъ столько добра... Онъ такой добрый, Тарасъ, и такъ тебя любитъ... И я тебя люблю, Тарасъ, ей-богу люблю!

Тарасъ опять какъ-то разсѣянно взглянулъ на меня... Онъ, кажется, не слушалъ, что я говорилъ, или пропускалъ мимо ушей.— Слушай же, неужели у тебя такая черствая душа?... Когда Кондратъ женится на Галѣ, онъ будетъ твоимъ роднымъ, онъ поможетъ намъ всѣмъ и вліяніемъ, и богатствомъ, и отецъ выстроитъ новую хату... Вы всѣ заживете въ довольствѣ, будете имѣть большое и хорошее хозяйство... Неужели ты не хочешь быть богатымъ хозяиномъ? — почти крикнулъ я.

Тарасъ отрицательно покачалъ головой, не поднимая глазъ и продолжая стругать.

— Не хочешь? — въ удивлен!и, не вѣря глазамъ, крикнулъ я,—не хочешь быть богатымъ хозяиномъ? Тарасъ?...

— Не хочу!—твердо и спокойно отвѣтилъ тотъ, продолжая стругать и не глядя на меня.

— Чѣмъ же ты хочешь быть...—вельможнымъ паномъ? — уже немного насмѣшливо спросилъ я, взорванный его глупостью. Но Тарасъ также закачалъ головою.

— Тогда чѣмъ же?—скажи на милость!

— Кармелюкомъ!—выпалилъ тотъ поднимая голову и смотря на меня прямо. Глаза его горѣли, какъ раскаленные уголья, а щеки слегка поблѣднѣли.

— Что, что Тарасъ!?

— Кармелюкомъ! — повторилъ тотъ, не опуская глазъ. Отъ ужаса я даже перекрестился.

На другой же день послѣ этого разговора, обнаружившаго ужасныя думы черной души Тараса, приведшія въ такой же ужасъ и добрую мать, когда я сообщилъ ей все, отецъ выкинулъ вдругъ неожиданно страшный скандалъ. Пользуясь предлогомъ, конечно, онъ напоилъ своихъ друзей, дьячка Панфила и тому подобныхъ, и, придя съ ними домой, сталъ приставать къ Кондрату съ разными возмутительными вопросами „о волѣ“, о положеніи мужиковъ и т. д. Тщетно

бѣдный Кондратъ старался заминать этотъ опасный разговоръ, превращать все въ шутку или давать ему иное направленіе, пьяный отецъ съ своими достойными друзьями продолжалъ свое, повторяя нелѣпые слухи о какомъ-то всеобщемъ казачествѣ, которое, будто бы, намѣренъ ввести царь, и о волѣ, которая наступитъ послѣ войны, слухи, неизвѣстно кѣмъ распускаемые, оттуда взявшіеся, но упорно державшіеся тогда среди мужичья. Эти нелѣпые слухи и толки повторялись всѣми, но обыкновенно тихо, шепотомъ, говорить же громко никто не рѣшался, боясь доноса пану и страшныхъ отъ этого послѣдствій,—понятно, что Кондратъ, жалѣя отца, старался всѣми силами прекратить эту глупую сцену.

— Что-жь, по-твоему не всѣ мы люди изъ одного тѣста слѣплены, что ли?—накинулся отецъ на Кондрата, когда тотъ уговаривалъ его перестать молоть вздоръ, который никогда не осуществится.

— Семене, Семене!—ласково возражалъ ему Кондратъ,—Богъ и святыхъ подѣлилъ, а вы хотите, чтобъ люди были равными?

Но тутъ ужь вся компанія, и въ особенности Панфилъ, считавшій себя спеціали-

стомъ и неопровержимымъ авторитетомъ въ теологическихъ тонкостяхъ, подняли такой содомъ, что находчивая и рѣшительная мать схватила кочергу, высоко подняла ее и крикнула на непрошенныхъ гостей: Идите вонъ... всѣ вонъ, съ вашей волей... Чтобъ и духу вашего тутъ не пахло, пьяницы!

Гости, менѣе пьяные, чѣмъ отецъ, немедленно удрали, зная, конечно, по опыту, что такое баба съ кочергою въ рукахъ, а раздраженный отецъ накинулся на мать и завязалъ драку. Мы—я, мать и Кондратъ, пользуясь отсутствіемъ Тараса, находившагося у Солохи, подъ крики испугавшейся Гали, схватили его за руки, стараясь повалить на постель, но онъ грубо и сильно боролся и, почувствовавъ, что его одолѣваютъ, заоралъ во все горло:—Тарасъ, Тарасъ, сынъ мой родной, спаси меня!—Почти въ тотъ же моментъ я почувствовалъ ужасный ударъ по рукѣ, сильную тупую боль и отлетѣлъ, какъ мячъ, на нѣсколько шаговъ. Такъ какъ я выпустилъ руку отца, за которую тянулъ его изо всей силы, то онъ потерявъ равновѣсіе, упалъ на полъ, а мать въ ужасѣ всплеснула руками, увидя, какъ Тарасъ, отбросивъ меня, душилъ теперь за

горло сопѣвшаго и храпѣвшаго Кондрата, схвативъ его сзади своими желѣзными руками,

Я положительно не считалъ этого разбойника способнымъ на такое злобное бѣшенство, какое онъ проявлялъ теперь въ борьбѣ съ Кондратомъ. Онъ рвалъ его свиту, шипя по-змѣиному, скользилъ, какъ вьюнъ, у него между ногъ и рукъ. Дюжій Кондратъ, конечно, могъ бы его, какъ соломенку, переломить на двое, но дьявольски ловкій разбойникъ ускользалъ именно въ тотъ самый моментъ, когда Кондратъ, казалось, схватывалъ его и, ускользая, сыпалъ удары направо и налѣво. Не знаю, чѣмъ бы кончилась эта борьба, не хвати мать разбойника кочергою въ голову такъ, что его бѣшеная рожа облилась кровью, а самъ онъ упалъ, какъ заколотый боровъ.

— Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ, сучій сынъ! Будешь, Кармелюкъ проклятый, напередъ знать!—продолжала, несмотря на мольбу Гали, угощать его мать до тѣхъ поръ, пока Галя не бросилась къ лежавшему на полу мерзавцу, изъ пошлой удали не издававшему даже ни одного стона, и не прикрыла его собою.

— Мамо, мамо!—заревѣла она, простирая руку. Кондратъ, отиравшій, пыхтя и сопя, разбитое лицо, бросился ей на помощь и вырвалъ у матери кочергу.

Пьяный отецъ барахтался на полу, не будучи въ состояніи подняться и бормоча безсмысленныя и несвязныя угрозы, мать сидѣла на лавкѣ вся блѣдная и дрожавшая отъ понятнаго негодованія, Кондратъ утирался, а Галя ревѣла надъ лежавшимъ сорванцомъ; она цѣловала его, обнимала и, вдругъ завидя сочившуюся изъ его головы кровь, закричала не своимъ голосомъ: „Мамо, мамо, что вы надѣлали!... Смотрите—кровь! Тарасынку любый, что съ тобой, поцѣлуй меня“,—кричала она въ отчаяніи, и тогда разбойникъ на ея ласки заплакалъ, сталъ её обнимать и выбѣжалъ изъ хаты къ Солохѣ, не говоря ни слова. Мы всѣ поняли, что онъ постарается жестоко отомстить намъ. Нужно было во что бы то ни стало найти выходъ изъ такого положенія и Кондратъ помогъ намъ въ этомъ.

Черезъ два дня панъ отправлялъ въ губернскій городъ въ провіантскіе склады большой транспортъ запроданной ржи и Кондратъ устроилъ дѣло такъ, что Тарасъ

поѣхалъ съ обозомъ, какъ будто замѣстителемъ отца. Съ его отъѣздомъ мы вздохнули свободно и скоро сыграли свадьбу, которая прошла очень весело и пышно, только Галя, по своему обычаю, портила немного общее веселье своею блѣдностью и съумасшедшими слезами. Великодушный панъ далъ свой экипажъ и пару лошадей, чтобы везти невѣсту въ церковь, послалъ на свадьбу свою музыку, много сластей и вина и не пріѣхалъ только потому самъ, что страдалъ въ этотъ день флюсомъ.

Глава XV.

Знаменія времени.

Богъ ихъ знаетъ откуда именно брались всѣ эти нелѣпые толки и слухи въ народѣ о всеобщемъ казачествѣ и безусловной волѣ, о которыхъ я упоминалъ уже, но несомнѣнно, что они всецѣло отвѣчали тогдашнему настроенію мужичья, такъ какъ только этимъ и можно объяснить себѣ причину ихъ быстраго распространенія и вѣру, съ какою они принимались. Несомнѣнно, что мужичья душа, про себя втихомолку страстно ненавидѣвшая все, что только не ходило въ

свиткѣ и не смазывало сапоги дегтемъ, представляла благодарную почву для всякой нелѣпости, разъ только эта нелѣпость рисовала какія-нибудь льготы для мужика... Сотни тысячъ устъ разносили ее тогда и такія же сотни тысячъ сердецъ бились вѣрой и надеждой на самую отчаянную глупость и гнусность.

Съ новымъ воцареніемъ эти слухи „о волѣ“ положительно стали переходить во что-то въ родѣ несомнѣнной увѣренности... Откуда, какимъ образомъ, черезъ кого именно проникли они въ народную массу, никто не зналъ, никто не понималъ, но всѣ толковали „о волѣ“. Воля должна была явиться съ землей, съ лѣсами, водами, со всѣми угодьями, причемъ, какъ увѣряло мужичье, царево сердце, жалѣючи и пановъ, какъ своихъ дѣтей тоже, возьметъ ихъ къ себѣ на службу, на хорошее жалованье. Но пана землевладѣльца, пана, какъ старшаго лица въ деревнѣ, пана, какъ власти надъ рабочимъ народомъ, собственно не останется и слѣда. Останется только царь на землѣ и царскій народъ, т.-е. мужичье, которому-де царь отдастъ всю землю, потому что она вся его, вся царская,—но народъ вольный,

обязанный давать царю только деньги на войско и его царскія нужды, да служить ему жизнью и кровью на защиту страны... Паны же останутся чиновниками, простыми исполнителями царскихъ велѣній.

Слухи проникли даже въ панскую дворню, и тамъ возликовали всѣ отъ мала до велика, только тамъ всѣ держали себя, понятно, осторожнѣе и высказывали свои вождѣленія шепотомъ, въ особенности въ моемъ присутствіи. Тѣмъ не менѣе я часто ловилъ эти толки и поспѣшно докладывалъ о нихъ пану, который немедленно принимался за разслѣдованіе источниковъ ихъ появленія, но всегда наталкивался въ концѣ концовъ на какого-то миѳическаго „проходившаго тамъ-то солдата“, „богомолку“, „страннаго божьяго человѣка“ и т. п. Когда Тарасъ съ другими вернулся изъ губернскаго города, въ который, какъ я уже говорилъ, возили панскій хлѣбъ, они утверждали, что всѣ въ губерніи говорятъ о томъ, что новый царь дастъ волю. И я отлично помню, что косноязычный Панфилъ кричалъ при этомъ своимъ жаргономъ: „Увидите, братія, что вси будите вольными... Пріидетъ конецъ царствію змія... Сократитъ его главу новый

царь... Такъ и въ писаніи святомъ сказано!“ Мужичье, конечно, вѣрило,—Панфилъ былъ для него неопровержимымъ авторитетомъ,— и я смолчалъ, не донесъ пану, жалѣя брата, не желая впутывать „свою семью“ въ такое дѣло, какъ распространеніе вредныхъ слуховъ. Панъ, отъ зоркаго глаза и чуткаго уха котораго ничто не могло укрыться, страшно сердился на все это, въ особенности на слухи о волѣ, по сту разъ приказывалъ Кондрату объявлять и разъяснять мужикамъ на общемъ сходѣ, что они никогда не могутъ быть вольными и всю нелѣпость толковъ о волѣ, такъ какъ самимъ Богомъ и старинными царскими грамотами они отданы подъ его власть съ ихъ потомками.

— Ты какъ думаешь объ этомъ, Ясь?— спрашивалъ меня иногда панъ, весь красный, такъ какъ онъ всегда горячился страшно, когда дѣло шло объ этихъ толкахъ.

— Я думаю, вельможный пане, что мы отъ вѣка и до вѣка будемъ вашими хлопами!—смиренно отвѣчалъ я, наивно вѣря панскимъ увѣреніямъ, и это такъ нравилось пану, что онъ всегда награждалъ меня за это какою-нибудь мелочью.

— Пусть всѣ будутъ у меня такіе же, говорилъ онъ Кондрату, и смотри, Кондратъ,— смотри въ оба, — смотри — своей шкурой отвѣтишь... Всѣхъ буяновъ и бунтовщиковъ тащи въ конюшню... смотри!—И Кондратъ смотрѣлъ въ оба, тащилъ въ конюшню, наказывалъ, поролъ не на животъ, а толки росли да росли, разростаясь съ каждымъ днемъ. Вмѣстѣ съ ними, конечно, росли непокорность, дерзость и буйство, — отличительныя черты дикой хохлацкой натуры, всегда, готовой на „гайдамачину", найдись только сорви-голова—коноводъ, иниціаторъ и не держи ихъ паны въ архиежевыхъ рукавицахъ.

Послѣднее, впрочемъ, спасало только отъ всеобщей, такъ сказать, гайдамачины, потому что частная, отдѣльными небольшими группами процвѣтала въ краѣ въ полной силѣ во все время войны и даже по заключеніи мира! Какъ же назвать, въ самомъ дѣлѣ, если не гайдамачиной, тѣ безчисленныя, и часто большія шайки разбойниковъ, которыя, прячась по лѣсамъ, оврагамъ, хуторамъ, безусловно поддерживаемые сочувствующей имъ деревенщиной, наводили тогда ужасъ на весь зажиточный, обезпечен-

ный классъ, не трогая только мужичья, которому, напротивъ, благодѣтельствовали.

Все это были ни болѣе, ни менѣе какъ послѣдователи извѣстнаго Кармелюка, грубаго, дикаго революціонера, котораго, какъ извѣстно, мужичье и до сихъ поръ считаетъ не разбойникомъ, а „героемъ“ и чуть ли не святымъ человѣкомъ. Никакія мѣры полиціи и даже войскъ не могли ничего подѣлать съ этимъ зародившимся разбойничествомъ, такъ какъ на мѣсто одной переловленной или перебитой шайки немедленно являлась новая. Голодъ, лишенія, начавшіяся съ войной, всевозможные толки и слухи, разжигавшіе дикіе, своевольные инстинкты, лѣность, нежеланіе честно работать и повиноваться, кромѣ того сама буйная натура хохла способствовали тому, что шайки разбойниковъ не переставали рости, какъ грибы. Мужичье же, видѣвшее въ нихъ не разбойниковъ, а героевъ, защитниковъ какихъ-то своихъ правъ, спасителей, благодѣтелей, укрывало, помогало чѣмъ могло, сообщало нужныя имъ свѣдѣнія, предупреждало въ случаѣ опасности и такимъ образомъ парализировало, конечно, всѣ самыя энергическія усилія полиціи.

Не удивительно поэтому, что дерзость разбойниковъ росла до крайнихъ предѣловъ, а весь край былъ повергнутъ въ ужасъ и отчаяніе. Все, что только не принадлежало къ мужичью, что было обезпечено, что не ходило въ лохмотьяхъ, дрожало каждую ночь и, собираясь въ путь, вооружалось какъ на войну.

Нашъ уѣздъ и два смежныхъ, благодаря обилію лѣсовъ, въ особенности страдали отъ разбойниковъ. Одно имя Петра Сокиры, ихъ предводителя или атамана, нѣкогда крѣпостнаго, наводило паническій ужасъ на всѣхъ, кромѣ мужиковъ конечно, которые чуть ли не молились на него и разсказывали про его дикія преступленія съ какою то похвальбой и гордостью. Я самъ слышалъ, какъ однажды пьяный отецъ клялся, что будь онъ лѣтъ на десять моложе, онъ бы пошелъ къ Сокирѣ, за что мать дала ему здоровеннаго тумака и даже пригрозила кочергой.

— Ты еще и Тараса не вздумаешь ли посылать, старая твоя харя!—закричала она.

— А что-жь, и Тараса пошлю... Пусть хлопецъ показакуетъ!—пробормоталъ, тупо улыбаясь, пьяный отецъ.

Вотъ какъ относилась къ этому деревня, а мой отецъ былъ вѣдь еще не изъ самыхъ буйныхъ.

Дерзость Сокиры и его сподвижниковъ доходила до того, что они осмѣливались среди бѣла дня появляться на базарахъ и ярмаркахъ, наводя трепетъ на всѣхъ евреевъ и нападая на панскія усадьбы и даже ксендзовъ. Я до сихъ поръ помню тотъ страхъ, который овладѣвалъ мною каждый разъ съ наступленіемъ ночи, несмотря на то, что вся дворовая челядь была хорошо вооружена на случай нападенія и все въ замкѣ приготовлено къ отпору. Я боялся страшно, не меньше самого пана, у дверей спальни котораго всю ночь дежурили два здоровенныхъ, съ ногъ до головы вооруженныхъ гайдука, и успокоился только тогда, когда пришло извѣстіе, что Сокира наконецъ пойманъ, а его шайка разгромлена.

Немного спустя назначенъ былъ отъѣздъ Михася съ Ратопланомъ въ К. и панъ собрался провожать ихъ до ближайшаго, также принадлежавшаго ему, мѣстечка, гдѣ въ тотъ день была ярмарка. Чтобъ избѣжать жары, мы выѣхали рано утромъ и всю дорогу провели очень весело. Михась, съ во-

сторгомъ уѣзжавшій въ К., все время шутилъ съ паномъ, который былъ тоже въ ударѣ, запродавъ наканунѣ очень выгодно свою пшеницу, и отъ всей души потѣшался, хохоча во все горло, когда старый кучеръ Панько ловко стегалъ бичемъ заснувшихъ на возахъ или медленно сворачивавшихъ съ дороги мужиковъ, то и дѣло попадавшихся по пути въ своихъ возахъ, запряженныхъ волами.

Особенно забавляли пана заснувшіе...

— Ну-ко, Панько, ну-ко всыпь ему, лѣнтяю, лежебоку, перцу горячаго, чтобъ на долго помнилъ!—кричалъ онъ Паньку, завидя издали спавшаго нъ возу хохла, и Панько, ловко взмахнувъ бичомъ, сыпалъ какъ горохъ ударъ за ударомъ. Панъ громко хохоталъ, Михась молилъ отца о пощадѣ, слезливый Ратопланъ чуть не плакалъ, а разбуженный такимъ, не совсѣмъ пріятнымъ, образомъ хохолъ корчился какъ-то глупо, испуганно таращилъ глаза и снималъ шапку, представляя изумительно смѣшную фигуру.

Распрощавшись съ Михасемъ, панъ поѣхалъ обѣдать къ сосѣднему пану своему другу, въ его экипажѣ, а я пошелъ бродить

по ярмаркѣ. Обыкновенная ярмарка съ ея возами, наполненными поросятами, гусями, свиньями и проч., поднимавшими отчаянный визгъ, слышный на цѣлую версту; лотки съ пряниками, орѣхами, дешевыми лентами, бусами и прочею дребеденью; наскоро сбитые досчатые балаганчики съ дешевыми товарами не представляли для меня, конечно, ничего заманчиваго и интереснаго. Мнѣ просто хотѣлось побродить, поглазѣть и прислушаться къ толкамъ. Я столкнулся съ Кондратомъ въ большой кучкѣ мужичья, окружавшаго слѣпого лирника и съ напряженнымъ интересомъ слушавшаго гнусавое пѣніе этого непремѣннаго завсегдатая каждой ярмарки. Слѣпой кобзарь спѣлъ „Лазаря“ и затянулъ было монотонную пѣсню „о бѣдѣ“, какъ вдругъ, среди общаго молчанія, чей-то рѣзкій голосъ грубо перебилъ его:

— Стой, старче, что ты поешь намъ о бѣдѣ, да о бѣдѣ... Бѣду мы и сами хорошо знаемъ,—она намъ очи выѣла... Ты спой намъ старую казацкую, когда дѣды пановъ били и жидовъ вѣшали,—про славное лыцарство, про волю козацкую!...

Всѣ невольно оглянулись... Впередъ протиснулся и сталъ почти рядомъ съ Конд-

ратомъ здоровенный, коренастый мужикъ, одѣтый какъ-то особенно, не то бѣднымъ шляхтичемъ, не то мѣщаниномъ... На немъ были высокіе сапоги, короткая свита изъ грубаго сукна полунѣмецкаго покроя, перетянутая ремнемъ, а на головѣ смушковая, надѣтая на бекрень, шапка, изъ-подъ которой горѣли черные какъ уголь глаза на смугломъ, худощавомъ лицѣ... Длинные, закрученные внизъ усы придавали ему необыкновенно бодрый, молодцоватый видъ.

— Ну же, старче божій, утни, да хорошую!

Кобзарь перестроилъ лиру и послушно затянулъ одну изъ пѣсенъ безобразной эпохи своеволія необузданной и дикой черни. Пѣсня воспѣвала преступленія гайдамаковъ, ихъ грабежи и убійства... Паны, ксендзы и жиды, говорилось въ пѣснѣ, дрожали въ страхѣ... Дикіе, бравурные звуки мотива и самыя слова пѣсни видимо приходились по сердцу въ молчаньи слушавшей толпѣ, жившей въ душѣ тѣми же инстинктами и стремленіями и только страхомъ сдерживаемой въ повиновеніи... У всѣхъ горѣли глаза, всѣ лица поблѣднѣли, а слѣпой кобзарь дрожащимъ голосомъ тянулъ, да тянулъ свое:

Ляхи втікалы, од жаху коналы
Отъ як гайдамакы жартуютъ!...

— Вотъ такъ лыцари были!—рѣзко отчеканилъ тотъ же мужикъ, быстро окинувъ взоромъ толпу,—не попыхачи жидовскіе или панскіе! А что, панове громадо, еслибы милосердный Богъ намъ и теперь послалъ такихъ!

Слова эти, тонъ, какимъ они были сказаны, подмигиванье, которымъ сопровождались,—видимо очень нравились толпѣ... Всѣ какъ-то мрачно улыбнулись. Одинъ только Кондратъ насупилъ брови, покачалъ головой и степенно отвѣтилъ:

— Есть чего желать, нечего сказать, разбойниковъ! Борони насъ Богъ и Пресвятая Владычица!

Общее молчаніе было отвѣтомъ на это разумное замѣчаніе честнаго, преданнаго человѣка. Незнакомецъ оглядѣлъ его съ ногъ до головы и ехидно, зло улыбаясь, спросилъ, обращаясь ко всѣмъ:

— Что это за сорока панская, добры люди!?

Толпа сочувственно захохотала, а осторожный, степенный Кондратъ, не желая ввязываться въ ссору, а можетъ быть просто

растерявшись отъ такой дерзости, сдѣлалъ видъ, что ничего не разслышалъ.

Тѣмъ временемъ кобзарь перестроилъ лиру и затянулъ новую пѣсню. Бравурная пѣсня смѣнилась грустнымъ, полнымъ скорби мотивомъ... Звуки лились тихіе, печальные и даже голосъ пѣвца отдавалъ плачемъ.

„Степная орлица искала своихъ дѣтей въ чистомъ полѣ и не нашла ни одного. Всѣ погибли и она осталась одна на свѣтѣ, одна въ чистомъ полѣ, на высомъ курганѣ-могилѣ... Это не орлица, а Украйна искала дѣтей своихъ, славныхъ казаковъ, но они всѣ исчезли. Остались внуки, но внуки изъ сабель и ратищъ понадѣлали плуговъ и боронъ, запрягли въ нихъ борзыхъ коней и сами только стопутъ и ходятъ за ними по панской или жидовской нивѣ“.

Теперь всѣ бабы плакали, а мужики стояли, мрачно потупивъ голову, точно стыдъ или что-то другое невыразимо тяжелое давило ихъ и пригнетало ихъ головы. Такъ же мрачно, потупившись, стоялъ и незнакомецъ; но когда пѣсня кончилась, какъ только замерли въ воздухѣ послѣднія дрожащія ноты мотива, онъ быстро окинулъ глазами толпу.

— Чы такъ? Чы правду пѣлъ этотъ старецъ божій, добрые люди?

— Правду, святую правду!—глухо пронеслось надъ толпой, а бабы еще пуще заревѣли, такъ и разлились воемъ.

— Спасибо, старче Божій, спасибо тебѣ за эту пѣсню,—обратился онъ къ лирнику.—Спивай ее почаще людямъ, бо она правда. Пусть соромъ выступаетъ на ихъ лица, пусть гложетъ ихъ души, можетъ тогда они и вспомнятъ какъ жили дѣды.

И, бросивъ среди общаго удивленія слѣпцу горсть серебра, онъ повернулся, чтобъ улизнуть, но былъ остановленъ за рукавъ пришедшимъ въ себя Кондратомъ.

— Кто вы будете?—строго спросилъ его Кондратъ.

— Ось, кто я? Смотри!—отвѣтилъ тотъ и крѣпкимъ ударомъ широкой ладони по великолѣпной смушковой шапкѣ нахлобучилъ ее Кондрату по самую шею.

Невыразимый хохотъ сопровождалъ этотъ дикій поступокъ. Толпа, освободившись отъ оцѣпенѣнія, въ которомъ находилась все время, точно разбуженная и точно обрадовавшаяся предлогу, хохотала какъ-то истерично. Заплаканныя бабы визжали сквозь

слезы, которыя тряслись у нихъ отъ смѣха на рѣсницахъ. Нѣсколько мальчишекъ даже валялись по землѣ, держась за животы и визжали, точно плакали. Меня самого сильно подмывало смѣяться,—до того комична была точно окаменѣвшая съ растопыренными руками и насунутою по шею шапкой, фигура Кондрата, но я понятно удержался.

Освободившись при моей помощи отъ насунутой шапки, бѣдный Кондратъ, багровый какъ свареный ракъ, грозно прикрикнулъ на хохотавшихъ, приказалъ найдти хоть изъподъ земли буяна, но всѣ поиски были напрасны,—онъ точно провалился. Кондратъ обращался къ долговязому тысяцкому, своему куму, точно журавль важно расхаживавшему по ярмаркѣ, но и тотъ не помогъ ничѣмъ, несмотря на всю свою энергію. Онъ махалъ своею нагайкой, стегалъ ею ротозѣевъ, оралъ во всю глотку, грозилъ, но все было тщетно,—дерзкій сорванецъ изчезъ.

Тѣмъ временемъ вѣсть о немъ, его словахъ, дерзкомъ поступкѣ съ Кондратомъ разлетѣлась во всѣ концы ярмарки и сильно заинтересовала съѣхавшееся мужичье. Изъ устъ въ уста, отъ воза къ возу передавались подробности дерзкаго поведенія незнакомца,

прикрашивались варіаціями мужицкой фантазіи, освѣщались особеннымъ свѣтомъ, росли до невѣроятныхъ размѣровъ и создали, наконецъ, общую увѣренность, что это де былъ человѣкъ „не простой“, навѣрное „важный чиновникъ“, котораго де царь послалъ разузнать о житьѣ-бытьѣ мужиковъ, а можетъ-быть и самъ царскій посланецъ съ „волей“ и „казачествомъ“ въ карманѣ.

О, какъ я хохоталъ слыша эти глупые толки! А Кондратъ просто выходилъ изъ себя отъ бѣшенства.

— Показалъ бы я имъ, кто онъ такой, только бы мнѣ найти его!—кричалъ онъ, шагая на ярмаркѣ изъ переулка въ переулокъ, изъ улицы въ улицу и толкая попадавшихся ему на пути.

Но вечеромъ, почти на закатѣ солнца, мнѣ удалось-таки напасть на буяна. Хотя онъ былъ одѣтъ уже немного иначе, но я сейчасъ же узналъ его по глазамъ, манерѣ и голосу. Онъ стоялъ у шинка въ кругу какой-то подозрительной голытьбы и пьянаго мужичья, часть котораго слушала пѣнье тутъ же сидѣвшаго слѣпаго лирника.

Мигомъ я позвалъ Кондрата и тысяцкаго. Незнакомецъ замѣтилъ ихъ только тогда

когда они почти вплотную подошли къ нему, повидимому нисколько не смутился, выпрямился, выпучилъ грудь, разставилъ немного ноги и, смѣло оглядѣвъ пришедшихъ, спросилъ, обращаясь къ Кондрату и улыбаясь своей нахальною усмѣшкой:

— Ага, панская щебетуха! Что же тебѣ здѣсь надо?

Глядѣвшая на насъ свирѣпо голытьба громко разсмѣялась, но невольно смолкла, когда тысяцкій, взявъ въ руку нагайку, а другой пощипывая усъ, сильно крикнулъ: цыть!

— Сей!—мрачно спросилъ онъ Кондрата, указывая рукой на дерзкаго, насмѣшливо улыбавшагося незнакомца.

— Онъ самый!—отвѣчалъ Кондратъ.

— Кто еси?—тысяцкій даже поперхнулся, такъ грозно произнесъ онъ это: „кто еси“.

— Кто я?—удивился незнакомецъ, сдвигая плечи.

— Ну, да, не бабья же дочка, тебя спрашиваютъ!—отрѣзали въ одинъ голосъ и тысяцкій, и Кондратъ.

Незнакомецъ помолчалъ съ секунду, сложилъ руки на груди, повелъ плечами, на-

хмурилъ брови и громко, почти въ упоръ, крикнулъ:

— Петро Сокира!

Еслибы съ яснаго, синяго неба грянулъ вдругъ громъ прямо надъ нами, еслибы среди насъ явилось вдругъ страшное олицетвореніе смерти въ длинномъ, бѣломъ саванѣ, съ лысымъ черепомъ и косой въ рукахъ, свались даже самъ рогатый дьяволъ, черный, съ хвостомъ и когтями,—впечатлѣніе не могло бы быть сильнѣе.

У меня вдрутъ стало сухо во рту, закружилась голова, по тѣлу забѣгали мурашки и я какъ-то совсѣмъ забылъ, гдѣ я и кто я... Слѣпой кобзарь пересталъ пѣть и повернулъ свои бѣлые, невидящіе зрачки, точно въ надеждѣ прозрѣть. Длинный корчмарь Сруль, выскочившій изъ корчмы поглядѣть на сцену, такъ и застылъ какъ журавль, разставивъ ноги и руки съ растопыренными пальцами, вытянувъ шею и вытаращивъ глаза; даже его длинные пейсы застыли неподвижно и не дрожали подъ мѣховою шапкой.

Бѣдный Кондратъ икнулъ такъ сильно, точно вся душа у него выскочила въ глотку, и продолжалъ икать, окаменѣвъ на мѣстѣ

и не шевеля безсмысленно вытаращенными глазами. Длинный тысяцкій какимъ-то чудомъ и неизвѣстно зачѣмъ очутился на бочкѣ, махалъ нагайкой и то и дѣло лепеталъ молитву: „Богородице дѣво радуйся... Богородице дѣво радуйся“, а вся толпа, какъ одинъ человѣкъ, обнажила головы.

— А, заикали, иродовы души!—крикнулъ разбойникъ, любуясь произведеннымъ впечатлѣніемъ,—заикали... теперь знаете кто я?

Но отвѣтомъ ему были только Кондратово иканье и бормотанье тысяцкаго.

— Думали, пропалъ Сокира! Нѣтъ, погодите... Рано еще поминки справлять. Еще пожартуетъ онъ съ вами и вашими ляхами, еще постоитъ за бѣдныхъ людей!

Кондратъ икалъ, тысяцкій бормоталъ „Богородицу“.

— А вы, добрые люди! — обратился разбойникъ къ толпѣ,—скажите хлопцамъ, что еще живъ Сокира и принимаетъ тѣхъ, кто не хочетъ быть попихачемъ панскимъ...

— Скажемъ, батьку,—скажемъ, атамане! и толпа разступилась, съ поклономъ давая ему дорогу.

Панъ тоже страшно перепугался, когда я передалъ ему о побѣгѣ Сокиры изъ тюрьмы

и обо всемъ происшедшемъ, и разсердился, что Сокиру не связали. Онъ сейчасъ же написалъ къ исправнику, прося сдѣлать облаву для поимки разбойника, обѣщая принять всѣ расходы на себя. Въ тотъ же вечеръ изъ разговора пановъ я узналъ, что война кончена и миръ подписанъ... Къ моему страху, отъ котораго я никакъ не могъ освободиться, благодаря всему только-что испытанному, примѣшалось еще новое, крайне непріятное ощущеніе. А что, если вернется Федь?—непріятно екнуло у меня въ сердцѣ. Но я быстро отогналъ отъ себя эти думы,—я былъ увѣренъ что изъ Севастополя, какъ и изъ могилы, нѣтъ возврата.

Глава XVI.

Наше фіаско и скандальная драма.

Къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы мои надежды на счастье Гали съ выходомъ ея замужъ оправдались вполнѣ. Хотя она жила теперь въ довольствѣ, даже, можно сказать, роскоши, сравнительно съ прежней ея жизнью, хотя семья наша считалась первою на селѣ по значенію, связямъ и довольству, которое внесъ въ нее карманъ щедраго Кондрата,

но Галя по-прежнему оставалась такою же слезливою, блѣдною, молчаливою, по-прежнему какъ-то тупо относилась ко всему окружающему. Я никогда не могъ найти даже тѣни улыбки на ея нѣкогда веселомъ, какъ юность, лицѣ, а Кондратъ положительно даже побаивался ея вѣчно хмураго, серьезнаго вида, отдававшаго чѣмъ-то холоднымъ, чуждымъ, недоступнымъ.

Какъ бы ни кричалъ Кондратъ, какъ бы ни горячился, грозилъ, сердился, — Галя встрѣчала все неизмѣнно молча, холодно, безстрастно, точно крики и ругань относились вовсе не къ ней, а такъ-сказать къ прошлогоднему снѣгу, и много, много, если наконецъ поднимала свои длинныя черныя рѣсницы и окидывала бѣсновавшагося мужа долгимъ, упорнымъ, не то презрительнымъ, не то гнѣвнымъ и холоднымъ взглядомъ, какимъ, вѣроятно, смотрятъ только царицы на провинившихся или зазнавшихся холоповъ... Этого взгляда почему-то никогда не могъ вынести бѣдный Кондратъ,—его гнѣвъ сейчасъ же стихалъ, брань и крики становились тише да тише и въ концѣ концовъ онъ поступалъ именно такъ, какъ хотѣла Галя.

Экспансивный, вспыльчивый, въ сущности

безхарактерный, онъ пасовалъ передъ этой душевною окаменѣлостью, неподвижностью и неуязвимостью и не удивительно, что окончательно подпалъ подъ башмакъ, какъ ледъ холодной, красавицы жены. Онъ положительно дрожалъ передъ ней, несмотря на то, что иногда кипятился до бѣшенства. Попрежнему только Солоха, Тарасъ да отецъ пользовались расположеніемъ Гали и только съ ними держала она себя мягко и отводила свою капризную душу. Съ бѣдной матерью она не церемонилась и попросту даже не обращала вниманія на ея трезвыя наставленія, замѣчанія и совѣты, что, конечно, не могло нравиться матери и служило источникомъ частыхъ бурныхъ сценъ, во время которыхъ обиженная невниманіемъ мать часто грозила, что нога ея не переступитъ Галинаго порога, но, какъ всякая мать, скоро забывала свои угрозы... Больше всего обижало мать вниманіе Гали къ косноязычному дьячку Панфилу, котораго мы съ матерью не безъ основанія считали первымъ бунтовщикомъ въ селѣ и ненавидѣли отъ всей души.

Бо̀льшую часть времени Галѣ приходилось проводить одной, такъ какъ Кондратъ былъ

вѣчно занятъ у пана, а Тарасъ упивался работой въ полѣ, замѣнивъ во всемъ отца, который совсѣмъ распьянствовался и уступилъ ему всю работу. Солоха стонала вѣчно у себя на печи отъ старости и ломоты въ спинѣ, а отецъ былъ вѣчно въ подвыпитьи и заходилъ къ ней только храпѣть, боясь просунуть свой пьяный носъ въ хату на глаза матери. Вмѣсто того, чтобы наставлять отца, уговаривать, открывать ему глаза на все безобразіе его поведенія, какъ это дѣлала умная мать, Галя встрѣчала его неизмѣнно ласково, цѣловала, кормила и укладывала спать. Все это служило отцу поощреніемъ, потому что, ложась у нея храпѣть, онъ обыкновенно говорилъ:

— Спасибо тебѣ, доню, что жалѣешь мои старыя кости. Много, много онѣ потерпѣли на своемъ вѣку, много, доня! Отдохнуть хотятъ. Какъ выпью, такъ и душѣ и имъ легче станетъ.

И Галя на это отвѣчала ласками, называла его „милымъ татомъ“ и приглашала отдохнуть, а когда онъ закрывалъ глаза и начиналъ храпѣть, садилась за прялку и, подъ жужжанье веретена, мечтала о своемъ возлюбленномъ циганѣ Федѣ. Что она меч-

тала, это я выводилъ изъ ея всегда разсѣяннаго взгляда, ея вѣчной задумчивости, ея сосредоточенности. Сидя за прялкой, вперивъ разсѣянный взглядъ въ пространство, она выбирала всегда грустныя, задумчивыя пѣсни о несчастной любви, о погибшемъ возлюбленномъ въ чистомъ полѣ, бѣлое тѣло котораго клюютъ вороны, моетъ дождь и обвѣваетъ вѣтеръ, о разлукѣ и тоскѣ по миломъ. Иногда она вовсе не пѣла и только хмурила свои чудныя, черныя брови, среди думъ внезапно блѣднѣла и тихо плакала или покрывалась густымъ румянцемъ; заслышавъ шаги или голосъ Кондрата, вздрагивала и смотрѣла на всѣхъ со страхомъ. Мое подозрѣніе скоро нашло реальное, неопровержимое доказательство.

Когда намъ прочли въ церкви манифестъ о мирѣ, такъ обрадовавшемъ сердца всѣхъ отъ мала до велика, и мужичье, подъ предводительствомъ Панфила разбрелось толковать о волѣ, которую де дастъ новый царь, я встрѣтилъ Галю подъ зеленымъ яворомъ у колодца. Она задумчиво стояла, опершись о коромысло и вперивъ глаза въ широкій лугъ, позабывъ о ведрахъ, что стояли у ея ногъ. Мои шаги заставили ее вздрогнуть и обернуться.

— Это ты, Ивасику? — сказала она, поворачивая ко мнѣ заплаканные глаза,—подойди ка! ..

Я подошелъ.

— Скажи мнѣ, братику, соколикъ мой хорошенькій,—какъ-то прерывисто глухо зашептала она, причемъ двѣ крупныя слезы скатились съ ея рѣсницъ на блѣдныя щеки,—вѣдь ты мнѣ святую правду тогда говорилъ?

— Когда?—спросилъ я удивленно.

— Что Федь убитъ?—И она совсѣмъ заплакала.

Что-то крайне непріятное екнуло у меня въ сердцѣ и я немного покраснѣлъ, но довольно твердо отвѣтилъ:

— Ну, конечно. Я отъ пана слыхалъ самъ же я не видалъ его убитымъ.

— Должно быть, правда, — продолжала Галя.—Вѣдь самый злой ворогъ не могъ бы такъ зло обмануть меня!

Я ушелъ разсерженный и мысленно отъ души называлъ ее дурой. Ну,—что въ самомъ дѣлѣ могло быть смѣшнѣе этой сентиментальной нѣжности, этой „по гробъ преданности“ деревенской бабы?!

— Вотъ сентименты,—думалъ я,—точно

графиня въ романахъ!—и невольно смѣялся Но смѣяться мнѣ пришлось не очень долго. Скоро разыгралась такая исторія, что дѣйствительно походила на драму, или интересный романъ, изъ мужичьяго быта.

Въ одно утро въ селѣ появился Федь своею собственною особой, здоровый, бодрый и, по увѣренію глупыхъ бабъ, такой же красивый, какъ и прежде, несмотря на нѣкоторую блѣдность и оторванную кисть руки. Извѣстно, что бабьи вкусы подчасъ очень неприхотливы. Его не тронули вражескія пули, похитившія такъ много полезныхъ, честныхъ жизней, не поглотилъ кипѣвшій адъ войны, только бомба ему оторвала кисть лѣвой руки. Онъ пришелъ съ полной отставкой, пенсіономъ и съ Георгіемъ на груди. Первое извѣстіе о немъ принесъ Кондратъ. Онъ вбѣжалъ въ мою коморку блѣдный и совершенно растерянный.

— Слышалъ, Ясю? — закричалъ онъ не своимъ голосомъ еще на порогѣ, не снимая смушковой шапки и моргая сѣдыми, съ желтизной, усами.

Я какъ разъ пересчитывалъ въ то время свое наличное богатство и потому невольно

вскочилъ съ мѣста и совсѣмъ растерялся, увидя его испуганное лицо.

— Что, что такое?—успѣлъ я еле выговорить.

— Онъ пришелъ, — принесла его нечистая!—Федь, разбойникъ! Охъ, Боже мой, Боже мой!

Я стоялъ ошеломленный.

— Пришелъ Федь, говоришь ты? Развѣ онъ живъ?—вскричалъ я,—до того увѣрилъ я себя, что онъ непременно будетъ убитъ.

— Живехонькій!... Ой, Боже мой, безъ руки только!—и Кондратъ снова возопилъ, хлопнувъ шапку о земь, схватившись руками за животъ и валяясь по моей постели. Признаюсь, я тоже сильно испугался, но въ то же время старался сосредоточиться и обдумать положеніе.

— Кондратъ,—началъ я уговаривать,—полно, перестань, не стыдно ли, и чего ты боишься: что онъ тебѣ сдѣлаетъ?

— Если онъ и ничего не сдѣлаетъ,—завопилъ тотъ совсѣмъ плача,—то Галя убѣжитъ къ нему, ей-богу, ой!

— Что ты, что! Галя убѣжитъ къ нему! Статочное ли это дѣло? Вѣдь это былъ бы позоръ. Она теперь жена—а не дѣвка!

— Ой, ты не знаешь ее, если ты такъ говоришь,—вопилъ Кондратъ.—Съ ней самъ чортъ не сладитъ. Ни на кого не посмотритъ.

Это дѣйствительно походило на Галю. Что было дѣлать? Какъ оправдаться передъ ней, какъ спастись отъ мести Федя?—толпилось у меня въ головѣ и, признаюсь, меня пробиралъ холодъ.

— Знаетъ ли она объ этомъ? — спросилъ я.

— Не знаетъ, не знаетъ,—онъ прямо пришелъ къ матери,—рыдалъ Кондратъ мнѣ въ отвѣтъ.

Очевидно было, что этотъ плаксивый Отелло не могъ мнѣ помочъ ни въ чемъ. Напротивъ, мнѣ самому приходилось выручать его и на моей сторонѣ могла оказаться одна только мать.

Что мнѣ было дѣлать? Голова ходила кругомъ, руки дрожали отъ волненія, и я все сидѣлъ и раздумывалъ, а Кондратъ охалъ, стоналъ, клялъ и плакалъ.

Въ это время вбѣжала посланная матерью дѣвочка съ требованіемъ спѣшить мнѣ и Кондрату, какъ можно скорѣе.

Въ хатѣ у матери намъ нечего было бо-

яться, тѣмъ болѣе, что Тарасъ былъ, вѣроятно, въ полѣ за работой, и мы, еще болѣе перепуганные, бросились бѣгомъ. Какъ только вошелъ я въ хату, откуда еще издали доносились плачъ и брань, и протиснулся сквозь толпу собравшихся бабъ,—Галя, сидѣвшая съ заплаканными глазами на лавкѣ, обрушилась на меня съ бранью.

— Не проститъ тебѣ Богъ твой обманъ,— кричала она мнѣ,—погубилъ ты меня!

— Дура! Какой обманъ? Я отъ пана слышалъ,—пробовалъ было я оправдываться.

— Молчи, молчи, ты не братъ мнѣ, а...— но тутъ она судорожно зарыдала.

Я схватилъ ее за руку и, не обращая вниманія на общій садомъ, стоявшій въ хатѣ, визгъ, оханье, крикъ матери, сцѣпившейся съ Солохой, сталъ горячо говорить сестрѣ. Я убѣждалъ ее выбросить дурь изъ головы, вспомнить, что она уже не дѣвка, что она въ церкви, предъ престоломъ Бога дала обѣщаніе Кондрату, что она опозоритъ всѣхъ насъ, что Кондратъ ея мужъ.

— Что?—перебила она меня,—мужъ? Вотъ онъ какой мнѣ мужъ?—плюнула она на полъ. Обманомъ я пошла за него. Еслибъ я только

знала, что Федь живъ...—и она снова зарыдала.

— Тебя Богъ накажетъ, — вскричалъ я внѣ себя.

— Неправда, не накажетъ... Богъ—милосердный, Богъ видитъ обманъ, и люди простятъ меня. Не жена я ему!—Галя указала на Кондрата.—И не пойду въ его хату, видитъ Богъ, не пойду,—лучше въ воду! и она стукнула кулакомъ по лавкѣ.

Впечатлительная мать просто взвизгнула, заслышавъ такія слова, и стала грозить проклятіями. Меня тоже взорвало, но я сдержался.

— Побойся Бога,—сказалъ я мягко.—Галя! Вѣдь, не распутница же ты!

— Распутницей буду, послѣдней паскудой лучше буду, въ гробъ лучше лягу, а Кондратова не буду!—кричала она не своимъ голосомъ, а Солоха, оставивъ мать, вторила ей, какъ вѣдьма:

— Лучше, лучше, доню... лучше!...

Мягкость не дѣйствовала,—нужно было пустить въ ходъ строгость.

— Кондратъ!—сердито закричалъ я,—что же ты стоишь столбомъ и выслушиваешь такія слова?... Развѣ ты не мужъ ей?... Бери

ее, ну!—и я потянулъ его растеряннаго за рукавъ къ ней. Онъ схватилъ ее за руку, она громко взвизгнула и въ то же время пьяный отецъ, точившій давно на меня зубы, прокравшись незамѣтно въ хату, на отчаянный вопль своей любимицы, схватилъ меня обѣими ручищами за волосы и затрясъ, какъ грушу. Я не взвидѣлъ свѣта отъ боли, а онъ все трясъ меня, повалилъ на полъ, топталъ, ругалъ, несмотря на то, что мать угощала его сверху кочергой самымъ отчаяннымъ образомъ.

— А... а... а!...—какъ-то свирѣпо, дико рычалъ онъ. Добрался я наконецъ до тебя, добрался, сучій сынъ... Погоди же: я породилъ тебя, я и задушу тебя своими руками.

И онъ хрипѣлъ, сопѣлъ и душилъ меня за горло и навѣрно задушилъ бы, еслибы на выручку не бросился Кондратъ, оставившій Галю.

При помощи Кондрата мнѣ удалось столкнуть съ себя отца, схватиться рукой за лавку и встать такимъ образомъ на ноги, послѣ чего отецъ, какъ звѣрь, бросился на угощавшую его кочергой мать, нанося ей свирѣпые удары, сталъ бить въ бѣшенствѣ,

съ пѣной у рта, окна, посуду, рвать постель, ругаясь на чемъ свѣтъ стоитъ.

Лицо мое было въ крови, всѣ члены измяты, избиты, во всемъ тѣлѣ чувствовалась тупая боль и, съ трудомъ переводя дыханіе, я поспѣшилъ скорѣй улизнуть изъ этого содома, гдѣ оставались только мать, свирѣпый отецъ и Кондратъ, такъ какъ всѣ остальные вмѣстѣ съ Галей убѣжали, очевидно, въ самомъ началѣ схватки. Съ сильно бившимся отъ негодованія и оскорбленнаго чувства сердцемъ бѣжалъ я по дорогѣ къ замку, но по неволѣ долженъ былъ остановиться и быть свидѣтелемъ пикантно-безобразной сцены...

Переулокъ, по которому я побѣжалъ и на углу котораго жила Федина мать, былъ наполненъ бабьемъ, сбѣгавшимися дѣвушками, парнями, дѣтьми, глазѣвшими съ сочувствіемъ и слезами, какъ расходившаяся Галя валялась на землѣ у ногъ Федя, стоявшаго въ солдатскомъ мундирѣ съ орденомъ, и визжала, причитала и плакала. Меня охватило такое негодованіе, что я почти забылъ безобразную домашнюю сцену и стоялъ, какъ столбъ, вытаращивъ глаза, между тѣмъ какъ Галя, валяясь въ уличной пыли, со слезами молила:

— Милый мой, хорошій, не суждено намъ съ тобой любиться... Злые люди разлучили насъ, но не моя въ томъ вина, мой голубь ненаглядный, мой соколъ ясный... Богомъ тебѣ присягаю, что не моя вина,—меня обманули, мнѣ сказали, что ты мертвый, что ты лежишь въ холодной могилѣ...

— Галю, голубка моя... рыбочка... ясочка, перебилъ ее этотъ голышъ, какъ-то слезливо, съ одышкой,—что ты... что ты... Богъ съ тобой!—и онъ хотѣлъ ее поднять съ земли.

— Не тронь меня!—завизжала Галя.—Я не стою тебя. Дай мнѣ выплакать свое горе великое... Видитъ Богъ, милый, что вынесла я за это время, видитъ Богъ, какъ я плакала... Онъ только одинъ въ небѣ знаетъ мое сердце. Онъ одинъ знаетъ, что пошла за эту старую собаку, за этого немилаго—по обману, пошла для матери, не вытерпѣвъ слезъ ея. Все равно, не было мнѣ безъ тебя ужь никакой радости на свѣтѣ... Пропадай весь свѣтъ, хоть въ могилу холодную, хоть за чорта самого... А мать плакала и заклинала, и я пошла за него,—я повѣрила обману...

Тутъ она подняла такой вой, что все

бабье, какъ бы заразившись, стало вторить.

— Галю, зорька ясная... Галю, моя дорогая,—ревѣлъ между тѣмъ въ отвѣтъ ея возлюбленный, съ трудомъ переводя дыханіе.—Галю, не виню я тебя, видитъ Богъ, не виню, и пусть тебя Богъ проститъ и добрые люди,—нѣтъ твоей вины ни въ чемъ... Галю, моя милая...

— Не зови меня милой,—заголосила Галя,—не зови,—не стою этого нѣтъ! Я—несчастная на свѣтѣ. Забудь меня, Федь... забудь, мой соколъ ненаглядный. Ты другую найдешь и краше меня и лучше, а меня забудь, только не кляни, голубчикъ, не кляни, мое сердце. Если любишь еще меня, если любишь свою Галю, что цѣловала твои черныя очи, забудь и уходи отсюда,—уходи изъ села, чтобъ намъ не видѣть, не слышать другъ друга... Федь, милый Федь, мой соколъ, иди, обѣщай идти.

Тотъ задрожалъ на эти слова, задрожалъ весь, отъ ногъ до головы. По щекамъ его текли крупныя слезы. Я невольно вспоминалъ ту сцену послѣ пожара, когда онъ валялся въ ногахъ у пана и его блѣдныя губы безсильно шептали: пане, пане. Вдругъ онъ быстро поднялся, поднялъ сильными руками

лежавшую Галю, поцѣловалъ ее въ лобъ на глазахъ у всей толпы и, поклонившись въ ноги стоявшей тутъ же старухѣ матери, попросилъ ея благословенія, сказалъ ей что-то, чего я не разслышалъ, вошелъ въ свою избу и черезъ минуту вышелъ въ шинели съ небольшимъ узломъ и ушелъ изъ деревни.

Галя же рыдала, не поднимаясь съ земли, а бабы вторили, проклиная на чемъ свѣтъ стоитъ Кондрата.

— Мало ему аспиду, что человѣка загубилъ,—еще милую отнялъ у него, иродъ!

— Молчать!—крикнулъ было я въ негодованіи, но бабы отвѣтили мнѣ такимъ визгомъ и одна осмѣлилась пустить въ меня такою дрянью, что я счелъ за лучшее убраться отъ этихъ мегеръ. Уходя, я все-таки крикнулъ Галѣ:

— Стыдись, Галя, опозорила ты насъ, всю семью нашу, и не сестра ты мнѣ, а распутница!

Къ вечеру вернулся панъ съ поля и я не могъ, конечно, скрыть отъ него возвращенія Федя. Онъ пришелъ положительно въ ярость и, хотя я его и успокоивалъ тѣмъ, что Федь, навѣрное, ушелъ изъ села, на моихъ глазахъ, но онъ никакъ не могъ успокоиться,

волновался, кипятился, принимался писать бумаги то къ исправнику, то къ губернатору, рвалъ ихъ, снова начиналъ и снова рвалъ. Нужно сознаться, было уже не прежнее время, когда одно слово пана было закономъ для всякихъ чиновниковъ, хотя, конечно, становой и прочая мелюзга и теперь еще дрожали одного взгляда пана и, проѣзжая селомъ, смиренно подвязывали колокольчики. Но какая-то перемѣна чувствовалась во всемъ, точно какимъ-то вѣтромъ новымъ понесло. И хотя все, повидимому, оставалось по-старому, но вмѣстѣ съ тѣмъ все-таки чувствовалось что-то новое: паны какъ будто немного оробѣли и утратили часть своей энергіи и рѣшимости; мужики точно выросли; чиновники точно стали меньше услужливыми и послушными, а все это вмѣстѣ взятое заставляло человѣка невольно предсказывать въ будущемъ что-то особенное. Панъ чувствовалъ, что власть его какъ будто поколебалась или авторитетъ пошатнулся, и несомнѣнно сознавалъ, что въ данномъ случаѣ онъ безсиленъ и ничего не можетъ сдѣлать Федѣ, отставному солдату, кавалеру, и это его бѣсило, сердило, волновало. Онъ бѣгалъ по кабинету, сто разъ

хватался за чубукъ, бросалъ его, приказывалъ подать ему огонь и не курилъ, пока несчастный случай не толкнулъ его къ окну, мимо котораго какъ разъ въ это время проходилъ Кондратъ, пробираясь ко мнѣ. Кондратъ весь былъ въ крови и съ страшными синяками по всему лицу, благодаря разбойнику Тарасу, который, ворвавшись въ хату именно въ то время, когда онъ съ матерью усмиряли, послѣ моего бѣгства, пьянаго отца, избилъ его до полусмерти.

Не успѣлъ Кондратъ разсказать мнѣ всего этого и отвѣтить толкомъ, на чьихъ рукахъ осталась Галя, какъ панъ позвалъ уже его къ себѣ. Кондрату было совсѣмъ не до того, чтобы идти къ нему и разсказывать про домашнія дѣла и подвергать панскому гнѣву свою родню,—онъ весь былъ полонъ боязнью за Галю,—тѣмъ не менѣе не смѣлъ ослушаться.

— Кто это тебя такъ отдѣлалъ?—закричалъ панъ не своимъ голосомъ, какъ только Кондратъ показался на порогѣ.—Какой буянъ осмѣлился тронуть моего вѣрнаго слугу?

Кондрату не было никакого интереса подводить мать и отца, съ которыми онъ и самъ бы расправился, и потому-то онъ низко

поклонился, замялся, кашлянулъ и, почесавъ затылокъ, что-то пробормоталъ.

— Такъ, пане... это, такъ себѣ.

— Какъ, что?... Что ты говоришь, такъ себѣ? Что ты, и ты за одно съ ними? Это бунтъ, а? — вспылилъ панъ, покраснѣвъ какъ ракъ и топоча ногами.—Бунтъ, а?... Бунтовщики, и ты... я всѣхъ...

Пану необходимо было сорвать на комъ-нибудь гнѣвъ и онъ даже закашлялся. Я быстро подбѣжалъ къ пану съ водой, которую держалъ, пока панъ не откашлялся; выпивъ, панъ обратился ко мнѣ, весь трясясь отъ гнѣва:

— Ты, мой вѣрный Ясь, ты меня одинъ не продашь, скажи же мнѣ...

— Это братъ мой, вельможный пане, отвѣчалъ я:—мой дерзкій бразъ побилъ Кондрата.

— Какой братъ?—заревѣлъ панъ.

— Тарасъ, вельможный панъ.

— Хорошій же у тебя братъ... хорошъ ¡

— Вельможный пане! — воскликнулъ я, падая въ ноги,—вельможный пане, я отрекаюсь отъ него. Я не хочу звать его братомъ... Онъ дерзкій буянъ, вельможный

пане... Онъ давно стóитъ строгаго наказанія...

— Слышишь, Кондратъ, слышишь? Вотъ кто мнѣ преданъ—Ясь! И я его возвеличу,— продолжалъ панъ въ прежнемъ гнѣвѣ,— а дерзкаго буяна сейчасъ же выпори на конюшнѣ, сейчасъ же!... Не на животъ пори! Забудь про родство, если хочешь служить мнѣ...

Панъ стоялъ въ окнѣ самъ и глядѣлъ, какъ волокли буйнаго Тараса въ конюшню... Но гнѣвъ его, по обыкновенію, быстро стихъ и, вѣроятно, желая сдѣлать пріятное мнѣ и Кондрату, онъ позвалъ меня и сказалъ:

— Для тебя, Ясь, потому что онъ тебѣ братъ, бѣги и скажи, чтобы перестали бить, но пусть онъ поклонится въ ноги.

Я самъ бросился пану въ ноги и побѣжалъ въ конюшню. Розги были уже хорошо пообломаны, когда я остановилъ порку, за все время которой Тарасъ даже не взвизгнулъ. Онъ всталъ весь синій отъ злобы и бѣшенства и, дрожа, сталъ застегиваться.

— Поклонись же, разбойникъ, Кондрату въ ноги,—самъ панъ велѣлъ!... Буянъ!—гнѣвно сказалъ я ему.

— Добре!—глухо проскрежеталъ онъ и,

подступивъ къ Кондрату на шагъ, плюнулъ ему прямо въ лицо.

Добрый Кондратъ это снесъ.

Глава XVII.

Торжество грѣха и мое счастье.

Галя такъ и сдѣлала, какъ говорила: она ушла изъ своей хаты къ Солохѣ, и никакія мольбы бѣднаго Кондрата, даже слезы матери, не могли сломить ея преступнаго упорства. Кондратъ страдалъ, но не долго пришлось нести свой тяжелый крестъ этому честному, преданному человѣку, всю жизнь свою неизмѣнно вѣрно служившему своему пану. Ничто никогда не могло сломить его преданности, ничто не могло поколебать его вѣрности, но рука тайнаго убійцы, побуждаемая дикимъ чувствомъ мести, злобы, бѣшенства, эгоистическихъ разсчетовъ, не дрогнула поразить это честное сердце, прекратить эту дѣятельную жизнь.

Миръ его праху!

Не предчувствуя никакой опасности, этотъ вѣрный слуга пошелъ, по обыкновенію, осмотрѣть панскія поля и больше не вернулся. Прошелъ день, прошелъ другой, начались

самые тщательные розыски подъ руководствомъ самого пана и при участіи становаго, но не привели ни къ чему. Никто его не видѣлъ, никто не встрѣчалъ, никто не зналъ, куда онъ дѣлся.

Бѣдный панъ былъ въ отчаяніи... Онъ назначилъ большую награду тому, кто укажетъ слѣдъ.

На шестой день трупъ Кондрата съ разбитой головой и весь изъѣденный раками выплылъ въ озерѣ, лежавшемъ далеко въ сторонѣ отъ деревни. Убійство было несомнѣнно, началось слѣдствіе, панъ не жалѣлъ денегъ, высказалъ свои подозрѣнія на Федя, но уликъ не нашлось и слѣдствіе кончилось ничѣмъ.

Но кто же были убійцы?

Въ глубинѣ души своей я тоже былъ убѣжденъ, что все это посредственно или непосредственно было дѣломъ рукъ Федя. Правда, ему не стоило ни малѣйшаго труда оправдаться и остаться на свободѣ за недостаткомъ уликъ. Онъ служилъ тогда сторожемъ въ казенной лѣсной дачѣ верстъ за десять отъ нашего села и слѣдователь не могъ найти противъ него ни одной улики, даже тѣни ея, тѣмъ не менѣе причастность

его къ убійству была для меня несомнѣнна. Все, казалось мнѣ, выдавало его на слѣдствіи: и взглядъ, и жесты, и манера держать себя, и голосъ,—но слѣдователь не имѣлъ моихъ глазъ и убійцу не открыли.

Но какой-то тайный голосъ, какое-то провидѣніе сердца нашептывали мнѣ и другое имя, рядомъ съ именемъ Федя. У Кондрата было много враговъ, вся деревня отъ мала до велика называла его не иначе, какъ аспидомъ и кровопійцей. Каждый, думаю, не остановился бы нанести ударъ при подобномъ случаѣ, безъ свидѣтелей, если синее небо и всевидящее око Божіе не свидѣтели, но изъ всѣхъ мое сердце называло только одного... Я гналъ отъ себя это подозрѣніе, я старался заглушить его въ себѣ, старался увѣрить себя въ его несостоятельности, но чуткое сердце неустанно шептало:—Тарасъ! Да, читатель, Тарасъ или Федь! Или Тарасъ и Федь вмѣстѣ. И въ самомъ дѣлѣ, что могло бы удержать Тараса, почему именно онъ не могъ бы этого сдѣлать?... Совѣсть?—Но развѣ онъ, личный врагъ Кондрата, врагъ его какъ мужа Гали, врагъ его какъ бурмистра, врагъ какъ ненавистника распившагося отца,—развѣ онъ могъ

считать такое убійство преступленіемъ, а не героическимъ подвигомъ? Гнѣвъ Божій?—Но развѣ онъ, какъ и все мужичье, не считалъ Кондрата врагомъ божьимъ и порожденіемъ дьявола за то, что тотъ былъ вѣрнымъ слугой пана и не вѣрилъ, что всякое зло ему сдѣланное зачтется Богомъ въ заслугу? Страхъ наказанія?—Но развѣ дикій, буйный, дерзкій Тарасъ зналъ когда-нибудь, что такое страхъ?

— Тарасъ, Тарасъ, Тарасъ!—стучало мое сердце.—Тарасъ и Федь!

Я никому не высказывалъ своихъ подозрѣній, но, разъ встрѣтивъ въ полѣ Тараса одинъ-на-одинъ, не могъ удержаться:

— Слушай, разбойникъ!—крикнулъ я ему съ лошади, признайся:—вѣдь все ровно нечего скрывать, ты убилъ Кондрата?

Тарасъ покраснѣлъ, вытаращилъ глаза и стоялъ точно ошеломленный.

— Онъ, онъ, онъ!—стучало мое сердце.

— Ну, говори же вѣдь ты?... Я никому не скажу. Ты съ Федемъ?

— Что ты мѣшаешься не въ свое дѣло? Чего пристаешь?... Поѣзжай своей дорогой!—закричалъ онъ мнѣ въ сильномъ гнѣвѣ и повернулся было къ своему плугу.

— Какъ не мое дѣло?—закричалъ я, тоже невольно разсердившись,—дуракъ! Вы будете убивать честныхъ панскихъ слугъ—и не мое дѣло?... Васъ въ тюрьму нужно!...

— Охъ, и дурень же ты, Ивасю,—ой какой дурень!—закачалъ головой Тарасъ мнѣ въ отвѣтъ.—Ну, чего ты набрасываешься собакою?

Онъ назвалъ *меня* дурнемъ!!

Я не выдержалъ. Разсказалъ ему всѣ свои подозрѣнія, грозилъ, ругалъ и, вѣроятно, сильно взорвалъ его, потому что онъ внезапно погналъ воловъ и повернувшись отъ плуга, крикнулъ мнѣ:

— Гляди, Ивасику, ой гляди, чтобъ и тебѣ того же не было!

Съ той поры я окончательно увѣрился въ своемъ подозрѣніи.

А бѣдный панъ между тѣмъ просто страдалъ отъ того, что виновникъ, убійца не найденъ. Его терзала эта безнаказанность ужаснаго преступленія, его смущало и озлобляло это первое проявленіе преступной смѣлости со стороны хлоповъ, которыхъ онъ привыкъ видѣть покорнымъ стадомъ, и наконецъ оно его пугало, пугало за будущее пугало тѣмъ, что если виновникъ не най-

денъ, то, чего добраго, не кончится однимъ Кондратомъ. И въ раздраженіи онъ набрасывался на всѣхъ, на перваго встрѣчнаго, придирался къ каждому пустяку, самъ иногда нарочно выискивалъ предлога придраться, и затѣмъ поролъ и поролъ на конюшнѣ. Но только порка была уже не прежняя, не „сколько влѣзетъ“, а больше для виду, для остраски, и я отлично видѣлъ, что мужичье поняло, что панъ боится уже забивать до смерти, что онъ не чувствуетъ за собой прежней власти и силы.

— Скоро конецъ!—шептали они.

Это „скоро конецъ“ слышалось уже вездѣ и всюду—въ воздухѣ, въ толпѣ, въ селѣ, въ церкви, въ городѣ... Оно свѣтилось въ глазахъ, проскальзывало въ жестахъ и манерахъ говорившихъ. Имъ жило все, имъ дышала, казалось, сама природа.

Съ каждымъ днемъ, съ каждою секундой, съ каждымъ ударомъ пульса расла надежда и увѣренность въ этой „скорости конца“.

Конецъ дѣйствительно приближался. Изъ разговора пановъ, хотя они говорили шепотомъ, я уловилъ, что скоро будетъ объявлена воля... Въ первый моментъ меня точно ожгло чѣмъ-то, какъ будто захватило

дыханіе, но только на моментъ,—я сейчасъ же успокоился и сталъ раздумывать:—каково-то мнѣ прійдется впереди... Я смотрѣлъ ясно и твердо впередъ, ибо не сомнѣвался, что и при волѣ все-таки останутся и паны, и мужики.

Конечно, я никому не сказалъ ни слова изъ случайно подслушаннаго панскаго разговора, хотя они говорили много интереснаго о надѣлахъ, выкупѣ и пр. Да и не зачѣмъ было!... Все мужичье вѣрило въ волю,—вѣрило въ то, что вся земля и все, что ни есть на ней, будетъ его.

Этою главой я кончаю крѣпостной періодъ своей жизни и не могу отказать себѣ въ удовольстіи оглянуться назадъ, подвести честно, правдиво, безъ малѣйшей тѣни самохвальства или глупаго тщеславія, итогъ всего пройденнаго, перечувствованнаго, пережитаго.

20 съ небольшимъ лѣтъ назадъ отъ описываемой эпохи я родился на свѣтъ,—грязнымъ, бѣднымъ мужиченкомъ, въ бѣдной хатѣ, грязной и вонючей, и росъ въ средѣ грубой, темной, лишенной всего честнаго и высокаго, всякаго стремленія къ идеалу. Эта среда, ея люди могли понимать только

каторжную жизнь земледѣльца и потому боготворили и покланялись въ человѣкѣ одной физической силѣ, ловкости, способности къ работѣ. Я былъ хилый, болѣзненный, нервный ребенокъ,—и меня всѣ презирали, не любили, толкали. Только одна душа склонялась ко мнѣ, только одно сердце билось ко мнѣ любовью. Это было сердце моей великой, чистой матери, головой стоявшей выше окружавшей ее среды. Она одна любила меня, одна развивала меня, подмѣтила во мнѣ задатки и способности, дѣлавшія меня чуждымъ всему окружавшему, взлелѣяла ихъ, развила и посѣяла въ моей душѣ первыя сѣмена „добра, любви и красоты“, по выраженію поэта.—Добрая, великая мать!

Еще восемь лѣтъ тому назадъ я стоналъ, какъ волъ, подъ ярмомъ каторжной работы, и мой стонъ вмѣсто сочувствія встрѣчалъ только суровый взглядъ отца, ругань или насмѣшку грубаго мужиченка-брата. Они не могли понять меня, не могли постигнуть, что душа моя парила высоко, высоко, далеко отъ мелкихъ интересовъ простаго земледѣльца.

И я самъ, безъ всякой протекціи, лич-

ными усиліями, своею головой, своими способностями сбросилъ съ себя свое иго, пробился впередъ; еще ребенкомъ, выполнивъ долгъ, предписываемый закономъ, я попалъ въ зàмокъ, въ другую сферу, гдѣ опять-таки, несмотря на массу препятствій, злобы, зависти, всякихъ пакостей всей челяди, обратилъ на себя вниманіе пана и пани и пошелъ впередъ. И въ концѣ концевъ собственными только усиліями, собственною головой, превратился я изъ неотесаннаго грубаго мужиченка въ начитаннаго, вполнѣ грамотнаго, ловкаго юношу, перваго панскаго любимца, самаго довѣреннаго слугу.

Все, что прежде меня презирало, кляло, ругало, теперь лежало у моихъ ногъ, лежало ницъ, и однимъ словомъ своимъ я могъ, что называется, казнить и миловать. Если, правда, тупая, алчная, завистливая чернь кляла меня втихомолку и обзывала разными обидными эпитетами, то это удѣлъ всѣхъ людей, обязанныхъ всѣмъ только себѣ и своими усиліями пробившихся вверхъ изъ низменной грязи. Кляли Наполеона, кляли Сперанскаго! Признаюсь, гордо бьется мое сердце, когда пишу эти строки.

Изъ ничтожества поднялся я на высоту,

изъ презираемаго я сталъ силой! Но этого было мало,—счастливая судьба готовила мнѣ еще болѣе свѣтлое будущее.

Въ ту зиму, скоро послѣ того, какъ оправившаяся отъ болѣзни Галя, какъ вдова вольнаго человѣка, распродавъ все имущество, оставшееся послѣ Кондрата, вышла замужъ за Федя и уѣхала съ нимъ въ губернскій городъ, гдѣ Федь занялся мелочною торговлей, вернулась изъ-за границы пани. Не успѣла она поздороваться съ паномъ, какъ удивленно воскликнула, обращаясь ко мнѣ:

— Неужели это ты, Ясь?

— Я, вельможная пани!—отвѣтилъ я, низко кланяясь и улыбаясь.

— Боже, какъ онъ выросъ!—продолжала она и добавила тихо по-французски къ пану:

— Какимъ онъ сталъ красавцемъ! Что за чудные глаза и брови, цвѣтъ лица...

— Молодецъ онъ у меня, молодецъ!—подхватилъ весело панъ, трепля меня по плечу.—Первый человѣкъ у меня!

Пани обдала меня такимъ взглядомъ своихъ чудныхъ глазъ, что мнѣ стало какъ-то

жутко и невыразимо сладостно въ то же время.

Вечеромъ, чтобы сорвать для пани цвѣтокъ, по ея приказанію, я на ея глазахъ перепрыгнулъ чрезъ довольно высокій барьеръ въ оранжереѣ и она воскликнула:

— Боже, какъ онъ ловокъ, совсѣмъ кавалеръ. — Слышь, Ясь, я опять беру тебя къ себѣ.

Не слыша подъ собой ногъ отъ восторга и счастья, я только низко, низко поклонился. Быть первымъ слугой у пани—значило быть „всѣмъ“ въ домѣ.

Черезъ нѣсколько дней ночью, когда панъ и вся прислуга легли уже спать, я тушилъ послѣднія лампы въ гостиной пани, гдѣ стояло фортепіано, которое она только-что оставила. Я собрался уже оставить гостиную, когда изъ будуара раздался нѣжный, пѣвучій голосъ:

— Это ты, Ясь?

— Я, вельможная пани.

— Войди!

Я отворилъ дверь... Пани сидѣла въ глубокомъ креслѣ, передъ горѣвшимъ каминомъ, который одинъ освѣщалъ красноватымъ блескомъ погруженный въ мракъ рас-

кошный будуаръ... Она была одѣта въ легкій бѣлый пеньюаръ и походила на ангела... Тонкій запахъ духовъ щекоталъ мои ноздри.

— Поправь въ каминѣ!

Я подошелъ къ камину и опустился на колѣни у ея божественныхъ ножекъ, обутыхъ въ атласныя туфельки и покоившихся на рѣшеткѣ... Самъ не знаю отчего, у меня сильно забилось сердце и застучало въ вискахъ.

— Какой ты хорошенькій, Ясь!—послышался игривый нѣжный шепотъ.

Жаръ бросился мнѣ въ голову, сердце застучало сильнѣе... и я переворачивалъ уголья.

— Скажи, ты много побѣдилъ сердецъ? Много перецѣловалъ деревенскихъ красотокъ?

— Нѣтъ, пани, никогда...—чуть выговорилъ я,—меня, что-то душило въ горлѣ.

— Что?... что?... Ты не врешь?...

— Ей-богу, нѣтъ!... Пани, никогда... никогда!...

— Ты невиненъ?...

Пани взяла двумя пальчиками меня за подбородокъ и повернула къ себѣ... Ты не

врешь?... Взоръ ея былъ мутный, туманный, глаза точно подернулись влагой.

— Не вру, пани!—отвѣтилъ я, сильно переконфуженный.

Пани долго, долго смотрѣла на меня тѣмъ же взоромъ, точно всматривалась, и вдругъ какъ-то необычайно нѣжно, мягко засмѣялась.

— О, какой же ты еще глупый, Ясю!..

Я не зналъ, что дѣлать и стоялъ растерянный все такъ же на колѣняхъ у ея ногъ...

— Сними мнѣ туфли!...

Дрожащими руками, весь въ какомъ-то неизъяснимомъ волненіи, я притронулся къ ея ножкѣ и это прикосновеніе ожгло меня.

— Другую!—пани чуть-чуть передвинула ножку.

Дрожа, я снялъ и другую туфлю.

— Сними чулки!...

Я не зналъ какъ, я не рѣшался... Меня била лихорадка...

— Разстегни!—игриво улыбаясь прошептала пани, приподнимая пеньюаръ и показывая прелестную подвязку.

У меня кружилась голова, захватывало дыханіе, стучало въ вискахъ и въ глазахъ двоилось... Я долго провозился съ подвяз-

кой и самъ не помню ужь какъ снялъ съ бѣлой, какъ мраморъ, ножки, шелковый чулокъ.

Еще минута и я, кажется, упалъ бы въ обморокъ, зубы у меня лихорадочно стучали, голова плохо держалась на шеѣ, но вдругъ двѣ бѣлыя, полныя, теплыя руки обвились вокругъ моей шеи, что-то влажное, теплое коснулось моихъ губъ, я почувствовалъ упругую грудь, ея сильно бившееся сердце, и нѣжный ласковый шепотъ: глупый, глупый Ясю!—ласкалъ мое ухо . . . .

. . . . . .

На другой день утромъ, сейчасъ же вслѣдъ за выходомъ пани изъ кабинета пана, онъ позвалъ меня къ себѣ... Признась, я страшно перепугался. Мнѣ вдругъ пришло въ голову, что пану все извѣстно, что я погибъ.

Но въ дѣйствительности было совсѣмъ иначе. Панъ встрѣтилъ меня крайне ласково, отчасти торжественно, и мягко сказалъ:

— Я давно хотѣлъ тебя, Ясю, повысить, какъ ты того заслуживаешь и какъ я тебѣ не разъ уже обѣщалъ за твою вѣрную службу... Теперь, съ согласія пани, которая то-

же вполнѣ довольна тобой, я назначаю тебя на самую высокую должность...

Я не вѣрилъ себѣ, своимъ ушамъ...

— Съ сегоднешняго дня ты сбрось ливрею домашняго слуги,—продолжалъ панъ:— ты будешь уже не слугой, а моимъ довѣреннымъ,—я назначаю тебя управляющимъ конторой.

Я бросился пану въ ноги и началъ его увѣрять въ преданности, что ему, видимо, понравилось, ибо онъ еще мягче перебилъ меня:

— Нечего благодарить, нечего,—ты заслужилъ это... Я умѣю награждать вѣрныхъ слугъ... Ты еще молодъ, правда, но за то смѣтливъ, довольно образованъ, честенъ и преданъ: значитъ—ты справишься съ дѣломъ.

Я обнялъ ноги пана, поцѣловалъ носокъ сапога и вскричалъ:

— Вельможный пане, не стою я такой милости, не стою; жизнь свою отдамъ за пана, до гроба останусь преданъ и вѣренъ.

Панъ приказалъ мнѣ встать и поцѣловалъ меня въ лобъ.

Но въ глубинѣ души я отлично зналъ, что всѣмъ этимъ я обязанъ моей дорогой—

не пани уже, а возлюбленной, и мое сердце страстно ждало ночи, чтобъ излить свою восторженную благодарность...

Я снялъ ливрею. Я одѣлся въ щегольское платье. Я былъ главнымъ начальниномъ послѣ пана; всѣ бурмистры, конторщики, кассиры были моими подчиненными. Моей дружбы, моего ласковаго взгляда заискивали мелкіе малопомѣстные паны и чиновники, въ родѣ, напримѣръ, становаго.

Конечно, кромѣ этихъ казовыхъ концовъ моего новаго положенія, у меня были и мрачные, тяжелые, даже очень тяжелые. Мнѣ пришлось одному стать лицомъ къ лицу съ черной, низкой толпой мужичья, взбудораженнаго вѣстью о приближающейся волѣ,—одному,—потому что все—паны, мелкіе и даже не мелкіе чиновники—были теперь почему-то на ихъ сторонѣ. Не знаю, чѣмъ бы кончилась эта каторга, не явись наконецъ воля, давно жданная, одними со страхомъ, другими съ тайнымъ восторгомъ, но, конечно, не въ тѣхъ формахъ, какія рисовались мужицкимъ воображеніемъ...

Впрочемъ, послѣднее въ первое время нисколько не волновало мужичья, вполнѣ

насытившагося однимъ словомъ „воля“... Они точно замерли, точно застыли въ немъ, въ какомъ-то блаженномъ покоѣ и мирѣ, ни о чемъ не думая, не гадая.

Я помню ярко и живо этотъ день, канунъ котораго мы провели въ страшной тревогѣ, заряжая ружья и готовясь къ оборонѣ. Съ ночи въ палаццѣ всѣ были вооружены и стояли на-стражѣ у оконъ... Менѣе надежные изъ прислуги были удалены, а наше число пополнено бездомною шляхтой, съѣхавшеюся по приглашенію пана на защиту въ палаццъ. Мы готовились къ борьбѣ и послѣ сами смѣялись надъ собою, ибо убѣдились, что страхъ нашъ былъ напрасенъ, что мужичье и не думало о бунтѣ.

Оно было охвачено какимъ-то всепрощеніемъ, было настроено такъ сентиментально-добродушно, что въ этотъ день на мигъ черныя, озлобленныя души явились душами человѣческими.

Но на долго ли?... Солнце свѣтило ярко, когда я пошелъ поглазѣть на любопытную сцену объявленія воли. Весна наполняла все жизнью и страстью. Птицы пѣли о любви, о счастіи. Несмѣтныя толпы народа наполняли церковь, ея дворъ и улицу. Тутъ

были всѣ: и отецъ, и Солоха, и Тарасъ, и дѣдъ, всѣ, всѣ...—и никто не посмотрѣлъ на меня злобно.

Въ церковь протиснуться было нельзя. Я сталъ на улицѣ за оградой въ кучѣ толпившагося народа. Изъ открытыхъ церковныхъ дверей неслось отрывочное пѣніе и клубы ѳиміама. Я видѣлъ, какъ шевелились головы, какъ открытыя уста толпы шептали молитву. Но вотъ ударилъ колоколъ... разъ, два... Какой-то отрывокъ священнаго пѣнія донесся и пропалъ въ синемъ воздухѣ. Еще что-то такое... Затѣмъ, не то стонъ, не то крикъ... какое-то движеніе и весь народъ, зарыдавъ, упалъ на колѣни.

— Божьею милостью, Мы Александръ Вторый...—донеслось изъ церкви и толпа, какъ одинъ человѣкъ, грохнулась на земь, растянувшись, рыдая, въ пыли...

— Воля! воля! воля!...

Вышелъ съ крестомъ сѣдой отецъ Паисій. Онъ дрожалъ и не могъ идти самъ,—его велъ заплаканный дьячокъ Панфилъ. Сзади шелъ становой, держа въ рукахъ манифестъ и плача, какъ ребенокъ. Отецъ Паисій кропилъ лежавшій ницъ народъ. Народъ поднялся, но вдругъ грохнулся на колѣни...

— За царя... Теперь за царя!...

Когда мы вмѣстѣ съ пани проѣхались послѣ обѣда верхами по селу, все мужичье, толпившееся на площадяхъ деревни, вмѣсто проявленія злобы, низко снимало шапки.

— Они, право, не злые, Ивасику — сказала мнѣ добрая пани.

— Посмотримъ, пани, что будетъ завтра,—отвѣтилъ я, зная жизнь и людей.

На этомъ кончаю свои мемуары изъ періода крѣпостной жизни. Хорошо ли, дурно ли описалъ я, судить не мнѣ, но за одно ручаюсь, я былъ вездѣ искрененъ. Искренно говорю, что я не скрывалъ своихъ недостатковъ, не желалъ выставлять себя въ лучшемъ свѣтѣ, отлично понимая, что всѣмъ своимъ хорошимъ я обязанъ не себѣ, а вліяніямъ хорошихъ условій. А теперь — до свиданія!...

РАЗСКАЗЫ ИЗЪ СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.

ВТОРАЯ ПРАВДА.

РАЗСКАЗЪ.

Если вы думаете, что на свѣтѣ всего одна „правда“, вы рискуете, по увѣренію Кожина, понести разочарованіе и впасть въ большія ошибки въ жизни. Онъ думаетъ, что ихъ двѣ и, что самое главное, онѣ находятся будто бы въ вѣчномъ противорѣчіи другъ съ другомъ.

Правъ онъ или не правъ, это не мое дѣло,—я простой разскащикъ и не намѣренъ говорить ни pro, ни contra. Во-первыхъ, это завело бы насъ слишкомъ далеко, а я инстинктивно, по свойственной всѣмъ обывателямъ привычкѣ, боюсь всякой „дали“; во-вторыхъ, я и не адептъ „двухъ правдъ“. Чтобы я ни говорилъ, какъ бы ни доказывалъ, чтобы ни приводилъ въ подкрѣпленіе

своихъ доводовъ, Кожинъ будетъ стоять на своемъ и на всѣ мои аргументы будетъ совать мнѣ „свой личный опытъ“.

Вотъ объ этомъ-то „опытѣ“ я и хочу разсказать вамъ.

Понятно, было время, когда Кожинъ, какъ и всѣ, имѣлъ только „одну“ правду въ своемъ распоряженіи. Онъ былъ тогда веселъ, смѣялся, волосы его вились, глаза метали искры, такъ что дамы только складывали ручки въ сладкой истомѣ при одномъ его приближеніи. Этотъ періодъ обнималъ всю его университетскую жизнь и первые мѣсяцы службы городовымъ врачомъ въ N-скомъ округѣ, куда его послали „отбывать“ университетскую стипендію. „Правда“, единственная „правда“, заключалась для него тогда въ наукѣ и въ строгомъ исполненіи своихъ обязанностей. Онъ зналъ, что у насъ въ Сибири царилъ произволъ, и горѣлъ жаждой все „обличить“, все „раскрыть“, вездѣ дать возможность „добру“ всплыть наверхъ, какъ маслу. Его честное, правдивое сердце билось въ груди для всѣхъ и меньше всего для него самого, потому что о себѣ собственно онъ никогда не думалъ.

— О-б-о-тре-тся! По-хо-ло-дѣетъ! Дайте

срокъ! — говорили болѣе опытные, глядя, какъ сломя голову летѣлъ онъ, въ распутицу, „на вскрытіе“ какого-нибудь „скоропостижнаго“, или торопился къ какой-нибудь бабѣ, которой „подкатило“, забывая и ужинъ, и дамъ, и начатый разговоръ.—Обот-ррр-ется, надоѣстъ!

И онъ, дѣйствительно, обтерся, похолодѣлъ, но только не отъ того, что „надоѣло“. Его сломила обрѣтенная имъ „вторая“ правда. Если и съ одною правдой, говорятъ, жить иногда туго и во всякомъ случаѣ хуже, чѣмъ безъ всякой, то отсюда отнюдь не рискованно заключить, что съ двумя, пожалуй, и еще туже. Да къ тому же, если обѣ онѣ еще находятся въ противорѣчіи другъ съ другомъ, такъ вѣдь положеніе человѣка сильно смахиваетъ уже на то, въ какомъ долженъ находиться двоеженецъ въ моментъ встрѣчи обѣихъ женъ. По крайней мѣрѣ, не удивительно, что съ обрѣтеніемъ второй правды Кожинъ поблѣднѣлъ, осунулся, сталъ мраченъ и золъ, волосы его вылѣзли, глаза потухли, а дамы перестали находить его интереснымъ. Онъ отъ всѣхъ заперся, захандрилъ, а иные увѣряли, что даже „запилъ“. Но это оказалось вздоромъ, пущен-

нымъ старымъ аптекаремъ въ отместку за штрафъ, которымъ поплатился этотъ милѣйшій партнёръ „въ винтъ“, по настоянію Кожина, за черезчуръ высокую оцѣнку медикаментовъ. Жена начальника мѣстнаго баталіона, танцовавшая въ молодости кадриль съ губернскимъ психіатромъ и считавшая себя, поэтому, компетентною нѣкоторымъ образомъ въ психіатріи, таинственно увѣряла, что у Кожина неладно „тутъ“. Она тыкала бѣленькими, пухлыми пальчиками въ свой крошечный, съ двумя красивыми „коками“, лобикъ. Боже меня избави возставать противъ „авторитетовъ“; но я думаю, что сердце у Кожина осталось прежнее; онъ попрежнему готовъ былъ лѣчить всѣхъ безвозмездно и что, не наткнись онъ только на эту проклятую „вторую“ правду, то не было бы ни его насмѣшливости, ни раздражительности, ни хандры, ни нелюдимости и онъ попрежнему оставался бы въ глазахъ всего нашего избраннаго N-скаго общества „весьма пріятнымъ человѣкомъ“.

Исторія этой „второй“ правды начинается съ темнаго зимняго вечера. Зима была лютая, снѣжная; недѣлю дулъ уже не уста-

вая „сиверко“ и на дворѣ все стояло 40° по спиртовому термометру Реомюра. Кожинъ сидѣлъ въ своемъ скромномъ кабинетѣ и внимательно перечитывалъ засѣдательскій рапортъ о „найденномъ, несомнѣнно, замерзшемъ тѣлѣ“, на вскрытіе котораго онъ собирался завтра утромъ. Окружный врачъ, пользуясь „рьяностью“ Кожина, часто отлынивалъ по болѣзни, и тотъ съ жаромъ, нисколько не тяготясь, исполнялъ его обязанности по округу.

— Что за чортъ: отчего онъ такъ категорически утверждаетъ: „несомнѣнно, замерзшемъ“?—подумалъ Кожинъ и недовѣрчиво покачалъ головой.

Онъ пожилъ уже достаточно въ Сибири, чтобы понимать тайный смыслъ всѣхъ этихъ „бумагъ“, „рапортовъ“, „отношеній“ и т. д., иногда не совсѣмъ согласныхъ съ истиной. Личный опытъ и разныя „столкновенія“ точно нашептывали ему, что всѣ эти продукты канцелярской риторики нужно понимать всегда наоборотъ, чтобы не попасть въ просакъ. Онъ перечиталъ еще разъ, собралъ затѣмъ свой „секціонный“ наборъ, осмотрѣлъ его, уложилъ въ крохотный чемоданчикъ и принялся пить чай.

Въ дверь постучали.

— Не помѣшаю-съ?—спросилъ чей-то вкрадчивый, сиплый голосъ.

— Нѣтъ, нѣтъ,—войдите!

Вошелъ осторожно, какъ-то крадучись по-кошачьи, засѣдатель, пріятно улыбаясь всею своей хитрою, лисьей физіономіей.

— Чай пьете-съ?..

— Пьемъ!... И вамъ стаканчикъ?

— Съ благодарностью!—Засѣдатель по-офицерски щелкнулъ каблуками.

Докторъ налилъ.

— Такъ завтра рано думаете отправляться?—освѣдомился гость, точно такъ себѣ, „для разговору", мѣшая ложечкой чай.

— Чуть свѣтъ... А что?

— Да такъ, собственно, зашелъ справиться, не вмѣстѣ ли поѣхать? Я вѣдь тоже ч-у-у-ть свѣтъ.

— Ладно! Конечно, вмѣстѣ лучше,—согласился докторъ:—далеко это?

— Н-ѣ-ѣтъ! Верстъ такъ сорокъ, не больше.

— Часовъ въ шесть доѣдешь?

— До-ѣ-дешь!

— То-то, какъ бы засвѣтло, а то вѣдь

дни короткіе, вскрытіе трудно производить, сказалъ докторъ.

Засѣдатель какъ-то успокоивающе улыбнулся и махнулъ рукой.

— Эхъ! Да что и вскрывать-то тамъ,—напрасный трудъ, право-съ! Вы и такъ работой убиваетесь, даже жалко васъ,—засѣдатель выразилъ на лицѣ сожалѣніе:—право жалко! Дѣло тамъ чистое, замерзъ! Шелъ—и замерзъ! Видите, какая стужа!—онъ ткнулъ въ термометръ.

„Взялъ, покрываетъ, стянулъ!“ — мелькнуло въ головѣ Кожина и онъ чуть даже вслухъ не высказалъ своей догадки.

— Одна формальность! продолжалъ между тѣмъ гость:—для формы! Посельщикъ, знаете, воръ! Сколько про него дѣлъ у меня перебывало, покою не было просто! Въ тюрьмѣ сколько разъ сидѣлъ, да за недостаткомъ уликъ...—Засѣдатель сдѣлалъ выразительную гримасу и щелкнулъ пальцемъ.—Знаменитый воръ! Смирновъ!..

— Въ больницѣ тюремной былъ у меня какой-то Смирновъ,—вспомнилъ докторъ.

— Ну,-ну, вотъ-вотъ!... Черный такой, высокій. Первый разбойникъ!—Чуть попадетъ въ тюрьму, сейчасъ: охъ, охъ, въ боль-

ницу! А тамъ, за недостаткомъ уликъ, и на волюшку. Знаете наши суды?—подмигнулъ засѣдатель доктору.

— Неужто такъ ловко концы пряталъ?

— А-а-ррр-тистъ! Одно слово, артистъ, ей богу! Изъ рукъ лошадей уводилъ,—и чистъ выходилъ... Зам-мѣ-ча-тельный артистъ!

Докторъ легъ спать въ убѣжденіи, что вскрытіе произвести нужно весьма тщательно.

Трупъ замерзшаго „артиста“ былъ найденъ въ глухомъ лѣсу, на небольшой, круглой полянкѣ; но его заранѣе еще, по распоряженію засѣдателя, перенесли въ деревню, отстоявшую на добрую версту отъ того мѣста, и помѣстили въ пустой избушкѣ. Когда пріѣхали докторъ съ засѣдателемъ, день клонился уже къ концу; хотя былъ всего второй часъ пополудни, наступили густые, сѣрые, зимніе сумерки. Кожинъ всю дорогу мысленно проклиналъ засѣдателя, который сначала долго собирался, такъ что они, вмѣсто пяти часовъ утра, какъ было условлено, выѣхали только въ половинѣ восьмаго, а затѣмъ при каждой „перепряжкѣ“ по-

долгу бесѣдовалъ, точно нарочно, о какихъ-то „дѣлахъ“ съ мужиками. Къ тому же и верстъ оказалось не сорокъ, какъ увѣрялъ засѣдатель, а пятьдесятъ слишкомъ.

— Трудно, знаете, сказать навѣрное,— оправдывался засѣдатель:—не почтовая вѣдь дорога—проселокъ! Кто его мѣрилъ? Одни такъ считаютъ, другіе иначе.

Но такое объясненіе мало дѣйствовало на подозрительнаго Кожина, все болѣе убѣждавшагося, что засѣдатель хитритъ и нарочно подгоняетъ дѣло къ сумеркамъ, когда легче ошибиться. Въ ожиданіи, пока засѣдатель собиралъ „понятыхъ“, докторъ нервно прохаживался изъ угла въ уголъ по чистой, свѣтлой горницѣ избы, въ которой они вмѣстѣ остановились. Въ горницѣ, кромѣ Кожина, сидѣлъ еще, мрачно насупившись, самъ хозяинъ, бодрый, крѣпкій старикъ, лѣтъ шестидесяти, съ чрезвычайно умнымъ, энергическимъ лицомъ.

— Твое это ружье, дѣдушка?—спросилъ вдругъ докторъ, самъ не зная почему, останавливаясь передъ стоявшимъ въ углу ружьемъ.

— Мое...—глухо отвѣтилъ старикъ, и

доктору показалось, будто онъ вздрогнулъ и перемѣнился немного въ лицѣ.

— А далеко бьетъ?

— Хватаетъ...—неохотно отвѣтилъ старикъ, нахмурясь и подозрительно оглядывая доктора.

Тотъ, впрочемъ, не придалъ этому ни малѣйшаго значенія и даже совсѣмъ забылъ этотъ короткій разговоръ. Прійдя въ „покойницкую“, онъ засталъ тамъ уже фельдшера и понятыхъ, занятыхъ раздѣваніемъ покойника, въ которомъ онъ сразу призналъ лежавшаго нѣкогда въ тюремной больницѣ Смирнова.

— Тотъ самый, — сказалъ онъ засѣдателю:—узнаю! Былъ у меня въ больницѣ...

— Какъ же, какъ же! — какъ-то убѣждающе подхватилъ засѣдатель.—Извѣ-ѣ-ѣстный воръ! Сколько разъ сидѣлъ...

— Грѣха отъ него что было!—точно про себя, произнесъ кто-то изъ понятыхъ.

— Шибко обижалъ!—вздохнувъ, поддержалъ другой.

Докторъ внимательно слѣдилъ за процедурой раздѣванья.

— Есть на тѣлѣ что-нибудь... знаки?—спросилъ онъ фельдшера.

— Ничего-съ, чисто!—отчеканилъ тотъ.

— Пам-милуйте, какіе знаки! Очевидно, замерзъ!—точно обидѣлся засѣдатель:—на промыселъ, поди, шелъ, — ну, а Богъ-то стужей пристукалъ,—не земнымъ судомъ, такъ небеснымъ.

Понятые перекрестились.

— И ничего подозрительнаго на мѣстѣ не было, никакихъ слѣдовъ? — обратился докторъ къ засѣдателю, начиная колебаться въ своихъ подозрѣніяхъ.

— Какіе слѣды!... Ничего, ни пятнышка! Лежитъ на снѣгу и только...

Покойника раздѣли, наконецъ. Засѣдатель сѣлъ у окна писать протоколъ.

— „Лѣта“? — диктовалъ докторъ, внимательно разсматривая трупъ.—По наружному виду?... За тридцать, а? — обратился онъ къ понятымъ.

— Будетъ, будетъ, въ самый разъ!—согласились тѣ.

— „Ростъ“?

Фельдшеръ прикинулъ тесемку.

— „Два семь вершковъ“! — продолжалъ диктовать докторъ.

Засѣдатель записалъ.

— Знаковъ насилія „нѣтъ“?—поспѣшилъ

онъ уже самъ, готовясь записать: „нѣтъ“.

— Постойте!—Докторъ окинулъ трупъ взглядомъ и провелъ рукой отъ ногъ до головы.

— Кажись, нѣтъ... Поверните! — сказалъ онъ фельдшеру.

Фельдшеръ стоялъ противъ доктора, по другую сторону стола. Онъ приподнялъ отъ себя трупъ съ натугой, точно подымая нивѣсть какую тяжесть, и, оглядѣвъ, крикнулъ: „нѣтъ“.

Засѣдатель быстро, но четко, написалъ: „нѣтъ“.

Подозрѣнія Кожина разсѣялись; онъ самъ думалъ, что Смирновъ замерзъ, и потому только слегка приподнялъ трупъ съ своей стороны и оглядѣлъ часть спины; тамъ, дѣйствительно, какъ говорилъ фельдшеръ, ничего не было. Онъ ощупалъ голову и затылокъ,—голова цѣла.

— Ну, вотъ видите, несомнѣнно замерзъ!— весело вскочилъ засѣдатель.—Что тутъ возиться за вскрытіемъ! Поѣдемъ-ка лучше! Одна пустая формальность!

— Что тормошить покойника понапрасну!—степенно перекрестились понятые.

— Дѣло чистое-съ!—равнодушно, какъ-то зѣвая, поддержалъ фельдшеръ.

Кожинъ колебался; дѣйствительно, одна пустая формальность. Въ протоколѣ можно написать, что вскрывали,—это часто практикуется.

— Поздно, вѣдь. Когда въ городъ вернемся!?—убѣждалъ засѣдатель.

— Какъ же такъ?—нерѣшительно спросилъ докторъ.

— Пустяки!—засѣдатель махнулъ рукой.

Но въ докторѣ почему-то шевельнулись прежнія подозрѣнія; онъ снова подошелъ къ трупу: пощупалъ ребра,—цѣлы, осмотрѣлъ шею,—все какъ слѣдуетъ. Дѣйствительно, замерзъ!

— Поверните-ка спиной,—сказалъ онъ фельдшеру такъ, „для очистки совѣсти“.

Тотъ покраснѣлъ.

— Поверните!

Фельдшеръ нерѣшительно и робко приподнялъ трупъ.

— Ничего нѣтъ!—сказалъ онъ, оглядѣвъ.

— Поверните совсѣмъ!—И докторъ обѣими руками повернулъ трупъ.

Все, кажется, было ладно.

На дворѣ начинались уже сумерки, къ

тому же засѣдатель почти совсѣмъ заслонялъ собою окно.

— Свѣту мало, отодвиньтесь-ка отъ окна!— сказалъ ему докторъ.

Тотъ неохотно подвинулся.

— Все ладно, дѣйствительно!—говорилъ Кожинъ, поводя глазами по трупу:—все... только...

Фельдшеръ покраснѣлъ и насторожился; засѣдатель вскочилъ и точно нечаянно закрылъ собою окно.

— Позвольте,—крикнулъ ему докторъ,— отодвиньтесь!... Это что?—указалъ онъ пальцемъ на спину у позвонковъ.

— Чирей-съ!—глухо и робко отозвался фельдшеръ.

— Какой чирей!—докторъ наклонился и пощупалъ пальцемъ, — какой чирей! Это рана!

Всѣ вздрогнули. Понятые какъ-то потоптались на мѣстѣ, засѣдатель разнялъ руки и покраснѣлъ, бормоча:

— Гдѣ, гдѣ, какая рана?

Фельдшеръ глухо и робко кашлялъ въ сжатый кулакъ.

Докторъ ничего не видѣлъ и не слышалъ,— онъ уже держалъ въ рукахъ ножъ и щипцы.

— Вотъ какъ замерзъ... вотъ!—крикнулъ онъ торжествующимъ голосомъ, вытаскивая пулю,—вотъ!

Эффектъ былъ ужасный: всѣ, кромѣ доктора, стояли какъ пораженные громомъ.

— Рубашку, гдѣ рубашка?—кричалъ между тѣмъ Кожинъ, самъ доставая снятую съ покойника рубашку и осматривая ее:—слѣды смыты, это несомнѣнно, да и крови было мало,—поди всего нѣсколько капель,—малопулька!

— Я-съ... право-съ... не знаю-съ... не подозрѣвалъ!—бормоталъ растерянно засѣдатель.

— Не подозрѣвали!—презрительно улыбнулся Кожинъ.—Ну, да все равно, всплыло,—теперь не скроешь!

Засѣдатель вдругъ разразился гнѣвомъ и рьяностью.

— О-о-о! Я имъ дамъ! Я все открою... Кто тутъ?—неистово грозилъ онъ неизвѣстно кому пальцемъ.—Я... Помилуйте, преступленіе, а я и не подозрѣвалъ! Ахъ, ты!... Спасибо вамъ, что открыли... А-ахъ ты!

— Господи помилуй! — крестились понятые.

Докторъ лихорадочно бѣгалъ изъ угла въ уголъ въ ожиданіи, пока подадутъ лошадей, и ликовалъ, что не далъ засѣдателю „скрыть концы“. Что̀, въ самомъ дѣлѣ, еслибы всѣ поступали какъ должно, по совѣсти,—какъ хорошо жилось бы на свѣтѣ! Ни убійствъ, ни грабежа...враговъ бы даже не было на свѣтѣ!...

Засѣдателя не было,—онъ о чемъ-то говорилъ на дворѣ съ мужиками, „слѣдовъ искалъ“,—какъ выражался онъ; въ горницѣ сидѣлъ, кромѣ доктора, только старикъ хозяинъ все въ той же мрачной, неподвижной позѣ, нахмуривъ брови и тяжело, по-стариковски, сопя. Докторъ, впрочемъ, его не видѣлъ,—онъ все ликовалъ, все носился съ своими розовыми думами.

— Баринъ, а баринъ, не губи!...

Прямо передъ докторомъ стояла строгая фигура старика хозяина.

— Кого... что?—удивился онъ.

— Насъ, міръ не губи, не путай. Скрой это дѣло! Затягаютъ насъ, въ конецъ разорятъ!—И старикъ повалился въ ноги.

— Богъ съ тобой, дѣдушка, что ты!—растерялся, весь вспыхнувъ, докторъ и дѣлая усилія поднять старика.

— Не губи, баринъ, пожалѣй!—продол-

жалъ тотъ глухо, кланяясь въ землю, причемъ сѣдая борода его расползалась по полу вѣеромъ.—Не губи!... Не корысть, а, какъ передъ Богомъ, мірское дѣло тутъ... Скрой!

Докторъ понялъ, что его просятъ „скрыть", и возмутился.

— Я не могу скрыть преступленія! Тебѣ-то что же тутъ?

— Отъ „міра" прошу,—продолжалъ старикъ,—потому мірское, слышь, дѣло было. Міромъ дѣло рѣшили, по правдѣ, по жеребью, кому выйдетъ. Баринъ, не губи міра!

Докторъ въ первый разъ за всю жизнь слышалъ подобное. Преступленіе—не преступленіе, „безъ грѣха", „не корысть", „міромъ, по жеребью". Что это такое? Онъ и понималъ, и не понималъ въ то же время.

— Кто же убилъ?—спросилъ онъ, самъ не зная зачѣмъ.

— Никому этого міръ не скажетъ, баринъ, развѣ Богу одному. Міръ убилъ, по жеребью, слышь. Воръ онъ былъ, разбойникъ,—житья отъ него не было, управы. Грабилъ, обижалъ.

Докторъ все больше терялъ почву подъ ногами.

— Вы могли жаловаться!—нерѣшительно,

точно оправдываясь, процѣдилъ онъ сквозь зубы и самъ покраснѣлъ сейчасъ же.

— Богу, что ли?—съ горечью подхватилъ старикъ:—жаловались, молились, чтобъ уберегъ, но, знать, прогнѣвили Господа,—не было сладу! Начальнику сколько разъ представляли: посадятъ и выпустятъ!.. Онъ только пуще грабилъ.

Докторъ дрожалъ отъ волненія. Что-жь онъ такъ ликовалъ глупо?

— Засѣдатель, добрый баринъ!—продолжалъ старикъ, точно желая этимъ ободрить доктора:—уломали, сто рублей міромъ собрали.

— А-а!—протянулъ докторъ, понявъ теперь роль засѣдателя.

— И тебѣ не постоимъ, соберемъ!—подхватилъ старикъ, по-своему объяснивъ восклицаніе доктора:—послѣднее отдадимъ, рубаху снимемъ, не губи только міра, не обижай мужиковъ.

— Я, я... мнѣ не нужно... не продаюсь!—то блѣднѣлъ, то краснѣлъ докторъ, растерянный, взволнованный.—Встань, полно!..

— Больше дадимъ, не постоимъ! — умолялъ старикъ, не вставая.—Съ ребятъ снимемъ, съ бабъ,—не губи баринъ!

Этого было слишкомъ для Кожина. Онъ дрожалъ, растерялся, голова его закружилась, сердце какъ то болѣзненно сжалось... Что-то новое, неизвѣстное до сихъ поръ въ одно и то же время туманило и освѣщало мозгъ. Мысли путались и кружились какъ пчелы на солнцѣ; онъ самъ готовъ былъ разрыдаться. Минута, двѣ и онъ бы, можетъ-быть, разорвалъ свой протоколъ, но тутъ какъ нарочно вошелъ засѣдатель.

— Что тутъ у васъ?—раздался его лисій голосъ.

Чары исчезли,—докторъ опомнился. Старикъ быстро поднялся на ноги.

— Поди, просятъ „замять?"—подмигивая, продолжалъ засѣдатель и вдругъ, перейдя въ жалобный, просительный тонъ, добавилъ тихо:—что-жь, люди, знаете, бѣдные, судъ разоритъ. Да и ничего не выйдетъ,—убійцу не выдадутъ. Міръ вѣдь тутъ, знаете. Одна проволочка только... Все равно придется предать дѣло волѣ Божіей!

И онъ вздохнулъ.

Докторъ опять дрожалъ, но уже отъ негодованія.

— Много вы получили „добавочнаго" къ полученнымъ уже ста рублямъ за это хода-

тайство?—рѣзко спросилъ онъ, глядя на него въ упоръ.

— Я, я... Что вы? Какіе сто рублей. Развѣ я бралъ отъ кого-нибудь?—обернулся засѣдатель къ старику.

— Не слыхалъ,—отвѣтилъ тотъ.

Докторъ посмотрѣлъ на старика и встрѣтилъ такой злобный, полный ненависти взглядъ, что невольно опустилъ глаза. Онъ понялъ, что старикъ отопрется отъ всего. Блѣдный, разстроенный, шагалъ онъ изъ угла въ уголъ, не обращая вниманія на засѣдательское ворчанье. Неужели ему участвовать въ сдѣлкѣ съ этимъ?...—Онъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на засѣдателя.—Ни за что! Понесъ же его чортъ вскрывать,—пусть бы вскрывалъ „окружной!"—Докторъ плюнулъ и, выбѣжавъ на крыльцо, закричалъ: лошадей!—но ихъ какъ нарочно не подавали. Онъ вернулся въ горницу и снова зашагалъ нервно, ни на кого не глядя.

Засѣдатель ворчалъ о какихъ-то „врагахъ", по злобѣ распускающихъ про него „клеветы", Упомянулъ, что могъ бы жаловаться „за оскорбленіе", но не хочетъ „дрязгъ" и т. д., а затѣмъ сталъ проявлять необычайную энергію и рьяность. Схватилъ прото-

колъ, пробѣжалъ его, погрозилъ, что онъ кому-то „задастъ“, и, замѣтивъ вдругъ среди вещественныхъ доказательствъ пулю, подбѣжалъ съ ней, вѣроятно, въ безотчетной рьяности, къ стоявшему въ углу ружью.

— Пришлась!—не своимъ голосомъ закричалъ онъ, примѣряя пулю къ дулу, причемъ глаза его хищно заблистали:—глядите, пришлась!

Докторъ невольно остановился,—пуля замѣчательно приходилась.

— Пришлась, а?...

Засѣдатель просто захлебывался. Онъ напалъ на „слѣдъ“ и покрывать было уже не зачѣмъ.

— Эй, ты, борода, гляди, видишь?... Твое дѣло?—сверкая глазами, обратился онъ къ старику.

Старикъ стоялъ смертельно блѣдный.

— Сознавайся, говоррри!—наступалъ засѣдатель, сжимая кулаки:—говор-р-ри!

Старикъ стоялъ молча, точно обдумывая что-то.

— Зак-ккую!

— Закуй!—степенно и медленно отвѣтилъ старикъ:—закуй! Только за что? Всѣ ружья у насъ одинаковы и пули однѣ!

Наступило молчаніе.

— Правда!—грустно вздохнулъ засѣдатель: — эти „малопульки“ всѣ одного калибра, чортъ возьми!

Но вдругъ онъ опять оживился и сталъ осматривать пулю. Онъ вспомнилъ, что сибирскіе охотники часто мѣтятъ свои пули.

— Стой! закричалъ онъ, найдя мѣтку:— покажи-ка свои пули!..

Старикъ снова поблѣднѣлъ и не двинулся съ мѣста.

— Покажи, гдѣ?—кричалъ засѣдатель, обводя уголъ глазами, и самъ сорвалъ съ гвоздя простой охотничій мѣшокъ.

Онъ высыпалъ на ладонь всѣ пули—всѣ оказались съ тѣми же мѣтками.

— А-а-а! — радостно закричалъ онъ.— Кандал-лы!!

. . . . . .

Когда докторъ уѣзжалъ, — онъ уѣхалъ одинъ—его, провожали визгъ и вой сбѣжавшейся родни старика. Старикъ молчалъ, только набожно крестился и тихо плакалъ. Какой-то туманъ заволакивалъ глаза Кожина всю дорогу, такъ что онъ почти не различалъ ничего; за то слухъ его былъ напряженъ чрезвычайно. Даже, подъѣзжая

къ городу, онъ, казалось, явственно слышалъ плачъ и рыданія деревни.

Докторъ сдѣлался какой-то мрачный, такъ что всѣ невольно спрашивали его при встрѣчѣ: „что̀ съ вами“ или „какъ ваше здоровье“. Онъ поблѣднѣлъ, осунулся, никуда не ходилъ, а все возился въ своей больницѣ. На пятый день его зачѣмъ-то потребовали въ полицейское управленіе для какого-то освидѣтельствованія. Онъ явился, быстро сдѣлалъ все, что требовалось, и взялся-было за шапку, какъ его вдругъ остановилъ исправникъ.

— А знаете, тотъ старикъ-то ни при чемъ!—сказалъ онъ, наклоняясь къ нему:— убійца—другой.

— Какъ?—удивился докторъ.

— Да! Самъ пришелъ и повинился. Къ тому же, и свидѣтели показали, что старикъ нѣсколько дней подрядъ не выходилъ изъ дома.

Докторъ почувствовалъ что-то въ родѣ облегченія и удовольствія.

— Какъ же пули-то?

— А очень просто. Убійца взялъ ружье

у старика. Все обнаружилось; да вотъ читайте!

И онъ обязательно подсунулъ ему дѣло.

Докторъ прочиталъ протоколъ допроса. Парень, сирота, 19 лѣтъ, Романъ Петровъ, самъ добровольно сознавался въ убійствѣ поселенца Смирнова. Ружье онъ выпросилъ у старика „пострѣлять“, подстерегъ Смирнова въ лѣсу и убилъ его, имѣя на него злобу за уворованныхъ у него лошадей. Въ заключеніи стояло, что никто его не подговаривалъ, не училъ, не просилъ, а онъ самъ, по своей волѣ, совершилъ преступленіе. Подъ протоколомъ стояли написанные каракулями: „Романъ Петровъ“.

— Ну?—спросилъ исправникъ.

Докторъ не отвѣтилъ, а только пожалъ плечами.

— Сомнѣваетесь? Я и самъ, признаться, того... думаю, не подставной ли. Бываетъ. Я слышалъ, что у нихъ тамъ дѣло міромъ было, по жребію, да что подѣлаешь! Сознаніе, да и показаніе свидѣтелей... Впрочемъ, я еще спрошу его. Приведите арестанта! крикнулъ исправникъ.

Ввели молодаго парня, высокаго, стройнаго, съ блѣднымъ, правильнымъ лицомъ.

Онъ вошелъ смѣло, свободно, безъ всякой робости, съ какою обыкновенно входятъ арестанты. Глаза его, не то голубые, не то сѣрые, свѣтились такою добротой и мягкостью, что какъ-то странно было видѣть его съ конвоемъ.

— Послушай!—обратился къ нему исправникъ: — правду ли ты говоришь? Не берешь ли ты на себя чужую вину? Вѣдь это грѣхъ.

Лицо парня передернуло, глаза его какъ то безпокойно забѣгали, онъ точно вздрогнулъ, но быстро оправился.

— Мой грѣхъ, мое дѣло!

„Нѣтъ!“ промелькнуло молніей въ головѣ доктора.

— Вонъ докторъ говоритъ,—исправникъ указалъ рукою на доктора:—что слышалъ, будто это у васъ мірское дѣло было, по жребію.

Докторъ не спускалъ глазъ съ парня. Парень вздрогнулъ, сильно перемѣнился въ лицѣ, но голосъ былъ спокоенъ, только глаза блестѣли страшной, глубокою ненавистью, когда онъ повернулся къ доктору.

— Зачѣмъ міръ путать, баринъ, одна

напраслина. Никакого мірского дѣла не было;—самъ я... Мое дѣло. Не путай!

Его увели въ острогъ.

Какъ ни старался докторъ разсѣяться, ему часто вспоминались и мольбы старика: „міръ тутъ“, „мірское дѣло“, „безъ грѣха“ и т. д., и блѣдное лицо Романа Петрова, съ его полнымъ ненависти взглядомъ. Сколько разъ ни подъѣзжалъ онъ къ тюремной больницѣ, всегда казалось ему, что Романъ Петровъ смотритъ на него сквозь рѣшетчатое окно втораго этажа. Было ли это дѣйствительно его лицо, или другого арестанта, но докторъ былъ увѣренъ, что это непремѣнно онъ. Ему становилось жутко, и онъ быстро перебѣгалъ тюремный дворъ.

Стоя вѣчно у окна, не удивительно, что Романъ Петровъ достоялся до чахотки. Разъ, когда докторъ былъ въ тюремной больницѣ, четыре человѣка внесли его въ палату, обезсиленнаго, исхудалаго, блѣднаго, съ запекшеюся на губахъ кровью.

Докторъ наклонился къ нему, чтобы изслѣдовать.

— Оставь... не мучай!—глухимъ голосомъ прошепталъ больной.—Оставь.

Доктора покоробило отъ этихъ словъ, но

онъ все-таки выслушалъ его; оказалась чахотка.

— Отдѣльную палату ему!—сказалъ онъ фельдшеру.

— Баринъ, пусти назадъ меня, пусти!—взмолился больной.

— Зачѣмъ? Вѣдь ты боленъ?

— Нѣтъ... такъ только хворость... Перемогусь я тамъ.

— Не могу. Тебѣ лучше будетъ здѣсь, увидишь.

Докторъ говорилъ блѣдный; его что-то мучило, давило, и онъ чувствовалъ себя неловко.

Весь день и всю ночь не давалъ ему покоя блѣдный призракъ Петрова.

На другой день, придя въ больницу, онъ узналъ, что больному хуже, что онъ ничего не слушаетъ, выливаетъ потихоньку лѣкарства и, чуть отвернется сторожъ, карабкается къ окну.

— Зачѣмъ ты это дѣлаешь?—мягко спросилъ его докторъ.

Петровъ молчалъ, только изъ больной груди его выходили съ каждымъ вздохомъ глухіе хрипы.

— Хуже тебѣ?

Докторъ взялъ его руку.

— Оставь, баринъ!—зарыдалъ больной и изъ глазъ его неудержимо покатились слезы:—оставь... пусти!

Докторъ сидѣлъ какъ на иголкахъ.

— Успокойся,—заговорилъ онъ мягко:—успокойся! Тебѣ нужно лѣчиться.

— Зачѣмъ?—глухо спросилъ Петровъ:—все равно пропадешь... Скорѣй бы только... Ахъ!...

— Слушай!—наклонился къ нему докторъ, самъ весь дрожа и ничего не видя отъ какого-то тумана въ глазахъ:—слушай!—прошепталъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Я все сдѣлаю, все, что могу; я... я... слушай! Вѣдь не ты убилъ? Тебя выпустятъ...

Больной вздрогнулъ. Слезы застыли на глазахъ, блеснувшихъ враждой и злобой.

— Баринъ!—его голосъ прерывался хрипами и глухимъ кашлемъ.—Баринъ, не смущай... Не путай!—поправился онъ, приподнимаясь:—мое дѣло это, мое!...

И, обезсиленный, онъ упалъ на подушку.

. . . . . .

Докторъ пустилъ въ ходъ все свое искусство, все знаніе. Не жалѣя собственныхъ средствъ, онъ окружилъ больнаго самымъ тща-

тельнымъ уходомъ, почти изысканнымъ комфортомъ. Но ничто не помогло.

Былъ тихій, лѣтній вечеръ. Сквозь рѣшетчатое окно доносилось, замирая, послѣднее щебетанье птичекъ и чей-то разговоръ на тюремномъ дворѣ. Слышались мѣрные, ровные шаги часоваго. Розовые лучи близкаго заката багрили и золотили бѣлыя стѣны больничной палаты. Докторъ, блѣдный, взволнованный, чуть не плачущій, стоялъ надъ Петровымъ, зорко всматриваясь въ него, и щупалъ пульсъ. Петровъ лежалъ, тяжело дыша, глядя вверхъ безцѣльно, безучастно.

— Не нужно ли чего?—спросилъ докторъ.

— Попа бы!—отрывисто, сухо отвѣчалъ больной, не глядя.

— Я приказалъ... Нѣтъ, для тебя... можетъ еще что-нибудь?—И дрожащею рукой докторъ взялъ его холодную, костлявую руку.

— Ты?—удивленно спросилъ больной.

— Да, я! Я сдѣлаю. Скорѣй! Но что нужно сдѣлать?...

Напоминаніе ли сбо всемъ, что сдѣлалъ для него докторъ, близость ли смерти, или въ тонѣ голоса и глазахъ Кожина было теперь что-нибудь особенное, только больной

въ первый разъ за все время взглянулъ на него безъ вражды, мягкимъ, добрымъ взглядомъ.

— Спасибо! Богъ тебѣ... чуть слышно проговорилъ онъ.

Докторъ сжалъ его руку и сѣлъ, потому что ноги его подкашивались.

— Что́ же?

Худой, костлявою рукой больной вытащилъ изъ-подъ подушки горсточку родной, деревенской земли, завернутую въ грязную тряпочку, и положилъ ее доктору на руку.

— Въ могилку! — чуть слышно прохрипѣлъ онъ.

Кожинъ взялъ ее машинально. У него захватывало дыханіе, а въ глазахъ пошли темные круги.

Петровъ закашлялся. Онъ отвернулъ полу халата и сталъ шарить длинными, худыми пальцами въ подкладкѣ.

— Я помогу!—сказалъ докторъ:—постой! И онъ вытащилъ изъ-подъ подкладки двѣ рублевыя бумажки и бѣлый бумажный платокъ.

— Это?

Больной кивнулъ скорѣй глазами, чѣмъ головой.

— Въ деревнѣ... у насъ...—глухо хрипѣлъ онъ съ тяжелою одышкой: — Аннушкой звать... Се-ли-фон-то-ва...

— Ей?—спросилъ докторъ.

Петровъ опять кивнулъ.

Оба они сидѣли молча, не глядя другъ на друга. Больной смотрѣлъ куда-то въ даль, тупымъ, безучастнымъ взглядомъ, докторъ держалъ его руку и не видѣлъ ничего,—слезы туманили его глаза. Вечеръ догаралъ, стѣны окрашивались въ темный пурпуръ; больной заметался въ безпокойствѣ.

— Попа бы!...

Опять наступило молчаніе. Больной сталъ спокойнѣе и дышалъ легче,—ему точно лучше становилось. Вдругъ онъ повернулъ къ доктору глаза и посмотрѣлъ на него долго и внимательно.

— Слышь?—прошепталъ онъ.

Докторъ нагнулся.

— Его безъ грѣха, слышь, безъ корысти убили...

Докторъ понялъ кого.

— Міромъ,—продолжалъ шепотомъ больной, точно исповѣдуясь и дыша легче, безъ хриповъ:—міръ порѣшилъ, потому обида отъ него была!

Тотъ наклонился еще ниже.

— Не я... не мое дѣло... Я за міръ пошелъ, чтобъ не тягали...

Кожинъ сжалъ его холодную руку.

— За міръ!... Старика жалко было... Семья большая, а я одинъ... только Аннуш-ка...

Умирающій заметался, усиленно глотая воздухъ. Докторъ, вскочивъ, приподнялъ его голову, которая уже плохо держалась на шеѣ.

— За міръ, правдой...—лепетали холодѣвшія губы.

Докторъ очнулся, когда явившійся священникъ сталъ читать отходную...

МЫ ПОБѢДИЛИ.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Засѣдатель открылъ деревню *).

Это было несомнѣнно, хотя мы всѣ сначала сомнѣвались и въ насмѣшку звали его „новымъ Колумбомъ“. Акцизный надзиратель, знавшій толкъ въ „градусахъ“, увѣрялъ, что засѣдатель просто „хватилъ за положеніе“. Въ переводѣ на обыкновенный разговорный языкъ это означало—напиться за предѣлы „мухи“, „слона“ и „зеленаго змія“—всему міру извѣстные стадіи. Мы охотно вѣрили такому остроумному заключенію вполнѣ компетентнаго и во всѣхъ отношеніяхъ почтеннаго человѣка,—вѣрили

---

*) „Открытіе“ неизвѣстныхъ деревень въ Сибири не рѣдкость.

тѣмъ болѣе охотно, что, въ случаѣ дѣйствительнаго „открытія“, засѣдателю, конечно, предстояла „награда“. Мы не были завистливы, но и не любили особенныхъ успѣховъ. Мы хохотали и спрашивали: въ какой части свѣта эта новая деревня?... Болѣе остроумные недоумѣвали, не живутъ ли въ ней „бѣлые арапы“. Нашъ почтенный учитель Арефинъ, шутилъ, что броситъ все нажитое добро и поѣдетъ туда миссіонеромъ. Даже панъ Паклевскій, вѣчно занятый мечтами о расширеніи распивочныхъ предѣловъ, сомнительно покачивалъ головой и иронически спрашивалъ: есть ли въ открытой деревнѣ „питейные“? А нашъ достойный исправникъ положительно „дулся“, естественно возмущаясь самою мыслью о возможности какихъ бы то ни было „открытій“ въ его округѣ... Точно не все было ему извѣстно вдоль и поперекъ, какъ свои пять пальцевъ! Какія такія „открытія?!“... Помилуйте!

И вдругъ деревня оказалась „открытой“, точно золотая жила, каменный уголь или даже Америка!... Оказалась открытою съ домами, съ обывателями, стадами и всѣми прочими аттрибутами деревни. Въ ней пекли

и варили, умирали и множились, работали и отдыхали, творили все человѣческое безъ денегъ, безъ паспортовъ, безъ „управъ“, безъ законныхъ властей, безъ питейнаго. Это было возмутительно и тѣмъ не менѣе несомнѣнно!

Когда существованіе этой, никому доселѣ неизвѣстной, деревни, спрятанной въ глухой тайгѣ и болотахъ, послѣ цѣлаго ряда рапортовъ и „отношеній“, стало фактомъ, въ которомъ сомнѣваться было нельзя, и засѣдателю дѣйствительно была обѣщана награда,—мы, понятно, перестали смѣяться. Шагъ за шагомъ, но быстро, мы перешли въ ликованье и устроили ужинъ съ шампанскимъ и съ тостами. Мы кричали „ура“ и пили за новую деревню, еще никѣмъ, даже самимъ засѣдателемъ, невиданную, извѣстную ему только по „несомнѣннымъ донесеніямъ“. Паклевскій безъ ироніи, въ-сурьезъ, мечталъ о питейномъ и гадалъ, сколько „тамъ“ сорвутъ съ него за приговоръ. Исправникъ не дулся, а „по секрету“ сообщалъ каждому изъ насъ, что давно подозрѣвалъ существованіе въ тайгѣ „шельмецовъ“; но молчалъ по какимъ-то высшимъ соображеніямъ. Мы ликовали до того, что даже забыли о картахъ, спорили,

горячились, упрекали другъ друга за крайній скептицизмъ и наперерывъ поздравляли съ успѣхомъ „новаго Колумба“. Мы качали его „на ура“, какъ тріумфатора, и жалѣли, что у насъ нѣтъ лавровъ. Дамы вдругу перемѣнили свое мнѣніе и стали находить его интереснымъ, увѣряя, что немного выдавшійся задъ и лишній палецъ на рукѣ (говорятъ, дурная примѣта) не портятъ общаго впечатлѣнія. Словомъ, все измѣнилось, всѣ были полны новою деревней, всѣ ликовали, всѣ провели вечеръ въ экстазѣ.

Но всего этого было, конечно, мало. Намъ предстояло еще взять и побѣдить, а это было всего труднѣе. Лѣтописи былыхъ „открытій“ говорили очень краснорѣчиво, что ни одно изъ нихъ не обходилось безъ попытокъ открываемыхъ улизнуть въ дебри, побросавъ дома и пожитки при первомъ приближеніи Колумбовъ. Преданія и кипы архивныхъ донесеній свидѣтельствовали ясно, что „шельмецы“ очень чутки и вѣчно насторожѣ. Бывали примѣры, что являлись на сцену и „колъ“, и „малопульки“. Словомъ, когда прошелъ порывъ экстаза, — въ души закралась забота.

Деревню собственно открылъ или, лучше сказать, выдалъ бродяга, пойманный засѣдателемъ на воровствѣ со взломомъ. За приличное вознагражденіе и, главное, за извѣстное „послабленіе“ онъ и открылъ ему „секретъ“, на который самъ набрелъ случайно, скитаясь и укрываясь по дебрямъ. Съ нашими сомнѣніями мы обратились къ нему, но, привлеченный къ допросу, онъ сказалъ намъ мало успокоительнаго. „Шельмецы“, по его словамъ, были очень свирѣпы. Онъ самъ чуть не поплатился жизнью за то, что набрелъ на нихъ случайно. Многіе требовали „порѣшить“ съ нимъ, боясь измѣны, и только вмѣшательство стариковъ спасло его отъ смерти: онъ присягнулъ на бѣломъ еловомъ крестѣ, что останется у нихъ навсегда.

— Отчего же ты ушелъ отъ нихъ?—спросили мы въ одинъ голосъ.

— Потому—идолы!

— Какъ?

Мы недоумѣвали.

— Идолы, говорю! Житье анаѳемское: ни тебѣ веселья, цыгарки тамъ чтобъ, али вина—и не въ заводѣ-съ! Отъ дѣдовъ не

знаютъ. Никакихъ весельевъ нѣтъ. Словомъ какимъ обмолвишься—грѣхъ!... Тоска-съ!!

— Можетъ, голодъ?

Это спросилъ секретарь. Онъ вѣчно былъ голоденъ.

— Помилуйте-съ, какой голодъ-съ! Всего вдоволь. Хлѣба не впроворотъ будетъ. Птица тамъ всякая, рыба, скотина. Потому съ согласу все у нихъ. Работаютъ сообща, семейственно. Старикъ какъ бы отецъ, значитъ, правитъ.

— Бога истиннаго признаютъ ли?—возвысилъ голосъ Ареѳинъ.

— По ихнему-съ... Старовѣры.

— То-то!

Ареѳинъ сокрушенно вздохнулъ, но его перебилъ исправникъ, ретивый поборникъ „своевременныхъ поступленій“ и „взносовъ“.

— Съ достаткомъ, говоришь?

— Богатѣи, вашескородіе!

Мы были возбуждены до послѣдней степени и напрягали всѣ силы, чтобы рѣшить трудную задачу покоренія. Какъ устроить, чтобы „шельмецы“ не разбѣжались, чтобы накрыть ихъ на мѣстѣ? За пустую, покинутую деревню никто и спасибо не скажетъ.

Главное—накрыть. Дикаря, живущаго „безъ закона“, нужно сдѣлать полезнымъ обывателемъ.

Къ счастью, среди насъ былъ талантъ, военный геній, стратегъ и тактикъ. Начальникъ мѣстной команды, никогда не посѣщавшій никакихъ академій, представилъ проектъ, который позволилъ намъ заранѣе торжествовать побѣду. Планъ былъ блестящій, отважный и смѣлый. Мы салютовали ему хлопаньемъ пробокъ и сладостнымъ звономъ бокаловъ. Все дѣло было въ томъ, чтобы обождать морозцевъ, когда затянетъ болотца, и затѣмъ нагрянуть внезапно со всѣхъ сторонъ.

Оставалось распредѣлить роли, но это обдѣлалось живо. Исправникъ взялъ себѣ сѣверъ, мнѣ поручили западъ, засѣдателю востокъ, а югъ отдали стряпчему. Въ интервалѣ тянулась цѣпь конной стражи, подъ предводительствомъ самого стратега.

Мы ждали только морозцевъ.

II.

А тамъ, за семью озерами, за туманами вѣчныхъ топей, въ глуши изумрудной кедровой тайги, дѣвственной и чистой,—тамъ

насъ, конечно, не ждали. Мы были правы, полагая, что тамъ живутъ безъ боязни и о насъ совсѣмъ позабыли. Сто лѣтъ, прожитыхъ безмятежно деревней, выросшей изъ скита, построеннаго нѣкогда бѣжавшими „мірскаго грѣха“ фанатиками и, очень можетъ быть, даже дезертирами,—прошли недаромъ. Деревня жила безъ тревоги и опасеній, нисколько не думая объ „открывателяхъ“. Она ихъ не знала сто лѣтъ и безмятежность перешла въ нравы, привычку. Въ „давности“ они видѣли свое право, въ преступномъ укрывательствѣ—подвигъ, въ своей грубой, первобытной, замкнутой, некультурной жизни—законъ.

Понятно, что, какъ всѣ дикари, они были страшно упорны въ своей груоости и ненависти къ „свѣту“. За цѣлыхъ сто лѣтъ, не смотря на скуку и монотонность, ни кто ниразу не выказалъ даже поползновенія столкнуться съ нашимъ міромъ культуры или дать намъ знать о своемъ существованіи. Они вполнѣ довольствовались своей тайгой, своимъ „обчествомъ“, своими самотканными рубахами и „самобитными“ зипунами. Съ нихъ было довольно, что имъ свѣтятъ солнце, луна и звѣзды. Они жили тамъ,

какъ кроты, какъ птицы, какъ рыбы. Они не знали ни законовъ, ни торга, ни денегъ, не умѣли ни покупать, ни продавать. Они отрицали „обязанности“ чувство долга смѣшивали съ „внутреннимъ побужденіемъ“ и работали только для того, чтобы не умереть съ голоду. Добывая все сами, своими руками, они и потребляли все сами.

Это была дикая, первобытная жизнь и, какъ у всѣхъ дикарей отъ Африки до Полинезіи, регулировалась только обычаемъ и преданіемъ. Руководителемъ и хранителемъ этихъ преданій былъ у нихъ восьмидесятилѣтній Провъ, надъ которымъ стоялъ только деревенскій міръ. „Міръ“ назывался у нихъ „поильцемъ-кормильцемъ“; онъ надѣлялъ всѣхъ и всѣмъ, такъ какъ все у нихъ велось „собча“. Дальше своего таёжнаго міра они ничего знать не хотѣли и отдали бы за него все на свѣтѣ.

Нашу жизнь, нашу культуру, наши порядки, наше благоустройство они звали „грѣхомъ“, а насъ—„черными воронами“. Отсюда ясно, что они не отказывали въ пріютѣ бродягамъ и инымъ нарушителямъ законовъ. Они селили ихъ у себя, но съ условіемъ оставаться въ тайгѣ до смерти. По

ихъ понятіямъ, это были не преступники, а „божіи люди“, гонимые долей, споткнувшіеся подъ тяжелымъ, не подъ силу, крестомъ.

Многое изъ этого мы узнали только впослѣдствіи, но предварительныя понятія, довольно вѣрныя и точныя, далъ намъ обо всемъ нашъ почтеннѣйшій, ветхій годами и мудрый опытомъ, отставной судья Подюбкинъ, нѣкогда самъ принимавшій участіе въ подобномъ же открытіи. Вынувъ табакерку и щелкнувъ по ней пальцами, онъ закончилъ какъ-то особенно выразительно:

— Д-да-съ, доложу вамъ, судари мои, сущіе дикари-съ!

— Помилуйте-съ! Это цѣлое status in statu!—сказалъ стряпчій, любившій щеголять латинскими терминами.

— А по-нашему просто подлецы!—спокойно, съ внушительнымъ достоинствомъ, отрѣзалъ ему исправникъ, не любившій выскочекъ съ латинскими терминами.

— А корень-то, корень?—мягко вмѣшался Ареѳинъ, нѣжно склонивъ на бокъ голову.—Корень-то гдѣ, Сидоръ Карпычъ, корень?—Въ непокорствѣ-съ!

Онъ, какъ всегда, сокрушенно вздохнулъ, и затѣмъ наступила тишина. Мы всѣ соби-

рались съ мыслями. Марья Львовна приготовляла бутерброды, засучивъ рукава выше локтей. Я самъ видѣлъ, какъ стряпчій пожиралъ глазами эти чудныя пухлыя руки съ розовыми локтевыми ямочками... Но вдругъ она повернула къ намъ свое личико со вздернутой, какъ у мышонка, губкой и закричала:

— Ахъ, не у нихъ ли мои ложки?

Бѣдная, она никакъ не могла забыть своей пропажи, своихъ серебряныхъ ложекъ, и разстаться съ надеждой найти покражу. Она вездѣ видѣла воровъ и укрывателей. Поклевскій, который всегда юлилъ, какъ бѣсъ, и предупреждалъ другихъ,—и тутъ опередилъ насъ.

— Присягаю, же знайду!

Онъ сталъ на колѣно, а Марья Львовна всадила ему бутербродъ, смѣясь и скаля свои зубки.

Одинъ только „стратегъ“ глубокомысленно и упорно молчалъ; онъ любилъ подражать Мольтке, но иногда подражалъ и Суворову. Онъ сидѣлъ молча, ни на кого не глядя, точно ничего не слыша, и сопѣлъ своею трубкой. Мы уже спорили о томъ, какъ намъ поступить съ „таёжниками“, и

предлагали разныя мѣры, какъ онъ вдругъ выпалилъ, точно изъ пушки:

— Сквозь строй!

— Несовременно-съ!— улыбнулся стряпчій.

— Какъ-съ?

— Незаконно-съ!—стряпчій насмѣшливо дрыгалъ ногой, заложивъ руку въ карманъ.

— Почему-съ?

Между ними завязался горячій споръ о наказаніяхъ „по существу“ и навѣрное кончился бы трагически для немного легкомысленнаго стряпчаго, такъ какъ стратегъ началъ волноваться и сжимать въ рукѣ чубукъ, еслибы не вмѣшался въ дѣло исправникъ, по праву хозяина. Собраніе было у него.

— Оставьте, господа, пустяки... Вотъ выбрали время для споровъ! Я вотъ не знаю, что̀ дѣлать... какъ намъ ѣхать туда? Свободныхъ кандаловъ у насъ мало!...

— *Сво-бод-ныхъ* кандаловъ?..—съехидничалъ зоилъ-докторъ, выливая въ рюмку послѣднюю каплю хереса.

Это отвлекло спорщиковъ, всѣ засмѣялись.

— Ну, ну, — погрозилъ, шутя, исправникъ,—знаю: либералъ отпѣтый!...

— Но не перепитый?—и докторъ взялся за мадеру.

— Но опасный! — подхватила Марья Львовна, среди общаго взрыва смѣха.

— Для полныхъ бутылокъ и мягкихъ сердецъ!

Онъ былъ положительно милъ, нашъ докторъ.

Это было наше послѣднее собраніе предъ экспедиціей, — морозцы уже подоспѣли. Взбунтованныя милѣйшею Марьей Львовной, всѣ дамы увязались за нами. Муза Кондратьевна, наша львица, даже училась стрѣлять изъ револьвера и я направлялъ ея ручку въ носовой платокъ,—она все старалась научиться такъ, чтобы попадать „прямо въ сердце“. Было рѣшено, что дамы поѣдутъ за нами вслѣдъ, „съ припасомъ“, и послѣ „покоренія“ мы устроимъ пикникъ въ тайгѣ. Дамы были въ восторгѣ и весело кричали, что на снѣгу должно выйти очень пріятно, если съ коврикомъ!... Онѣ не боялись ни тайги, ни трудовъ, ни лишеній.

III.

Мы летѣли верхомъ, съ гикомъ и звономъ, опережая въ быстротѣ самый вѣтеръ. Земля гудѣла отъ копытъ нашихъ коней, звонъ бубенцовъ заглушалъ карканье вороньихъ тучъ. Воздухъ дрожалъ и колебался отъ нашихъ кликовъ. Съ востока летѣлъ засѣдатель и эффектно махалъ шашкой, съ сѣвера—исправникъ съ проводникомъ-бродягой, съ юга—подвыпившій стряпчій, съ запада — я съ Ареѳинымъ. Картина была торжественная, эффектная, величественная.

Мы мчались уже деревней, отъ периферіи къ центру. Копыта коней, мѣрно ударяясь о мерзлую землю, наполняли воздухъ точно барабаннымъ боемъ. „Тра-та-та, тра-та-та“... раздавалось кругомъ, какъ въ тревогѣ. Малиновый звонъ колокольчиковъ и бряцанье бубенцовъ сливались съ этимъ боемъ въ какой-то особенной, сильно щекотавшей нервы, гармоніи. Возбужденіе наше росло; мы видѣли уже другъ друга. Стряпчій что-то кричалъ, воображая себя на каѳедрѣ. Исправникъ крутилъ усъ, засѣдатель зачѣмъ-то вынималъ револьверъ... Еще ми-

нута, и сверкнули бляхи „интервала“: бѣлый конь стратега яркимъ пятномъ вырѣзался на сине-зеленой листвѣ кедровъ.

Ни звука. Кругомъ было все пусто,—деревня точно вымерла.

Мы только теперь опомнились, пришли въ себя. Въ страстномъ волненьи мы и не замѣтили, что влетѣли въ пустую деревню. Мы ждали криковъ, раскаянія, мы чаяли видѣть толпу, поверженную въ смятеніе и трепетъ, но ничего этого не было. Кругомъ все было пусто и мертво.

Первымъ пришелъ въ себя исправникъ.

— Р-ракальи!—не выдержалъ онъ.

Насъ взяла оторопь, насъ ошеломила эта мертвая тишина и безлюдье. Они и разбрестись не могли,—за это ручалась цѣпь стражи, ручался наконецъ самъ стратегъ.—Ошеломленный не меньше насъ, онъ только горячилъ свою бѣлую кобылу и махалъ нагайкой, ругаясь и клянясь, что выкопаетъ всѣхъ изъ-подъ земли. Но куда же они дѣвались? Провалились сквозь землю?

По спинамъ пробѣжалъ морозъ... А что если они за плетнями притаились, какъ крысы на чердакахъ, въ амбарахъ,—и на насъ направлены эти страшныя „малопуль-

ки“, что бьютъ въ носъ бѣлку и въ самый глазъ медвѣдя? Засѣдатель и стряпчій юркнули за лошадь. Стратегъ прильнулъ къ шеѣ своей кобылы, точно поправляя трензель. Исправникъ зашелъ за толстый, старый кедръ. Ареѳинъ... я... Но насъ всѣхъ скоро выручилъ зоркій, находчивый Поклевскій. Онъ увѣрялъ, что былъ въ „повстаньѣ“, и потому знаетъ всѣ выходы и входы.

— Якъ Бога кохамъ, они въ подпольяхъ!—закричалъ онъ не своимъ голосомъ и, желая ободрить насъ и показать примѣръ, быстро направился къ первой избѣ.

— *Отъ* видите ничего! — сказалъ онъ, ставъ за плетнемъ и ловко раскланиваясь съ нами оттуда.

Мало-помалу мы пришли въ себя. Первымъ опомнился стратегъ. Онъ бросилъ свой трензель, выпрямился и, бодро покручивая усъ, крикнулъ по-воински:

— Мал-лла-децъ, господинъ Поклевскій!

— Рады *стараца*, отецъ *камандеръ*!

Поклевскій быстро взялся за козырекъ своего кепи и такъ ловко щелкнулъ каблуками, точно всю жизнь былъ адъютантомъ.

Стратегъ пріятно улыбнулся. Ошеломленья его какъ ни бывало. Высокая, мужественная грудь порывисто поднималась, глаза сверкали, ноздри слегка вздувались; вся фигура дышала отвагой, жизнью и страстью. Нервно покручивая усъ, онъ наклонился изъ деликатности къ исправнику, какъ къ старшему, держа „подъ козырекъ“:

— Позволите?

— Сдѣлайте милость! — Тотъ, конечно, понялъ и оцѣнилъ эту деликатность:—Сдѣлайте милость,—теперь мы вполнѣ принадлежимъ вамъ!..

Они двинулись. Поклевскій маршировалъ впереди и выдѣлывалъ руками, точно барабанилъ. Онъ шутилъ, но намъ было не до смѣха.

Прошла минута, двѣ, три... Наши сердца тревожно бились. Кругомъ царила тишина; шумъ мѣрныхъ, тяжелыхъ шаговъ наступавшихъ замеръ въ отдаленьи. Мы сами молчали и точно прислушивались къ ударамъ собственнаго ускореннаго пульса. Напряженіе было страшное; съ каждой секундой оно становилось невыносимѣе, жутче, болѣзненнѣе, точно земля уплывала изъ-подъ ногъ. Исправникъ вытянулъ шею, стряпчій

стоялъ неподвижно и насвистывалъ „стрѣлочка“, Ареѳинъ вздыхалъ. Вдругъ мы ожили, встрепенулись и какъ-то сразу успокоились. Прямо противъ насъ, изъ-за высокаго плетня, показалось радостное, улыбающееся лицо Поклевскаго.

— *Естъ!*—крикнулъ онъ изо всей мочи.

И въ унисонъ съ его крикомъ, и какъ бы въ подтвержденіе, тотчасъ же кругомъ поднялась страшная суматоха, раздались крики и вопли... Бабій плачъ и отчаянный дѣтскій визгъ превратили царившую тишину въ какой-то чисто-адскій концертъ... Все засуетилось, пришло въ смятеніе... За плетнями, за заборами шла какая-то отчаянная возня, точно цѣлый громадный табунъ лошадей брыкался съ ожесточеньемъ. Еще минута, въ теченіе которой общій гамъ все усиливался,—и на улицу стали выскакивать бабы, ребята, а за ними рослые, дюжіе мужики.

— А-г-а-а!—взвизгнулъ исправникъ, топчась на одномъ мѣстѣ.

Но мы не могли издать и такихъ звуковъ,—мы просто оцѣпенѣли отъ избытка нахлынувшихъ чувствъ.

Одинъ только засѣдатель нашелся и вспомнилъ нужное слово.

— Л-л-о-ви! — закричалъ онъ, бросаясь орломъ.

VI.

Не ушелъ ни одинъ.

На деревенской площади стоялъ цѣлый адъ. Выли бабы, дѣвки и ребята. Мужики, мрачные, какъ лѣсные звѣри, молчали и какъ-то тупо смотрѣли въ землю. Можетъ-быть, они жалѣли теперь о своемъ паническомъ ужасѣ, который загналъ ихъ въ подполье. По крайней мѣрѣ, каждый разъ, когда кто-нибудь изъ нихъ поднималъ глаза,—на мертвенно блѣдныхъ, смуглыхъ лицахъ я читалъ невыразимое ожесточеніе. Мнѣ показалось, что нѣкоторые изъ этихъ лѣсныхъ звѣрей плакали, но всѣ стояли понуро, мрачно, тяжело дыша, какъ взволнованное, припертое къ оградѣ, стадо. Да, какъ стадо, — молчаливо, напряженно, съ глазами устремленными въ одну точку, ожидая только внѣшняго толчка, чтобы броситься впередъ лбомъ. Казалось, что грозы не миновать!.. Она чувствовалась въ воздухѣ, виднѣлась въ лицахъ, сквозила въ об-

щемъ напряженіи и тревогѣ... Но пока дѣло шло еще на словахъ:

— Черные вороны! — неслось съ одной стороны.

— Чего налетѣли, чего?— вторили другіе.

— Мало вамъ мѣста, что-ль, мало?

— Насъ не трогай!... Н-ѣ-ѣ-тъ!

Шумъ, вой и ругань шли crescendo. Все бо́льшая злоба слышалась въ отдѣльныхъ восклицаніяхъ... Мнѣ показалось, что толпа раскачивается, какъ раскачивается таранъ, прежде чѣмъ ударить. Я не разъ подмѣчалъ это движеніе, это раскачиванье въ бушующей толпѣ,—она какъ бы набираетъ въ немъ силъ и энергіи. Становилось какъ-то неловко, натянуто, тяжело, даже жутко,—точь-въ-точь какъ предъ настигающею въ степи бурей. Вотъ, вотъ, казалось, что-то разразится, грянетъ сразу, оглушитъ, какъ громъ...

Но вдругъ все смолко, точно застыло въ ожиданіи. Всѣ взоры обратились въ одну сторону.

Прямо къ намъ надвигался старикъ. Надвигался, а не шелъ,—до того трудно ступалъ онъ своими неуклюжими старческими ногами. Онъ ступалъ, какъ медвѣдь, тяжело, грузно, точно осѣдая за каждымъ шагомъ.

Бѣлая борода по поясъ развѣвалась по обѣ стороны, какъ у Моисея на картинахъ. Его согнутая въ дугу, сутуловатая, фигура качалась, точно отъ вѣтра, при каждомъ шагѣ. Когда онъ подошелъ ближе, мы увидѣли почти столѣтнее, сморщенное лицо. На этомъ лицѣ слезились, а можетъ-быть и плакали сѣрые, еще живые глаза.

Это былъ Провъ.

Подойдя къ намъ вплотную, онъ остановился. Его сухая, впалая, вогнутая, точно лопата, грудь неровно, какъ-то скачками, дышала. Старикъ беззвучно шамкалъ посинѣлыми, старческими губами, точно жевалъ что-то, и оглядывалъ насъ всѣхъ, немного щурясь. Казалось, всматриваясь, онъ ловилъ или искалъ чего-то въ нашихъ напряженныхъ лицахъ. Мы, дѣйствительно, напряженно слѣдили за каждымъ его движеніемъ,— онъ точно приковалъ насъ къ себѣ. Мы стояли молча, не двигаясь, въ какомъ-то тупомъ столбнякѣ или гипнозѣ, не находя ни словъ, ни выраженій, ни мыслей. Нужно было что-нибудь особенное, какой-нибудь толчокъ, движеніе, какой-нибудь звукъ, чтобы вывести насъ изъ оцѣпенѣнія. Старикъ помогъ намъ. Онъ вдругъ поклонился въ поясъ.

Это привело насъ въ себя.

— Ты какъ смѣлъ?

Исправникъ остановился. Въ волненьи онъ употребилъ свой любимый стереотипный вопросъ и не зналъ теперь, что́ сказать дальше. Онъ понялъ, что началъ не такъ.

— Ты!... а?...

— Зачѣмъ скрываетесь?—подсказалъ находчивый Поклевскій.

— Д-д-да, зачѣмъ, а?...

Теперь исправникъ напалъ на слѣдъ. Вопросы: зачѣмъ, почему и какъ?—такъ и сыпались.

Но старикъ все шамкалъ, все шамкалъ.

— Кто ты?

Исправникъ дрожалъ въ понятномъ негодованіи.

— Рабъ Божій... Божій рабъ... — повторилъ тотъ дребезжащимъ, старческимъ голосомъ. Это были его первыя слова.

— Бога-то истиннаго признаешь ли, какъ должно?—мягко вмѣшался Ареѳинъ.

Старикъ не отвѣтилъ. Онъ пристально посмотрѣлъ на него и степенно перекрестился двумя перстами.

— То-то!—вздохнулъ сокрушенно Ареѳинъ, но его перебилъ Поклевскій.

— А начальство признаешь?

— Д-д-да, — быстро подхватилъ исправникъ,—признаешь?

Старикъ, вмѣсто отвѣта, какъ-то неуклюже потоптался на мѣстѣ. Такъ топчется поднявшійся на дыбы медвѣдь, прежде чѣмъ броситься на охотника. Было ясно, что онъ съ чѣмъ-то собирался.

— Слушай,—началъ онъ съ трудомъ, обводя насъ глазами и точно ловя, подбирая слова,—слу-шай! Отъ міра я пришелъ. Вотъ... За весь міръ прошу! Шшш!—обернулся онъ къ бабамъ, махнувъ на нихъ рукой, когда тѣ снова завыли, разжалобленныя его рѣчью. Шшш!... — Бабы замолчали и Провъ опять заговорилъ къ намъ.—Сто годовъ мы здѣся, почитай и болѣе. Отъ отцовъ живемъ такъ— по завѣтамъ — смирно, семейственно, по Писанію... Д-д-а! Только солнышко Божье къ намъ сюда отъ васъ ходитъ... Сами мы здѣсь... міромъ живемъ, согласомъ,—по своей по волѣ... Д-д-а!.. Уходите, отколѣ пришли... Нѣтъ вамъ нашего согласу... Нѣтъ!— закончилъ онъ вдругъ рѣзко, возвысивъ голосъ до крика.—Нѣтъ!

Этого, повидимому, только и ждала тол-

па. Она вспыхнула, какъ сухая солома, какъ порохъ.

— Нѣтъ согласу, нѣтъ!—подхватили ближайшіе, а за ними, какъ эхо, и вся площадь.—Ступайте, отколѣ пришли... Нѣтъ!

— М-м-ол-чать!—крикнулъ стратегъ внѣ себя.

Старикъ замахалъ руками и снова все смолкло. Онъ обернулся къ намъ взволнованный, почти красный, причемъ тяжело дышавшая грудь его хрипѣла.

— Не даетъ міръ согласу, не хочетъ... Мы по себѣ, мы васъ не знаемъ,—продолжалъ онъ,—стараясь говорить особенно убѣдительно.—Отъ дѣдовъ мы по себѣ живемъ... Таежники! Тайга-матушка кормитъ и одѣваетъ. Уходите!... Мы—по „Божьи", по старинѣ... Мы грѣха не знаемъ... Мы, какъ птица: гдѣ захочетъ, тамъ и гнѣздо вьетъ. Кто ей запретъ положитъ? Божья тайга и мы Божьи,—тутъ казны отъ вѣковъ не слыхать. Нѣтъ! Насъ не возьмешь,—мы опять уйдемъ, все равно, что вѣтеръ. Какъ ты его поймаешь? Тайга-матушка—она наша!

Онъ долго продолжалъ бы еще на эту тему, еслибъ его не перебили.

— Взять!—опомнился наконецъ исправ-

никъ, — пораженный неслыханною дерзостью.

— Стой, что брать-то! Дай ска-за-ать!— зашамкалъ старикъ, когда къ нему подскочилъ засѣдатель съ двумя стражниками;— стой, пусти! Нѣтъ, слышь, у насъ золота... ничего! Хлѣбушка одинъ, что Богъ родитъ. да скотинка... Все берите! Берите, слышь, себѣ... Насъ только...

— Взять!

Но старикъ вырвался и повалился въ ноги. Его длинная, сѣдая борода покрыла лакированные ботфорты засѣдателя. Онъ обнялъ ихъ руками и зарыдалъ. Плечи его вздрагивали. Плачъ былъ совершенно дѣтскій.

— Насъ, насъ, насъ!...—вырывалось у него изъ груди вмѣстѣ съ рыданіемъ.

Но его подняли за руки, чтобы увести.

Тогда старикъ сталъ вырываться. Какъ всѣ дикари, быстро переходящіе отъ одного ощущенія къ другому, часто совершенно противоположному, и онъ мгновенно преобразился. Прежняго молящаго, просящаго вида—какъ не бывало Вмѣсто мольбы, въ глазахъ стояла ярость; мягкій, задушевный тонъ перешелъ въ хрипъ бѣшенства. Бо-

рясь, онъ весь трясся отъ злобы и наконецъ сталъ задыхаться, такъ-что проклятья, ругань, угрозы—слились у него въ безсвязное бормотанье.

— Ну же!—торопила его стража.

Но тутъ произошло что-то особенное. Поглощенный весь этою сценой со старикомъ, я стоялъ истуканомъ, не обращая вниманія на толпу, хотя вся площадь уже ревѣла и двигалась. Гамъ стоялъ невообразимый, гдѣ-то кричали: „Стой!“ „Держи!...“ Поднялась сутолока. Вдругъ эта сутолока приблизилась къ намъ и возлѣ старика пошла какая-то отчаянная возня.

— Братцы, за одинъ!—раздалось въ воздухѣ и затѣмъ затрещали плетни, точно ихъ ломали, забѣгали, засуетились люди. Возлѣ, совсѣмъ близко, виднѣлись свирѣпыя, разъяренныя рожи. Я помню вдругъ сверкнувшій выстрѣлъ, пущенный, вѣроятно, для острастки, отъ грохота котораго я содрогнулся. Другой, третій. Въ глазахъ блеснула узкой, синею полоской стальная шпага. Еще какое-то движеніе, какіе-то крики, еще возня и я совсѣмъ не помню, какъ очутился въ глубокой чащѣ лѣса вмѣстѣ съ Ареѳинымъ.

V.

Пикникъ нашъ удался великолѣпно. Наши дамы устроили все на славу: пироги, пирожки, закуски—все было отмѣнно. Вина было вдоволь. Марья Львовна выходила просто изъ себя, какъ хозяйка, стараясь угодить всѣмъ; Муза Кондратьевна, ея главная помощница, конечно, тоже не отставала. Обѣ онѣ были прелестнѣе, чѣмъ когда-нибудь въ своихъ шубкахъ. Стряпчій юлилъ, какъ бѣсъ, и завидовалъ Поклевскому, который вездѣ поспѣвалъ раньше его.

Мы давно уже успокоились и праздновали побѣду. Маленькій эпизодъ буйства и звѣрства со стороны дикарей не оставилъ никакихъ слѣдовъ на нашемъ расположеніи. Все было улажено, устроено, усмирено и мы отдыхали въ покоѣ. Мы всѣ ликовали и почти забыли обо всемъ.

Я стоялъ у самаго края чудеснаго бухарскаго ковра, на которомъ возсѣдали въ необычайно граціозныхъ позахъ наши милыя дамы. У Марьи Львовны виднѣлась изъ-подъ бѣлой гофрированной оборки маленькая, плотно охваченная лайкой, ножка и я, признаться, не могъ отвести онъ нея

глазъ. Засѣдатель ерзалъ, а стряпчій даже сопѣлъ и взвизгивалъ. Шампанское насъ всѣхъ настроило великолѣпно, да къ тому же дамы были милѣе обыкновеннаго. Глаза сверкали, щеки пылали, съ полуоткрытыхъ, точно въ сладкой истомѣ, устъ срывались какія-то отрывистыя фразы, которыя тонули въ шумѣ веселаго вальса. Привезенный оркестръ — двѣ скрипки и контрабасъ — гудѣлъ на славу, впервые отъ сотворенія міра оглашая эти дѣвственныя дебри звуками страусовской мелодіи. Но я стоялъ, какъ очарованный, не сводя глазъ съ ножки.

— Анатомируете?—съехидничалъ шепотомъ докторъ.

Я покраснѣлъ и не зналъ, что отвѣтить. Марья Львовна высунула еще дальше свою ножку. Стряпчій толкалъ меня въ бокъ и подмигивалъ. Онъ просто ржалъ.

— Вальсъ, господа, вальсъ!

Мы подхватили дамъ и понеслись кружиться по мерзлой, твердой какъ камень землѣ, лавируя между стволами старыхъ кедровъ. Я начиналъ забывать весь міръ. Марья Львовна повисла у меня на плечѣ и ея горячее дыханіе жгло мнѣ лицо. Ея глаза были влажны и немного закатывались.

Чудныя ноздри слегка раздувались, ротъ былъ полуоткрытъ. Я сжималъ ея талью все сильнѣе и сильнѣе,—что-то въ ней, во всей ея стройной фигурѣ, бодрило меня, надѣляло смѣлостью. Я слышалъ, что ея сердце стучало мнѣ: да, да, да. Мы отлетѣли уже далеко, такъ что даже голосъ ея мужа долеталъ до насъ урывками. Но вдругъ...

Тутъ произошло что-то особенное, нежданное. Музыка вдругъ оборвалась, поднялся невообразимый гамъ и суета, сквозь которые явственно раздавались призывные крики: „господа, господа!“ и „скорѣй!“ Когда мы примчались, то увидѣли, что всѣ бѣгутъ куда-то въ неописанномъ волненіи, сломя голову. Куда, зачѣмъ? Тучный исправникъ сопѣлъ, засѣдатель повторялъ только:—скорѣй, скорѣй! Дамы, которыя бѣжали, приподнявъ сзади юбки, вкрикивали: ахъ, ахъ!—а стряпчій все старался бѣжать такъ, чтобы не терять изъ глазъ мелькавшія въ бѣлыхъ чулкахъ икры. Смятенье было полное.

Пока мы бѣжали, дѣло немного разъяснилось. Оказалось, что трое изъ арестованныхъ за буйство и старикъ-фанатикъ

Провъ успѣли развязаться и, пользуясь небрежностью стражи, бѣжали. Трое исчезли, но старика еще можно было нагнать. Онъ не могъ уйти далеко.

Деревню окружали небольшіе пустыри, ровные, почти безлѣсные, если не считать нѣсколькихъ группъ кедровъ, разросшихся тамъ и сямъ... За пустырями тянулась тайга... Но съ одной стороны ровный пустырь примыкалъ къ глубокому скалистому ущелью, тянувшемуся среди цѣлой цѣпи скалъ и высокихъ скалистыхъ холмовъ, поросшихъ, какъ и самое ущелье, мелкимъ кустарникомъ и какою-то ползучею зарослью... Бѣглецы выбрали именно этотъ путь, между прочимъ, и затѣмъ, чтобы не бѣжать деревней, полной стражи. Ихъ разсчетъ былъ вѣренъ,—въ скалистыхъ оврагахъ скрываться было легко, а за скалами опять шла дремучая тайга. Стоило только прокарабкаться версты полторы, перевалить черезъ скалы, спуститься внизъ и зайти въ тайгу, а тамъ, понятно, поминай какъ звали!...

Нужно было не жалѣть силъ.

Верхомъ по ущелью скакать было нельзя и мы бѣжали изо всей мочи, до того, наконецъ, что не въ шутку устали. Скалы,

ущелья, щебень, камни отбивали всякую охоту къ преслѣдованью. Къ тому же, намъ пришлось карабкаться почти на отвѣсную скалу, такъ какъ обхода мы не видѣли. Въ особенности, конечно, устали дамы. Марья Львовна страшно запыхалась и еле держалась на своихъ ножкахъ, повиснувъ на моей рукѣ... Она тянула уже всѣхъ назадъ.

— *Естъ!* раздался вдругъ въ воздухѣ знакомый акцентъ.—Сюда, панове.

Этотъ радостный окрикъ прогналъ всю усталость и удесятерилъ силы. Мы какъ-то сразу окрѣпли. Когда мы выбрались изъ зарослей — мы увидѣли сіявшаго Поклевскаго.

— *Отъ, отъ, отъ!*—кричалъ онъ не своимъ голосомъ, прыгая отъ восторга на мѣстѣ и протянувъ впередъ руку.

Прямо противъ насъ, впереди, куда онъ указывалъ, виднѣлась какая-то фигура. Но мы не могли еще разглядѣть ее хорошо.

— Якъ Бога кохамъ!—билъ себя Поклевскій въ грудь, подмѣтивъ наше сомнѣнье:— Якъ Бога кохамъ, онъ!

Мы мчались. Кто-то дѣйствительно шелъ впереди, качаясь и тяжело, грузно ступая... Но шелъ, а не *бѣжалъ*, какъ бы слѣдовало.

Близкая опасность должна была бы придать бодрости и силъ самому усталому человѣку. Это и охлаждало наше рвеніе, и подзадоривало... Что за притча?... Кто бы это могъ быть?... Мы кричали: „стой!“— но шедшій даже не оборачивался.

— А цо? — спросилъ вдругъ Поклевскій на-бѣгу, когда фигура обозначилась явственнѣе.

Къ его безконечному торжеству, мы должны были сознаться, что онъ былъ правъ... Впереди, дѣйствительно, двигалась знакомая фигура Прова. Но отчего же онъ шелъ такъ ровно, спокойно, а не бѣжалъ. Мы просто таращили глаза въ недоумѣньи.

— А, до ста дьябловъ!

Поклевскій чуть не оборвался. Прямо передъ нашими ногами была бездонная пропасть... Бездна сажени въ двѣ шириною, отдѣляла нашу скалу отъ той, по которой шелъ старикъ. Загадка его спокойствія— разъяснилась.

Дѣло казалось пропащимъ.

VI.

— Улизнулъ! — крикнулъ чуть дыша, почти плача,—исправникъ, добѣжавъ до края.

— Вотъ тебѣ и закуска!—Засѣдатель въ отчаяньѣ хлопнулъ себя по бедрамъ.

Дамы негодовали. Сопровождавшіе насъ люди стояли, вытянувшись, въ недоумѣніи и ожидая приказаній. Одинъ Поклевскій рыскалъ, ругаясь и ища прохода.

— Нема!—крикнулъ онъ наконецъ съ ожесточеніемъ:—шельма ушелъ ущельемъ и прямо выцарапался на скалу. Нужно въ обходъ.

Въ обходъ—значило назадъ. Спуститься съ нашей скалы здѣсь, чтобы миновать ущельемъ пропасть, и взобраться на ту скалу было невозможно. Склоны шли почти отвѣсно.

Мы были въ отчаяньи и совсѣмъ не знали, что намъ дѣлать. Идти назадъ, когда тайга была отъ старика шагахъ всего во ста, казалось безсмысленнымъ. Тѣмъ не менѣе, засѣдатель, стряпчій и люди бросились назадъ искать обхода ущельемъ.

— Ахъ!—заскрежеталъ зубами Поклевскій, бросая о земь свое кэпи и самъ падая за нимъ.

Исправникъ топалъ ногами. У насъ и языки не поворачивались. Наше горе было ужасно.

Старикъ тоже внезапно остановился и, къ удивленію, сѣлъ. Очевидно, онъ сильно усталъ, да къ тому же, вѣроятно, чувствовалъ себя въ полной безопасности. Тайга была на ладони, а кто же пошелъ бы за нимъ въ безконечную дремучую тайгу, въ которой онъ несомнѣнно зналъ всѣ тропы? Но добраться до нея было все-таки нелегко, даже и молодымъ ногамъ. Требовалась большая осторожность и ловкость спуститься внизъ по неровнымъ, скользкимъ уступамъ скалы. Старикъ это зналъ и потому сѣлъ, чтобы собраться съ силами.

Онъ сидѣлъ на своемъ, почти неприступномъ островѣ, обнявъ колѣни руками, свѣсивъ голову и даже не глядя, точно вовсе не интересуясь нами. Можно было подумать, что это не бѣглецъ, а простой путникъ, отдыхающій съ дороги. Онъ даже не поднималъ головы. Исправникъ грозилъ ему пальцемъ, Поклевскій посылалъ сотни чертей, дамы вслухъ выказывали негодованіе на его нахальство, а онъ точно не слышалъ, не видѣлъ. Это спокойствіе, эта безмятежность, почти насмѣшливая, презрительная, только усиливали наше негодованіе. Мы испытывали то, что долженъ испытать

каждый охотникъ, давшій промахъ по птицѣ, когда она кружится и крякаетъ надъ нимъ, пока онъ долженъ заряжать свое ружье.

Но, вдругъ все измѣнилось быстро и, казалось, безповоротно... Произошло то, чего не ждали ни мы, ни старикъ,—о чемъ мы даже не гадали. Въ понятномъ волненіи, мы совсѣмъ забыли, что стратегъ и докторъ съ людьми поскакали верхами изъ деревни къ тайгѣ дальнею объѣздною дорогой. Мы не вѣрили своимъ ушамъ, когда заслышали ихъ топотъ... Но не прошло и полминуты, какъ на опушкѣ показался бѣлый конь стратега...

Старикъ заслышалъ топотъ въ одно время съ нами. Что почувствовалъ онъ, осталось для насъ тайной, такъ какъ лица его мы разглядѣть не могли, но онъ живо обернулся. Впереди, за скалой, на зеленой опушкѣ лѣса, куда онъ такъ жадно стремился, гдѣ сосредоточивались всѣ его надежды, уже спѣшивались люди, чтобы карабкаться къ нему на скалу.

Проворно, точно юноша, бѣглецъ вскочилъ на ноги. Мы притаили дыханіе... Что онъ предприметъ? Теперь онъ всецѣло на-

поминалъ травимаго звѣря и быстро озирался по сторонамъ, точно ища или соображая выходъ. Такъ простоялъ онъ въ нерѣшительности нѣсколько секундъ, колеблясь или рѣшаясь. Впередъ, въ тайгу, идти было нельзя... Куда же? Въ нашу сторону идти онъ не могъ... Налѣво со скалы не было спуска,—стѣна была почти отвѣсна. Спуститься можно было только справа, съ той стороны, по которой онъ и взобрался, пробираясь ущельемъ. Значитъ, назадъ. Такъ же спокойно, ровно, такъ же медленно, грузно ступая, направился онъ туда.

Нами опять овладѣло отчаяніе... Нетерпѣливыми криками мы торопили стратега и его людей, но они были еще далеко и карабкаться имъ было трудно. На нашихъ глазахъ разбивались всѣ наши ожившія надежды,—старикъ уходилъ... Мы чувствовали, что спустись онъ въ ущелье, онъ для насъ пропалъ. Зная всѣ тропы, лазейки, выходы и входы, онъ бы легко могъ спрятаться или даже добраться до тайги какими-нибудь окольными обходами. Онъ подошелъ уже къ краю... Поклевскій положительно рвалъ на себѣ волосы. Марья Львовна судорожно сжимала мою руку. Еще секунда—онъ опустилъ правую

ногу и сталъ спускаться, опираясь рукою о камень... Мы слышали, какъ шуршалъ щебень. Сомнѣнія не было, онъ уйдетъ!

Но вдругъ онъ какъ будто вздрогнулъ... Вздрогнулъ весь, всѣмъ тѣломъ, и остановился, замеръ, какъ пораженный громомъ... Правая нога его оставалась все такъ же вытянутой, рука опиралась о камень, но онъ не двигался. Онъ точно всматривался... Но куда?

Мгновеніе, и все разъяснилось... Въ ущельи двигались черныя точки: это мчались засѣдатель, стряпчій и люди, бросившіеся назадъ, въ обходъ.

Сердца наши вновь забились... Груди могли издавать только безсвязные звуки. Чувствовалась уже близкая развязка.

Онъ, кажется, самъ сознавалъ это. Нѣсколько мгновеній старикъ оставался неподвиженъ, въ какой-то нерѣшительности, точно соображая, но затѣмъ быстро поднялся. Онъ вытянулся во весь ростъ и казался великаномъ. Стоя неподвижно на скалѣ, онъ наклонилъ голову, точно всматривался въ ущелье. Вѣтеръ развѣвалъ его бороду на двѣ части.

— Скорѣй, скорѣй, скорѣй! —кричали мы, размахивая носовыми платками.

Старикъ стоялъ все такъ же неподвижно. Онъ понималъ, что игра кончена, что выхода ему нѣтъ, что онъ пойманъ. Съ трехъ сторонъ были наши, съ четвертой, налѣво, пропасть, почти вѣрная смерть... Неужели же онъ направится къ ней?

Да, онъ направился туда.

— Не уйдешь!—крикнулъ ему смѣясь исправникъ.

Но тотъ даже не обернулся. Онъ шелъ прямо, ровно и спокойно, такъ же грузно осѣдая при каждомъ шагѣ, не обращая вниманія на наши крики. Но у края, глянувъ внизъ, онъ вдругъ остановился.

Старикъ отступилъ на шагъ и оглянулся во всѣ стороны. На западѣ висѣлъ красный раскаленный шаръ солнца. Оно не грѣло уже, а только багрило тучи, тайгу, скалы и его... Его длинная бѣлая борода казалась совершенно розовой. Нѣсколько секундъ смотрѣлъ старикъ на солнце, но вдругъ повернулся къ востоку и важно, степенно перекрестился разъ, другой, третій,—каждый разъ съ поклономъ.

Въ царившей тишинѣ явственно разда-

вался уже топотъ бѣжавшихъ и взбиравшихся со стороны тайги. Старикъ стоялъ все такъ же неподвижно, прислушиваясь, хотя можно было подумать, что онъ молится. Онъ, казалось, совсѣмъ спокойно, невозмутимо ждалъ своей погони. Да и что могъ бы онъ сдѣлать?

На скалу взбирались... Тогда старикъ быстро упалъ на землю. Длинными, сухими руками схватилъ онъ стебли какой-то ползучей лозы, росшей у самаго края и скользнулъ въ пропасть... Онъ повисъ на рукахъ и сталъ шарить правою ногой выступа въ стѣнѣ. Онъ нашелъ его, потому что сталъ двигать лѣвой. Черезъ мгновенье, лѣвая нога тоже утвердилась. Тогда старикъ пустилъ лѣвую руку и повисъ на одной правой, все также держась за стебли. Упираясь свободной рукою въ камень, онъ опустился ниже и сталъ шарить ногами новаго выступа. Мы видѣли, какъ судорожно болтались его ноги... Онъ качался весь, и только одна бѣлая точка,—рука, которою онъ держался, оставалась неподвижною... Но вдругъ ея не стало и, прежде чѣмъ дамы успѣли взвизгнуть, до насъ донесся глухой звукъ паденья.

— Ну, что?—крикнула Марья Львовна доктору, когда онъ, взобравшись на скалу, наклонился надъ тѣмъ мѣстомъ.

— Кот-ле-та!

Докторъ шутилъ по обыкновенію, но онъ былъ правъ. Старикъ Провъ разбился въ дребезги.

VII.

Я получилъ повышеніе и уѣхалъ въ сосѣднюю область. Только черезъ три года удалось мнѣ посѣтить старыя мѣста и побывать въ открытой деревнѣ. Она имѣла уже свое имя, ее назвали „Таежной“. Въ тайгѣ была прорублена широкая просѣка... По топямъ были проложены мосты и гати. Вообще все быстро измѣнилось къ лучшему до неузнаваемости... Все было ново. Когда я въѣзжалъ въ деревню, мой слухъ пріятно поразили веселые звуки гармоники... Кругомъ шло веселье и пѣли пѣсни... Бабы сверкали кумачомъ и цвѣтными платками, вмѣсто прежней грубой пестряди. Больше всего меня поразилъ красивый, съ балкончикомъ, новый домикъ, на которомъ какъ жаръ горѣла яркая вывѣска: „распивочно“...

Въ дверяхъ стоялъ Поклевскій и весело кивалъ мнѣ головою.

— Живете?

— Живемъ!—весело отвѣтилъ онъ.—Ко мнѣ на карты!

Я, конечно, обѣщалъ. Теперь я спѣшилъ къ сборной избѣ, гдѣ уже ждалъ меня докторъ. Улица полна суеты и движенья. Бабы и дѣвки щелкали орѣшки и лукаво улыбались... Парни въ яркихъ красныхъ рубахахъ смотрѣли весело и бодро... Тамъ и сямъ звучали гармоники и разносились веселыя пѣсни.

За полштофчикъ сладкой водки
Перерѣжу хоть три глотки...
Любо, хорошо...
Ай,—любо хорошо!—

заливался чей-то весьма пріятный теноръ.

СОНЪ ОДНОГО ЗАСѢДАТЕЛЯ.

(Сибирская сказка.)

Давно это было,—такъ давно, что и сказать трудно,—еще въ то приснопамятное время, когда на свѣтѣ не было „строгихъ ревизій“, когда все кругомъ шло иначе и сами засѣдатели были иные, на нынѣшнихъ совсѣмъ непохожіе.

Съѣхалисъ разъ засѣдатель, докторъ и стряпчій, какъ водится, на слѣдствіе по дѣлу о „мертвомъ тѣлѣ“ и начали, какъ въ такихъ случаяхъ было положено, съ картъ и „очищенной“; послѣдняя, какъ извѣстно, появилась на свѣтъ чуть ли не вслѣдъ за „грѣхопаденіемъ“. Пьютъ это они и играютъ, играютъ и пьютъ,—другъ

дружкѣ ремизы ставятъ, взятки даютъ, — анъ дѣло и къ ночи пошло, спать захотѣлось... Хоть они и „весьма усердными“ начальствомъ своимъ почитались, а все-жъ, поди, и имъ отдыхъ-то полагался... Какъ-ни какъ, а вмѣсто жестокихъ романсовъ, которые распѣвалъ стряпчій съ такимъ чувствомъ, сталъ онъ выдѣлывать носомъ рулады, несомнѣнно свидѣтельствовавшія, что человѣкъ далеко не бодрствуетъ... Послушалъ докторъ, послушалъ, да и самъ захрапѣлъ съ полуштофомъ въ рукѣ... Одинъ засѣдатель никакъ заснуть не могъ. Ворочался это онъ на постели, ворочался, съ боку на бокъ переваливался, и глаза закрывалъ, и уши затыкалъ, — нѣтъ сна, да и только! Въ избѣ было душно и жарко, храпъ заснувшихъ раздражалъ и безпокоилъ, голова трещала, въ вискахъ точно кузнецы на спѣхъ работали,—и ощупью, не слыша подъ собою земли, еле держась на ногахъ и шатаясь, выползъ засѣдатель изъ душной избы на воздухъ.

— Тутъ-то, дастъ Богъ, засну! — подумалъ онъ и легъ подъ старымъ, угрюмымъ ведромъ.

На дворѣ стояла глубокая лѣтняя ночь.

Свѣжій, теплый воздухъ ласкалъ какъ-то особенно мягко,—точно бархатъ прикасался къ лицу. Зеленые верхи старыхъ, угрюмыхъ кедровъ, качаясь, о чемъ-то шептали другъ другу, и ихъ нѣжный шепотъ усыплялъ и баюкалъ, какъ нянина сказка. Яркія божьи звѣзды горѣли, переливаясь радугой, въ темномъ, почти синемъ эфирѣ. Во всемъ и вездѣ царила какая-то чудная нѣга, сладкая истома лѣтней сибирской ночи, насквозь проникавшая засѣдательское тѣло. Онъ лежалъ неподвижно, всматриваясь въ какую-то далекую звѣздочку, пока глаза его сами собой не стали слипаться, въ головѣ не спуталось, не подернулось все туманомъ.

Долго ли, коротко ли лежалъ такъ засѣдатель,—Богъ его знаетъ!—только вдругъ видитъ: передъ нимъ матерой волкъ стоитъ,—стоитъ, хвостомъ машетъ, глазищами поводитъ, да прямо ему въ лицо зубами щелкаетъ. Вотъ-вотъ кинется... Обомлѣлъ засѣдатель: хочетъ бѣжать, — силъ нѣту; крикнуть хочетъ „караулъ“, голосу нѣтъ.

— Что̀ скажешь?—началъ было онъ свой стереотипный вопросъ, какимъ всегда встрѣчалъ просителей, и насилу договорилъ отъ страха, да и то въ концѣ поперхнулся.

А волкъ все стоитъ надъ нимъ въ самой наглой позѣ, стоитъ да зубами щелкаетъ и глазищами водитъ. Щелкалъ - щелкалъ, водилъ - водилъ, да наконецъ и отвѣтилъ дерзко:

— А съѣсть тебя, засѣдатель, хочу, вотъ что!—и такъ защелкалъ зубами, такъ засверкалъ глазищами, что бѣднаго засѣдателя въ перемежку три раза морозомъ прошибло и три же раза въ потъ бросало.

Какъ-никакъ, а съ жизнью — куда не весело разставаться, особенно засѣдателю. Ужасъ,—страшный, неописуемый ужасъ,— охватилъ несчастнаго, сковалъ ему члены и сдавилъ горло... Но острое чувство самосохраненія взяло-таки свое, и онъ взмолился:

— Волкъ, а волкъ, голубчикъ... не ѣшь, не губи меня, помилуй!

— Не могу, братъ, не прогнѣвайся,— спокойно отвѣтилъ волкъ:—съ какой стати мнѣ отъ добычи моей отказываться, что я за дуракъ такой! Развѣ ты, засѣдатель, кого миловалъ, отъ добычи отказывался, а?— вспомни-ка!

Такъ-то оно было — такъ, а все-таки крѣпко не хотѣлось засѣдателю самому добычей явиться.

— Я тебѣ душу свою запишу! — пошелъ онъ торговаться.

Волкъ только хвостомъ махнулъ и какъ-то особено презрительно.

— Что мнѣ въ твоей душѣ истрепанной?—сказалъ онъ насмѣшлило.—Да и какая у тебя, у засѣдателя, душа-то!

Но засѣдатель продолжалъ молить такъ жалобно, что въ концѣ концовъ разжалобилъ волка. Тотъ призадумался.

— Вотъ что,—сказалъ онъ наконецъ, надумавшись:—душа твоя пусть останется при тебѣ, а ты мнѣ свое засѣдательство подай, на томъ тебя и помилую.

Какъ ни хотѣлось жить засѣдателю, однако такое необычное предложеніе смутило-таки его.

— Какъ это—засѣдательство? А я-то съ чѣмъ останусь, какъ буду? — нерѣшительно выговорилъ онъ.

— А себѣ какъ хочешь, такъ и живи,— мнѣ-то что? Говорю: подай засѣдательство,—и подавай, а не то аминь! Я буду засѣдателемъ, а ты—чѣмъ себѣ хочешь... Коли надоѣстъ по свѣту валандаться, приходи на это самое мѣсто, да и кликни ме-

ня,—я сейчасъ прибѣгу и отдамъ тебѣ твое... Но тогда ужъ слопаю!

Призадумался бѣдняга. Крѣпко не хотѣлось ему съ засѣдательствомъ разставаться, да жизнь все-таки милѣе показалась. Согласился,

— Бери!—сказалъ онъ наконецъ, вздохнувъ, и махнулъ рукой.

— То-то, давно бы такъ!—сказалъ волкъ и стащилъ съ засѣдателя все, что на немъ было, даже усы и бакенбарды снялъ. Перевернулся разъ, другой черезъ голову, — и сталъ капля въ каплю настоящимъ молодцомъ-засѣдателемъ. Дунулъ затѣмъ на засѣдателя, и тотъ совсѣмъ преобразился: на любого изъ людей похожъ сталъ, только не на себя. Ахнулъ несчастный, глядя на такое превращеніе, а волкъ-самозванецъ крякнулъ, подбоченился, выругался и сказалъ:

— Только чуръ, слушай,—уговоръ лучше денегъ!... Я обязуюсь ни въ чемъ твоихъ порядковъ не измѣнять: какъ ты засѣдательствовалъ, такъ и я буду во всемъ до послѣдней мелочи,—а ты не проговаривайся, не то быть бѣдѣ!...

— Ладно!—вздохнулъ засѣдатель.

Свиснулъ волкъ и, откуда ни возьмись,

появилась тройка „земскихъ“ съ малиновымъ колокольцемъ. Вскочилъ волкъ, хлопнулъ ямщика, по-заведенному, раза два въ зубы,—для памяти,—и былъ таковъ.

А засѣдатель лежитъ, какъ мать родила, подъ старымъ кедромъ, лежитъ и думу думаетъ. И холодно ему, и голодъ мучить начинаетъ, а пуще всего страхъ донимаетъ. Что онъ теперь дѣлать станетъ, какъ жить будетъ? Кто его пригрѣетъ, кто приласкаетъ, куда онъ голову свою приклонитъ?... Жилъ онъ до сихъ поръ засѣдателемъ, а теперь бобылемъ безпаспортнымъ оказался; всѣмъ самъ командовалъ, а теперь самому подъ команду идти придется... Да еще волкъ обѣщалъ ни въ чемъ порядки имъ заведенные не мѣнять, а зналъ онъ эти порядки,—охъ, зналъ хорошо!—за что его „лютымъ“ прозывали... Морозъ подираетъ по кожѣ засѣдателя,—онъ почти и жизни не радъ сталъ. „Господи,—думаетъ онъ,—вотъ кабы нанесло на меня мою засѣдательшу... Положимъ, она меня не признáетъ,—теперь волка проклятаго за меня принимаетъ,—да все же у нея сердце доброе, мягкое,—пожалѣла бы меня нагаго, прикрыться дала бы чѣмъ, а то и подвезла бы“!...

Глядь, а засѣдателева молитва и услышана... Прямо по дорогѣ плетется тарантасъ на земскихъ, а въ немъ пухлая засѣдательша покачивается, — съ крестинъ ѣдетъ.

— То-то, чай, отъ волостныхъ писарей подарковъ везетъ!—забывшись, чуть не облизнулся засѣдатель, да вспомнилъ, что все это не про него уже, и вздохнулъ тяжко.

— Матушка,—взмолился онъ,—смилуйся, дай что-нибудь... Ограбили меня, прохожаго, злые люди...

— А ты жалуйся!—резонно отвѣчала засѣдательша, когда тарантасъ остановился на его крики.

— Да ты дай, кормилица, чѣмъ наготу прикрыть...

— Всякому не напасешься, прости Господи!—отвѣтила засѣдательша.—Нѣтъ у меня ничего про тебя,—не припасено!...

— Да вѣдь сердце-то у тебя доброе!—молилъ засѣдатель.

— Доброе-то доброе, да опять не про тебя... Трогай, чего зазѣвался!—крикнула засѣдательша на кучера.

Тарантасъ тронулся, а бѣдный засѣдатель слезами залился. Вспомнилъ, что самъ

же онъ выучилъ засѣдательшу свою—не жалѣть никого, вымуштровалъ на свой ладъ. А сердце-то у нея, какъ у всякой женщины, было сначала дѣйствительно мягкое и доброе, къ людямъ жалостливое, да самъ же онъ ненавидѣлъ и преслѣдовалъ въ ней эту жалостливость. Еще за часъ всего онъ бы только похвалилъ ее, а теперь?—И проклялъ засѣдатель самого себя.

Лежитъ онъ, все лежитъ и думаетъ, кто бы такой выручилъ его, помогъ ему... Перебиралъ имена знакомыхъ, перебиралъ, да вдругъ и вспомнилъ...—Деруновъ! Кто—какъ не онъ! Добрѣйшій купчина,—вмѣстѣ дѣла дѣлывали, да еще и какія! Вотъ на прошлой недѣлѣ усмирялъ онъ, засѣдатель, рабочихъ его, когда тѣ, канальи, вѣрнаго разсчета потребовали!... Господи,—взмолился засѣдатель,—нашли на меня Дерунова!

Глядь—и эта молитва его услышана. Только-что успѣлъ онъ ее вымолвить, а по дорогѣ громадный тарантасъ „на своихъ" плетется, и въ немъ толстый-претолстый купчина похрапываетъ. Храпитъ—и сквозь сонъ барыши высчитываетъ.

— Батюшка, отецъ родной, помоги!—закричалъ во всю мочь засѣдатель.

Тарантасъ остановился. Купецъ протеръ глаза, оглянулся пугливо кругомъ и выхватилъ изъ кобуры револьверъ, но убѣдившись, что пока нѣтъ никакой опасности для кармана, опять его спряталъ.

— Чего тебѣ? Кто такой будешь?—спросилъ онъ, сурово, подозрительно оглядывая засѣдателя.

— Видишь, голый!—молилъ тотъ.—Прохожій я человѣкъ, да ограбили меня злые люди... Выручи... Одѣнь!... Дай, чѣмъ срамъ-то свой прикрыть!...

— Ишь ты... Стану я всякому прощалыгѣ подавать!—съ насмѣшкою отозвался купецъ.—Нѣтъ, братъ, не таковскій я, не на такого напалъ... Самъ для себя всякъ припасай—вотъ мой законъ!

— Довези хоть до жилья!—плакалъ засѣдатель.

— И лошадей для тебя морить не стану... Трогай!

Уѣхалъ купецъ Деруновъ, а бѣдный засѣдатель слезами заливается... Точь, въ-точь такъ и самъ бы онъ поступилъ раньше, а Дерунову бы похвалу высказалъ за то, что нищенства-де не поощряетъ... А теперь?... И вновь проклялъ себя, бѣдняга. Ахъ, если-

бы онъ все это раньше предвидѣлъ, еслибы только зналъ! Отчаяніе, жгучее отчаяніе, овладѣло несчастнымъ, и онъ уже собрался было звать волка, да заслышалъ грохотъ телѣги.

— Ну, слава Богу,—подумалъ онъ,—можетъ Господь кого и пошлетъ добраго.

Въ телѣгѣ ѣхалъ дюжій мужикъ Пахомъ, славный работникъ, хорошо извѣстный всему крещеному люду округа. Но какъ только завидѣлъ его засѣдатель, такъ и схватился за волосы. Еще вчера сорвалъ онъ съ него, Пахома, ни за что, ни про что, четвертную, а недѣлю тому назадъ задаромъ проморилъ его въ каталажкѣ, пока тотъ не откупился коровой. Ну, какъ же теперь просить у него помощи?...—Господи,—воскликнулъ только засѣдатель,—за что такое на меня испытаніе! Эхъ, кабы я зналъ раньше, да развѣ бы я...

Но, къ его крайнему удивленію, даже страху, Пахомъ и безъ его мольбы остановилъ лошадей, какъ только его завидѣлъ. Долго всматривался онъ въ сконфуженнаго засѣдателя, старавшагося, по какому-то непонятному побужденію, не глядѣть ему въ глаза, и наконецъ спросилъ:

— Что за притча, сердешный... Видать, ограбили?...

— Ограбили, братанъ! — еле вымолвилъ засѣдатель.

Пахомъ покачалъ головой и оглянулся кругомъ.

— Все это отъ засѣдателя нашего пошло. Такіе порядки развелъ лютый, что кругомъ одно грабительство идетъ, прости Господи! Совсѣмъ законъ забылъ!—сказалъ Пахомъ.

Зналъ засѣдатель,—охъ!—зналъ, сколько правды въ словахъ Пахомовыхъ, и впервые застыдился. Молчитъ только, глазами хлопаетъ.

А Пахомъ сталъ шарить въ телѣгѣ и вытащилъ грубый, но теплый зипунъ.

— На,—сказалъ онъ, подавая его засѣдателю,—одѣнь: холодно, чай... Да садись, подвезу... обогрѣешься у меня!

Съ восторгомъ, просто себѣ не вѣря, схватилъ засѣдатель теплый зипунъ и вскочилъ въ телѣгу. Слезы, какія-то благодатныя слезы, еще невѣдомыя, неизвѣданныя, давили его, и онъ чуть не обнялъ Пахома. Ему даже какъ-то захотѣлось покаяться, признаться во всемъ Пахому, да вспомнилъ угрозу волка: „быть бѣдѣ“—и только вздох-

нулъ. Эхъ, еслибы онъ раньше все это зналъ, кабы предвидѣлъ только!..

А Пахомъ погналъ лошадей и, когда они отъѣхали немного, повернулся къ нему и спросилъ:

— Не здѣшній, чай?

— Не здѣшній, братанъ,—чужой... Работы ищу!—отвѣтилъ ему засѣдатель.

— И работа найдется... Тутъ купецъ Подлевскій на заводъ намеднись людей спрашивалъ кули таскать... Вотъ и иди!

Пахомъ замолчалъ и, тольки подъѣзжая къ избѣ, опять повернулся къ засѣдателю.

— Ты, братанъ, слышь, жаловаться-то не вздумай!—сказалъ онъ ему.

— А что?—спросилъ засѣдатель.

— Да напасть одна съ твоей жалобой-то выйдетъ... Лютый онъ у насъ, засѣдатель... Безъ денегъ онъ ничего тебѣ,—еще виноватымъ сдѣлаетъ. Меня, вонъ, вчерась, задаромъ пощипалъ... Брось, не ходи!

И вновь облилось засѣдателево сердце жгучимъ стыдомъ,—чувствовалъ онъ, что Пахомъ говоритъ правду.

Обогрѣлся бѣдняга-засѣдатель на Пахомовыхъ палатяхъ, подкрѣпился чѣмъ Богъ

послалъ,—Пахомъ, правду сказать, не скупился для нежданнаго, Богомъ посланнаго гостя, даже повеселѣлъ немного. Ну, что-жь, думалъ онъ, — какъ-никакъ, а пробьюсь; можетъ, еще и въ люди вылѣзу, — все же лучше, чѣмъ у волка на зубахъ хрустеть!—усмѣхнулся онъ и пошелъ искать работы.

На заводъ его приняли. Сметливый заводчикъ сразу смекнулъ, что дѣло выгодно,—парень голодный, холодный, да еще и безпаспортный. Такимъ всегда половинная цѣна, а работа двойная. Принялъ засѣдателя кули таскать по гривнѣ ассигнаціями, да фунтъ хлѣба въ сутки,—работать безъ отдыха. Воды не жалѣлъ,—воды сколько хочешь!

Только вздохнулъ засѣдатель, да дѣлать было нечего,—голодъ не тетка. Къ тому же, раньше-то, самъ онъ такую методу на заводахъ поддерживалъ; чуть лишь заупрямится рабочій,—пожалуется хозяинъ, онъ сейчасъ въ каталажку тащитъ, безъ разговору. А каталажку-то завелъ онъ у себя особенную: съ морозцемъ да съ дымкомъ,—однимъ словомъ, лютую!

Таскаетъ онъ кули, таскаетъ, бѣдняга,—

потъ градомъ льетъ, спина ноетъ, изъ глазъ слезы сами собой брызжутъ. Проклинаетъ несчастный трудовое рабочее житье и крѣпко жалѣетъ, что не завелъ раньше въ округѣ такихъ порядковъ, чтобы не истязали рабочихъ черезъ силу неимовѣрной работой, какъ и законъ требуетъ. Легче бы тогда было ему кули-то тоскать!.. Ну, да что теперь подѣлаешь?.. Еле дышетъ бѣдняга.

Глядитъ на него заводчикъ, глядитъ да и думаетъ: какъ бы съ него еще чего-нибудь да повыжать. Безпаспортный вѣдь, съ нимъ что хочешь, то и дѣлай,—все равно, что не человѣкъ. Остановилъ онъ его, надумалъ:

— Эй, братецъ, что-то, погляжу, ноша у тебя легкая будетъ по силѣ-то. Куля, видать, тебѣ одного мало,—тащи за разъ два!—кричитъ.

Обомлѣлъ засѣдатель.

— Батюшка,—завопилъ онъ,—куда мнѣ два куля-то, я и подъ однимъ свѣта не вижу!..

— И не надо, братецъ, тебѣ его видѣть,—зачѣмъ тебѣ... Твое дѣло только кули таскать, и тащи!

— Батюшка, отецъ родной, помилуй!—вопитъ засѣдатель.

— Не Богъ я и не царь,—отвѣчаетъ хо-

зяинъ,—что же мнѣ тебя миловать... Не мое это дѣло! Коли хочешь таскать,—работай; не хочешь,—убирайся!

Зло разобрало засѣдателя. Какая-то непонятная обида,—точно за поруганное человѣческое достоинство,—охватила его, защемила въ груди. Глаза его загорѣлись, губы задрожали.

— Христіанской души въ тебѣ нѣтъ,—не лошадь я!—рѣзко, весь дрожа, выпалилъ онъ ему сквозь стиснутые зубы.

— Души н-ѣ-ѣ-тъ! Ннн-е л-о-о-шадь! Вотъ погоди же, лѣнтяй,—покажу я тебѣ душу,—стой!—И дюжею рукой вцѣпился ему хозяинъ въ загривокъ.

Въ первый разъ пришлось подобное поруганіе на долю несчастнаго засѣдателя, и онъ не выдержалъ... Вскипѣлъ, взревѣлъ, да какъ толкнетъ купчину „подъ микитки", такъ тотъ и отскочилъ на сажень, какъ мячъ.

Но тутъ-то и пошла бѣда. На крикъ хозяина выбѣжали всѣ прикащики,—кто съ метлой, кто съ дубинкой,—и накинулись на бѣднягу засѣдателя. Хорошо еще, что на смерть не убили, но все же еле живаго потащили къ засѣдателю-волку.

А проклятый волкъ встрѣтилъ его точь-въ-точь, какъ и онъ встрѣчалъ приводимыхъ. Такъ и накинулся:

— А-а, бунтовать, мерзавецъ, — такой сякой сынъ!? — даже слова выговорить не даетъ.

— Ваше-скородіе!—взмолился засѣдатель, низко кланяясь, какъ и ему раньше кланялись, — помилуйте, не виноватъ я, видитъ Богъ, не виноватъ! По два куля тащить заставлялъ сразу, а послѣ еще драться полѣзъ!

— Такъ тебѣ и надо, ррракалья! — кричитъ волкъ, топая ногами. —Въ каталажку его!

Точь-въ-точь, какъ и онъ когда-то.

— Да погляди, ваше-скородіе... Я весь избитъ, какъ есть въ кровь!—молитъ слезно засѣдатель.

— Такъ и слѣдуетъ, разбойникъ! Въ каталажку!

— Отецъ-милостивецъ, да вѣдь законъ бить не позволяетъ!

Въ первый разъ вспомнилъ бѣдняга, что есть на свѣтѣ законъ,—вспомнилъ только теперь. Да солоно же ему досталось.

— Законъ, а... законъ, говоришь? Погоди

же, покажу я тебѣ законъ!.. Вотъ тебѣ законъ, вотъ тебѣ законъ!—ревѣлъ волкъ, тузя избитаго засѣдателя.

Вспомнилъ бѣдняга, что онъ самъ также „законъ“ показывалъ, и, зарыдавъ навзрыдъ, опять себя проклялъ.

Потащили его въ каталажку съ морозцемъ да съ дымкомъ, которую онъ самъ и выстроилъ... Охъ, зналъ онъ ее,—хорошо зналъ,—да только не думалъ бѣдняга, не зналъ одного, что на себя же ее и выстроилъ... Знай только,—да онъ бы ее дворцомъ сдѣлалъ. Ну, да что теперь подѣлаешь! Плачетъ онъ, плачетъ, себя клянетъ, а на волка не ропщетъ. За что?—самъ виноватъ.

И сидитъ онъ день, сидитъ другой, въ холодѣ да голодѣ... Ни маковой росинки во рту за два дня не бывало... Посадили его въ „секретную“, такъ что другіе арестанты, имъ еще посаженные, и дѣлиться съ нимъ не могли. Завылъ бѣдняга съ голоду, да и вспомнилъ, что арестантамъ кормовые полагаются. Вспомнилъ, обрадовался, побѣжалъ сейчасъ къ дверямъ и зоветъ сторожа Кондрата.

— Такъ и такъ,—говоритъ ему,—кормовые мнѣ, потому—по закону полагаются!

Тридцать лѣтъ служилъ Кондратъ при каталажкѣ сторожемъ, а не помнилъ ни разу, чтобъ арестанту деньги выдавались. Пошелъ къ волку.

Прибѣжалъ волкъ съ пѣной у рта, даже дрожитъ весь, слова выговорить не можетъ. Только и кричитъ одно: Кор... кор... кор...— да задыхается. Наконецъ-таки выговорилъ:

— Задай-ка ему, Кондратъ, кормовыхъ, да хорошихъ!

И сталъ задавать ему Кондратъ кормовые, да со всего маху, какъ и при немъ это заведено было. На всю недѣлю, кажись, долженъ бы сытымъ остаться!.. Даже слова не выговорилъ бѣдняга, только рукой махнулъ.

Сидитъ онъ дольше, все сидитъ, и хотѣлъ бы уже волка звать, да не можетъ... По условію, въ лѣсъ выйти надлежало,—на то самое мѣсто, гдѣ уговоръ былъ. Отощалъ бѣдняга, животъ подвело, кости выперло, а глаза подъ лобъ ввалились. Такъ и померъ бы, не сиди онъ теперь въ „общей“, гдѣ имъ же посаженные арестанты съ нимъ хлѣбомъ дѣлились, что родные носили. Только этотъ

хлѣбъ опять-таки ему въ горло не шелъ: больно ужь арестанты засѣдателя бранили, на его голову всякія бѣды звали, лютымъ прозывали. Чувствовалъ засѣдатель, что они правы, и не тянулась его рука за ихъ хлѣбомъ. — Вотъ гдѣ отозвались ему людскія слезы!

И сталъ онъ со слезами Кондрата просить, чтобы тотъ его выпустилъ. Помнилъ, что Кондратъ при немъ всецѣло этимъ завѣдывалъ, значитъ, по условію съ волкомъ, и теперь такъ должно быть. Позвалъ Кондрата,—тотъ не перечилъ, только денегъ запросилъ.

— Да ничего нѣту у меня, милостивецъ!—взмолился несчастный засѣдатель.

— А нѣтъ ничего, такъ и сиди!

Точь-въ-точь, какъ при немъ. И еще разъ проклялъ себя засѣдатель.

Надоѣла ему жизнь хуже горькой рѣдьки. Сдѣлалъ онъ петлю, да и давай вѣшаться. Но Кондратъ но допустилъ.

— Не смѣй,—говоритъ,—это не полагается!—и зуботычину еще далъ:—Ишь, что выдумалъ!

Однако сжалился надъ нимъ.

— Неужто,—спрашиваетъ,—у тебя род-

ни-то никакой нѣту, чтобы выкупить тебя могли?

— Нѣтъ, ни душеньки нѣтъ!—отвѣтилъ засѣдатель.

— Правда, безпаспортный... Съ тебя, видно, не выжмешь много... Давай все, что ни есть на тебѣ, да иди себѣ съ Богомъ... Милостивъ я къ тебѣ!

— Да въ чемъ же я пойду? — удивился засѣдатель, а Пахомъ далъ ему платье все новое, хорошее.

— Есть у меня старая пестрядь,—дамъ тебѣ... Все же прикроешься!—отвѣтилъ Кондратъ.

Вздохнулъ засѣдатель, а ни слова не сказалъ, потому — узналъ свои порядки. Скинулъ зипунъ, рубаху, сапоги, порты, — все новехонькое, что Пахомъ подарилъ,—надѣлъ рваную пестрядь и пошелъ.

Шелъ онъ, шелъ, и набрелъ на пріискъ, а тамъ какъ разъ рабочихъ нанимали. Сталъ наниматься и онъ, и задатка, какъ водится, потребовалъ. Приняли съ охотой, да, какъ безпаспортному, сейчасъ полцѣны и сбавили. Дали бутылку воды пополамъ съ водкой,

зипунъ, рубаху, сапоги, и приказали за это въ полученіи ста рублей расписаться.

— Какъ, сто рублей?!—всплеснулъ засѣдатель руками,—за все это вмѣстѣ самая красная цѣна 10 рублей будетъ.

— Твоя воля,—отвѣчаютъ ему:—не хочешь, не бери; ступай себѣ съ Богомъ, откуда пришелъ!

Что было дѣлать,—не помирать же съ голоду! Расписался засѣдатель и снова клясть себя сталъ, что заводилъ и поддерживалъ такіе порядки на пріискахъ вопреки закону.

Живетъ онъ день на пріискѣ, живетъ другой,—еле дышетъ. Работа, какъ есть, каторжная, а кормятъ всякою падалью, да и то впроголодь. Не вмоготу стало бѣдному и, какъ на грѣхъ, вспомнилъ онъ въ третій разъ про „законъ". До сихъ поръ онъ никакихъ законовъ знать не хотѣлъ, а тутъ вспомнилъ. Вспомнилъ, что законъ запрещаетъ кормить падалью и изнурять работой, да и сталъ это вслухъ высказывать.—„Такъ и такъ, молъ, братцы, есть такой законъ, навѣрное знаю"...

Слушаютъ ребята, что такой законъ есть, и радуются. Слава тебѣ, Господи! — кричатъ. Только, слышь, навѣрное ли знаешь?—

допрашиваютъ. Богомъ клянется засѣдатель, а вокругъ него куча все растетъ, да растетъ. Такой гамъ пошелъ, что и сказать трудно; только и слышно было: „законъ!“ „законъ!“ „законъ!“

Услыхалъ это страшное слово управитель пріиска, поблѣднѣлъ отъ страха, задрожалъ весь, да шасть за волкомъ, а волкъ тутъ, какъ тутъ.

— Что у васъ здѣсь такое, — спрашиваетъ,—бунтовщики?

— Закона хотимъ!—кричитъ ему толпа,— законъ подавай!

Даже затрясся волкъ.

— А-а каннальи... лѣнтяи... пьяницы анаѳемскіе... закона захотѣли! Кто вамъ про законъ наговорилъ?

Выдвинула толпа бѣднаго засѣдателя. Какъ увидѣлъ его волкъ, такъ даже зубами заскрежеталъ.

— Зачинщикъ! Бунтовщикъ! Кандалллы!

Заковали бѣднаго засѣдателя и повели въ острогъ подъ конвоемъ. Не плакалъ онъ, не убивался теперь и не клялъ себя, а только каялся. Каждому встрѣчному низко кланялся и прощенья просилъ.—Великій я,—

говорилъ онъ всѣмъ,—грѣшникъ! Простите, православные!

И народъ его прощалъ.

Долго ли, коротко ли сидѣлъ онъ въ острогѣ, но все-таки въ концѣ концовъ вышелъ, Богъ его знаетъ какъ. Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Постарѣдъ бѣдняга, осунулся, а все еще жить ему хочется. Опять выручилъ его Пахомъ, накормилъ, одѣлъ и далъ ему въ долгъ лошадь.

— Разживайся,—сказалъ,—съ нею... Съ лошадью-то скорѣе, легче... Разживешься, отдашь!

Ходитъ засѣдатель съ лошадью въ извозъ,—возитъ, что̀ всѣ рабочіе люди возятъ. И самъ сытъ, и лошадь его сыта, да и Пахому долгъ выплатилъ. Ожилъ онъ, повеселѣлъ, на міръ божій сталъ глядѣть любовно. Людямъ радовался, свѣту божьему. Что-то новое, теплое, мягкое, человѣческое стало просыпаться въ его холодной груди, какой-то лучъ живаго свѣта проникъ въ его сердце. Ни корысть, ни жадность, ни злоба не мучили, не терзали его. Вставалъ онъ съ солнцемъ, съ солнцемъ ложился и свято блюлъ святую заповѣдь: трудиться и

въ потѣ лица добывать хлѣбъ свой. И люди его любили, и онъ ихъ любилъ.

Только и стрясись надъ нимъ новая бѣда! Въ одну злую ночь, Богъ вѣсть какъ, угнали у него лошадь.

Обезумѣлъ бѣдняга и побѣжалъ къ волку.

— Такъ и такъ,—докладываетъ,—ночью у меня, ваше-скородіе, лошадь угнали!

— А мнѣ,— говоритъ волкъ,—какое дѣло, что у тебя лошадь угнали? У меня своихъ дѣловъ, братецъ, много и безъ твоей лошади.

— Да вѣдь она у меня единственная, ваше-скородіе!

— А хоть бы и вторая.—отвѣчаетъ нахально волкъ,—мнѣ-то что?... Ступай, ищи себѣ воровъ.

Вышелъ бѣдняга, краше въ гробъ кладутъ. Только догоняетъ его Кондратъ.

— Эй, ты, слышь!—кричитъ,—найдется лошадь-то, только не скупись! Унасъ,—говоритъ,—всѣ воры на-перечетъ.

Зналъ это засѣдатель,—охъ, твердо помнилъ!

— Нѣту у меня, голубчикъ, ничего, ни алтына!—отвѣтилъ онъ, плача и напрасно шаря въ карманахъ.

— Нѣтъ, такъ и лошади нѣтъ,—отвѣтилъ Кондратъ и пошелъ прочь.

Зарыдалъ засѣдатель... Послѣдняя надежда, единственная опора отнята! Хватилъ онъ себя руками по бокамъ и грохнулся на земь... Лежитъ, лежитъ, бѣдняга, и отъ горя совсѣмъ обезумѣлъ. Поднялъ голову, осмотрѣлся вокругъ, ничего не видя, сѣлъ и вздохнулъ... Вспомнилъ вдругъ, что воровъ по кабакамъ ищутъ, да и шасть въ кабакъ... Сѣлъ тамъ, смотритъ, а добрый сосѣдъ и поднеси! Выпилъ засѣдатель,—какъ будто полегчало... Заложилъ зипунъ, выпилъ еще,—точно еще легче стало. Еще и еще, да такъ и пошло съ тѣхъ поръ...

Пропилъ все, а тамъ и сталъ пьяницей! Только протрезвится, сейчасъ первая дума: гдѣ денегъ на водку взять? Такъ и не выходитъ изъ кабака ни днемъ, ни ночью, все туда носилъ, что ни найдетъ, ни заработаетъ. Самъ ходилъ босой, хмурый, немытый, и всякъ, кто ни встрѣтитъ его, кричитъ ему одно: пьяница! Станетъ онъ людямъ горе свое выкладывать, какъ онъ хлѣбъ зарабатывалъ, какъ жилъ, трудясь, да съ бѣды только, съ горя-несчастья въ кабакъ забрелъ и запилъ, а люди

ему въ отвѣтъ только одно: пьяница! пьяница! пьяница!

И вотъ разъ, среди такого безпробуднаго пьянства, пришла ему въ голову странная мысль: зачѣмъ онъ живетъ на свѣтѣ?—пришла какъ-то невзначай, и онъ даже улыбнулся себѣ на вопросъ: „зачѣмъ“? Что въ ней, въ такой жизни? Бѣда, горе лютое, одинъ позоръ и больше ничего!—Ни людямъ, ни себѣ! Хотѣлъ онъ жить человѣкомъ, не выгорѣло!—Нѣтъ, баста!—рѣшилъ засѣдатель,—довольно... пойду къ волку.

И пошелъ.

Стояла теплая лѣтняя ночь. Звѣзды горѣли ярко въ темномъ, почти синемъ эфирѣ. Высокіе кедры качались и навѣвали сонъ. Все спало, все говорило о безмятежномъ, тихомъ покоѣ. Захотѣлось такого мира и покоя засѣдателю, и сталъ онъ кликать волка.

— Волкъ, волкъ, волкъ!

Прибѣжалъ сѣрый волкъ, засверкалъ глазами, защелкалъ зубами, но засѣдатель уже его не пугался.

— На, бери ее, эту жизнь!—сказалъ онъ спокойно волку.

— Что, аль не вмоготу?—ехидно спросилъ волкъ.

— Не вмоготу.

— Солоно, чай... Смерть лучше?

— Лучше!—отвѣтилъ засѣдатель.

Волкъ открылъ свою страшную пасть...

Но тутъ засѣдатель проснулся подъ старымъ кедромъ, какъ заснулъ съ вечера. Стряпчій и докторъ еще храпѣли. Съ невыразимымъ изумленіемъ осмотрѣлся онъ вокругъ, ощупалъ себя и вдругъ размѣялся.

— Такъ это сонъ! — заливался онъ въ восторгѣ.

Говорятъ, что съ тѣхъ поръ онъ сталъ гнать волковъ и помогать людямъ. Впрочемъ, иные утверждаютъ совсѣмъ наоборотъ.

МІРСКОЕ ДѢЛО.

(Бытовой очеркъ.)

Молодой парень лежалъ неподвижный и окровавленный. Было несомнѣнно, какъ день, что онъ уже никогда не встанетъ, по крайней мѣрѣ, въ здѣшней юдоли плача, скорби и... конокрадства, котораго онъ былъ, правду сказать, главнымъ героемъ. Застывшее въ какой-то неестественной, конвульсивной позѣ тѣло, синеватая трупная блѣдность, пятна запекшейся крови, а главное—не то сконфуженный, не то мрачный видъ и полный какой-то затаенной радости шепотъ всей Камышинки — ясно свидѣтельствовали, что онъ мертвъ, мертвъ несомнѣнно.

Говорили, что онъ былъ въ болѣе или менѣе близкихъ отношеніяхъ съ чортомъ, который ему покровительствовалъ. По край-

ней мѣрѣ почти всѣ объясняли именно этимъ, что ему сходило съ рукъ все, что бы онъ ни натворилъ, ни „набѣдовалъ“. Если нѣкоторые скептики и кивали въ сторону „засѣдателя“ *), находя, что приплетать тутъ чорта незачѣмъ, то такимъ „желторотымъ“ или „соломеннымъ головамъ“ объясняли, что засѣдатель, молъ, засѣдателемъ, а чортъ чортомъ, и что путать одного съ другимъ не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что безъ чорта тутъ никакъ не обходилось. Правда ли это или неправда, но несомнѣнно, что Васькѣ Рыжему сходило съ рукъ все и что самъ онъ только скалилъ свои бѣлые зубы, когда его громко обзывали конокрадомъ.

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ злосчастный рокъ принесъ его въ „партіи“ изъ-за Урала, а волею мѣстныхъ судебъ онъ былъ „приписанъ“ къ Камышинкѣ, въ которой собственно не жилъ,—онъ жилъ вездѣ и нигдѣ,—никто не зналъ отъ него покоя. Трепетала не одна Камышинка, трепетали и „карагайцы“, и „огневцы“, и „васильковцы“,—словомъ, трепетала добрая часть смежнаго

*) Лицо, исполнявшее въ Сибири заразъ обязанности становаго, слѣдователя и мироваго посредника.

съ Камышинкой N-скаго округа. Кони и „скотинка“ исчезали какъ дымъ, безъ слѣда, точно проваливались въ землю... Получать ихъ обратно можно было только „милостью“ Васьки, уплативъ за эту „милость“, конечно, приличную сумму и предварительно присягнувъ на образъ въ „строгомъ молчаніи“. Впрочемъ, послѣднее была одна пустая формальность, такъ какъ одного шепота Васьки: „молчи,—не то“ и т. д., было вполнѣ достаточно, чтобы не только зажать всѣмъ рты, но и привести самаго храбраго человѣка въ ужасъ и трепетъ. О, онъ умѣлъ „отплачивать!“

И вотъ теперь лежитъ онъ мертвый, неподвижный, холодный, на пустынномъ выгонѣ, недалеко отъ большаго стога сѣна. Очевидно, онъ легъ здѣсь не по своей волѣ,—объ этомъ краснорѣчивѣе всего говорили кровавыя пятна и прострѣленный на вылетъ правый глазъ, или вѣрнѣе—зіявшая вмѣсто него черная яма съ запекшеюся по краямъ кровью... Чья-то смѣлая, твердая рука, стрѣлявшая, можетъ быть, „въ носъ“ бѣлку, чтобы не портить шкурки,—несомнѣнно уложила его изъ „малопульки“ на этомъ сѣромъ, покрытомъ еще кое-гдѣ тающимъ

снѣгомъ выгонѣ. Холодный вѣтеръ шевелитъ складками его красной кумачной рубахи, мелкій дождикъ сыплетъ на него водяною дробью, низкія, лохматыя тучи кружатся надъ нимъ въ безпорядкѣ, вороны каркаютъ, въ сладостномъ любопытствѣ, перелетая со стога на дерево и обратно, собравшіеся всѣ отъ мала до велика камышинцы стоятъ понуро и мрачно и вмѣстѣ съ вѣтромъ, дождемъ, тучами, воронами, какъ будто недоумѣваютъ: „чье бы это дѣло?"—„Чей бы грѣхъ?"

Конечно, этого не зналъ никто! Если у длиннаго Кузьки, лучшаго стрѣлка во всей округѣ, и у многихъ другихъ мужиковъ покойникъ и угналъ было недавно цѣлый десятокъ лошадей, который они общими силами „выкупили" у него за семьдесятъ рублей, то вѣдь это, понятно, ровно ничего не значитъ,—первый что ли разъ „угонялъ" онъ лошадей? Какъ и всегда, Васька безпрепятственно пропилъ по всѣмъ смежнымъ кабакамъ послѣдній „выкупъ" до копѣйки, съ какими-то темными и „рассейскими" пріятелями, и нѣтъ ни малѣйшаго основанія утверждать, чтобы это послѣднее проявленіе Васькинаго „героизма" явилось каплей, пе-

реполнившею чашу терпѣнія. Правда, глупая, болтливая Сиклитея (извѣстно баба), закричала было: „ой, батюшки, Кузькино это дѣло“, но вѣдь ее немедленно же обозвали всѣ сорокою, а старый Софронъ, мужъ глупой Сиклитеи, самыми убѣдительными, хотя, правда, немного устарѣлыми пріемами педагогіи доказалъ ей основательно, какой это страшный порокъ „неосновательная болтливость“. Что же изъ того, что Кузька чистилъ „малопульку“, шептался со „старичками“, а на міру-де кричали: „пора, братцы, своимъ средствіемъ?“ Во-первыхъ, какой хорошій охотникъ не чиститъ своей винтовки, а во-вторыхъ—мало ли что не говорится на міру, такъ бабѣ-то ужь мѣшаться въ это ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ. Что же касается до раздавшагося ночью грохота, похожаго на выстрѣлъ, то никто, положительно никто изъ камышинцевъ, его не слышалъ, и сама Сиклитея, выйдя послѣ „разъясненій“ Софрона на улицу, увѣряла, что ей только такъ приснилось. Какой такой выстрѣлъ?... Можетъ самъ какъ нибудь человѣкъ ушибся,—мало, что-ль, расшибаются-то съ пьяна?

Кто первый изъ камышинцевъ увидѣлъ Ваську въ такомъ неестественномъ по-

ложеніи, потонуло во мракѣ. Если принять во вниманіе, что никому не можетъ улыбаться перспектива являться въ такихъ случаяхъ первымъ, станетъ понятнымъ, почему выходило такъ, что „первымъ“ его никто не увидѣлъ... Одинъ шелъ по дрова, когда и узналъ отъ людей, что и т. д.; другой ѣхалъ за сѣномъ, третій вышелъ „такъ“, четвертый, пятый,—словомъ, каждый узналъ отъ „другихъ“. Если бы какой-нибудь сомнѣвающійся скептикъ,—въ чемъ только иные люди не „сумлѣваются!“—найдя такое положеніе вещей невозможнымъ, сталъ производить точные распросы, онъ навѣрное потерялъ бы голову среди лабиринта разныхъ „то-ись“, „во какъ“, „пытому-самому“, „провалиться“ и другихъ не менѣе выразительныхъ восклицаній, не то нарѣчій, не то глаголовъ, не то чортъ его знаетъ что такое, на которые вообще такъ щедры всѣ камышинцы и ихъ сосѣди, и предъ которыми спасовалъ бы и плюнулъ, навѣрное плюнулъ, самый завзятый грамматикъ. Какъ бы тамъ ни было, но фактъ остается фактомъ, что всѣ они отъ мала до велика стояли утромъ гурьбой у трупа, ахали, качали головами, отгоняли сурово „робятъ“, под-

бѣгавшихъ къ трупу вплотную и шептали при этомъ укоризненно и не моргая глазомъ: „ахъ, ты грѣхъ!“ Еще бы не „грѣхъ“, когда придется возиться съ засѣдателемъ и еще Богъ знаетъ съ кѣмъ!

Пріѣхалъ засѣдатель, потому что безъ засѣдателя дѣло обойтись, конечно, не могло. „Они“ еще „почиваютъ“ съ дороги на „земской фатерѣ“ и въ ожиданіи пробужденія „старички“ сидятъ на заваленкѣ, кряхтятъ и проклинаютъ „чужіе грѣхи“. Главный, если не единственный, вопросъ, занимающій всѣ помыслы этого импровизированнаго сената: сколько? Для рѣшенія чего выкапываются прецеденты въ прошломъ... Достовѣрно извѣстно, что „малиновцамъ“ обошлось „свое средствіе“ въ триста ровнымъ счетомъ,—ну, да кто же не знаетъ, что малиновцы испоконъ вѣка ровно оглашенные какіе; „огневцамъ“—пятьдесятъ, но „дѣло“ было не на ихъ землѣ, а на проѣзжей дорогѣ... „Карагайцы“ за общій мордобой съ „лишеніемъ живота“ въ свалкѣ отдѣлались сотней... Сколько же?

— Староста!—раздается басъ изъ „фатеры.“

Всѣ вздрогнули,—очевидно *тамъ* „проснулись.“

— Стар..р..р.... чоррр..ртъ!

Поглаживая бородку, староста быстро засѣменилъ короткими ногами. „Старички“ робко и жалостливо провожаютъ его глазами и ободрительно шепчутъ: „постой за міръ, Митричъ, постой-отъ, братанъ“,—но Митричъ точно не слышитъ, а бѣжитъ съ вытаращенными глазами, какъ хорошо взбученная лошадь. Онъ останавливается на мгновеніе, точно въ нерѣшительности, у запертой двери, кряхтитъ и вдругъ, будто собравшись съ духомъ, быстро отворяетъ ее.

— Съ пріѣздомъ, вашескородіе!

Засѣдатель, тучный, здоровый мущина съ краснымъ лицомъ, сердитыми заспанными глазами, въ форменномъ сюртукѣ на распашку, сидитъ у стола и пишетъ. Скрипъ пера отдается какимъ-то болѣзненнымъ царапаньемъ въ сердцѣ старосты и, чтобы скрыть свое волненіе, онъ размашисто крестится на образъ.

— Съ пріѣздомъ-съ!

Засѣдатель все это отлично видитъ и понимаетъ и нарочно длитъ пытку,—онъ тоже гнетъ „свою линію“. Наконецъ, найдя,

что довольно, или просто наскучивъ выводить одни и тѣ же: „проба пера“, Его Высок...“, „рапортъ“... „я вечоръ млада“... и т. д.,—онъ вскидываетъ глаза на поблѣднѣвшаго старосту и смотритъ на него въ упоръ.

— Какъ было?—разражается онъ наконецъ густымъ басомъ.

Староста дѣлаетъ видъ, что не понимаетъ.

— Чьихъ рукъ дѣло?—спрашиваетъ тотъ уже совсѣмъ сердито.

— Насчетъ чего-съ?—освѣдомляется староста робкимъ фальцетомъ.

— Что дурака корчишь?! Младенецъ!.. Какъ звать убитаго?

— Васькой... вашескородіе, Васькой Рыжимъ!—скороговоркой выпаливаетъ староста, мало-по малу ободряясь.

— А-а, посельщикъ, объ которомъ слѣдствіе было?

— Такъ точно-съ!—Староста конфузится.

— Воръ?

— Какъ то-ись... всяко говорятъ, точно... но ежели...

— Не мели, мельница! Какъ было дѣло?

— Не могу знать-съ!

— Не могу знать? Дамъ я тебѣ, сорока

бородатая, не могу знать... Сами „порѣшили“, а? Говори!

— Господи избави! удивляется староста,— и во снѣ то-есть не снилось! Провались я, чтобъ...

— Ври!—накидывается съ яростью засѣдатель: — знаю вѣдь васъ, каналій анаѳемскихъ! „Своимъ средствіемъ“! Вѣдь застрѣленъ?...

— Господь знаетъ!—набожно вздыхаетъ староста.

— Господь знаетъ?—передразниваетъ засѣдатель, поднимаясь съ мѣста и наступая на старосту,—а глазъ?... Глазъ видѣлъ?

Молчаніе, во время котораго староста напрасно силится проглотить слюну.

— Видѣлъ, спрашиваю, а?... Глазъ-отъ видѣлъ?

— Видѣлъ! рѣшается вымолвить староста, припоминая, что по своему оффиціальному положенію онъ не имѣлъ права не видѣть.

— Ну, что-жь, хорошъ?

Молчаніе.

— Ну, что же, хорошъ? Цѣлъ, а?

— Точно, что какъ быдто...

— Что, „какъ быдто?“—передразниваетъ засѣдатель, выходя изъ себя.

— Господь вѣдаетъ! — вздыхаетъ староста.

Почти часъ длится допросъ и засѣдатель убѣждается, что ничего не выйдетъ и что виновнаго нѣтъ и дѣло придется предать волѣ Божіей. Да и чортъ съ нимъ съ дѣломъ-то,— стòитъ въ самомъ дѣлѣ возиться изъ за какого-нибудь Васьки... туда ему и дорога! Только вѣдь, извѣстно, и бросить такъ нельзя,—что-жь *даромъ*-то мирволить... *Имъ* только дай потачку... Ого-го!..

Староста сразу смекаетъ происходящій переворотъ въ засѣдательской душѣ и потому вопрошаетъ какъ-то сладостно и мягко:

— „Незнаемаго“ человѣка, вашескородіе, не прикажете-ли,—можетъ кто что и знаетъ-съ?..

„Незнаемый человѣкъ“ — продуктъ чисто сибирской юриспруденціи... Эта кличка производится отъ слова „не знать“, такъ какъ „незнаемый человѣкъ“ знаетъ все, кромѣ своего имени... Когда слѣдователь ничего подѣлать не можетъ, виновный неизвѣстенъ и нѣтъ никакихъ надеждъ найти его,—словомъ, когда слѣдователь спускаетъ, такъ сказать, флагъ и не прочь пойти на сдѣлку, „чтобъ не даромъ только, не мирволить“,—

онъ оставляетъ строго-офиціальный тонъ и переходитъ въ дружескій, задушевный, которымъ и спрашиваетъ мягко: „нѣтъ ли молъ гдѣ такого человѣка, который на слѣдъ бы навелъ, что ли?“ Дружескій, задушевный тонъ дѣйствуетъ магически, тѣмъ болѣе, что всѣ понимаютъ отлично, что дѣло вовсе не въ томъ, чтобы „навести на слѣдъ“, и на сцену является „незнаемый“ — нарочно выбранное, самое довѣренное лицо „міра“, которое скажетъ все, что нужно сказать или разсказать въ данномъ случаѣ, и затѣмъ предложитъ то, что вообще предлагается всѣмъ слѣдователямъ: „въ честь благодарности“.—Никто ничѣмъ тутъ не рискуетъ, такъ какъ все происходитъ съ глазу на глазъ, и въ худшемъ случаѣ, еслибы слѣдователь вздумалъ „измѣнить“ и притянуть „незнаемаго“ къ оффиціальному допросу, онъ бы отрекся отъ всего и навѣрное нашелъ бы множество свидѣтелей, которые „стояли туточка недалече“ и не слыхали, чтобы онъ говорилъ то, отъ чего отпирается.

— Незнаемаго, говоришь, человѣка... Ну, ладно, веди!—согласился засѣдатель.

Староста исчезъ, какъ видѣніе...

Засѣдатель сѣлъ за столъ и погрузился

въ задумчивость... *Сколько?*—За окномъ слышится сдержанный шепотъ и суетятся видимо люди... Маятникъ старыхъ, запыленныхъ часовъ мѣрно тикаетъ. Сѣрый пушистый котъ сладко мурлычитъ въ углу и зализываетъ себѣ то, что ему нужно. Такъ проходитъ съ добрыхъ полчаса, пока за дверью не слышится сдержанный кашель.

— Кто тамъ?

— Гмм... Кхх...

— Кто, говорю? — окликаетъ вновь засѣдатель.

Дверь полуотворяется и на порогѣ появляется закутанная, обмотанная фигура, которую засѣдатель пронизываетъ взглядомъ.

— Незнаемаго человѣка спрашивали, вашескородіе!...

— А, ты, что ли?

— Онъ самый-съ! — Фигура низко кланяется.

Засѣдатель упорно вглядывается по привычкѣ.

— Разскажи, братецъ, сдѣлай милость, что тутъ такое... какъ дѣло-то было?—спрашиваетъ онъ, наконецъ, мягко.

— Грѣхъ, вашескородіе,—кланяется „незнаемый“,—людской грѣхъ!..

— „Свое средствіе“, что-ль?

— Должно полагать...

— Нѣтъ, братъ, коли назвался груздемъ, такъ полѣзай въ кузовъ,—обижается засѣдатель на уклончивый отвѣтъ,—если на миръ идти хотите, говори толкомъ.

— Вашескородіе! — рѣшается, наконецъ, „незнаемый“.

— Что голубчикъ?

„Незнаемый“ отворачиваетъ полу, лѣзетъ въ карманъ и достаетъ пачку ассигнацій.

— Въ честь благодарности, вашескородіе,—старички благодарить прислали...

— За что?—удивляется засѣдатель; но сладкая улыбка озаряетъ его лицо.

— За труды собственно... Не оставьте, вашескородіе! — молитъ и кланяется „незнаемый“.

— Что же,—мягко соглашается засѣдатель,—я, вы знаете, никогда не прочь помочь вамъ... Зачѣмъ мнѣ губить васъ... Ежели что могу, всегда готовъ... отчего же!... Знаю, что все это отъ глупости вашей... Ну, да и воръ былъ Васька, что и говорить,—разбойникъ... Только это такое дѣло...—качаетъ онъ головой,—чай, самъ знаешь...

— Не оставьте, вашескородіе!—кланяется

низко „незнаемый“, кладя пачку на столъ.

— Ты постой,—останавливаетъ его засѣдатель,—прежде толкомъ разскажи, какъ дѣло-то было...

— Дѣло-то, вашескородіе... да Богъ его знаетъ! Должно полагать, застрѣленъ онъ, потому обида отъ него большая...

— Застрѣленъ!—сердится засѣдатель.—Я и самъ знаю, что застрѣленъ,—да кѣмъ?

— Обида отъ него была... Житья, вашескородіе, не было,—ну, старички и благословили, надо полагать...

— Какіе старички,—ваши, что ли?

— Всѣхъ обижалъ, вашескородіе, — всѣ села окрестъ обижалъ...

— Да; но убилъ-то кто?—Въ засѣдателѣ заговорило простое любопытство.

— Кто его знаетъ, вашескородіе, многихъ обижалъ,—только ужь если на нашей землѣ, такъ и грѣхъ, значитъ, пусть какъ будто на насъ будетъ. Нашего міра грѣхъ!

Засѣдатель прошелся раза два по комнатѣ, посвисталъ, протянулъ руку къ кучкѣ ассигнацій, пересчиталъ и пробасилъ:

— Мало!

Вмигъ явилось *дополненіе*.

— И того мало!.. Ну, да ужь чортъ съ

вами!—махнулъ онъ рукой. „Незнаемый“ провалился точно сквозь землю.

Садясь въ тарантасъ, засѣдатель далъ нужныя инструкціи старостѣ насчетъ доктора и прочаго.

Наконецъ уѣхалъ и докторъ. Признаться, камышинцамъ пришлось похлопотать-таки не мало. Сначала нужно было, конечно, уломать доктора пріѣхать поскорѣй, чтобы не держать „караула“ у трупа въ рабочую трудную пору. Къ счастію, при докторахъ всегда есть фельдшера, съ которыми легко вести переговоры и сдѣлки, стоитъ только не скупиться. Камышинцы знали это хорошо еще отъ отцовъ и дѣдовъ, не только отъ сосѣдей, которымъ выпадалъ на долю счастливый опытъ, и потому не постояли особенно за „четвертной“ за выѣздъ. За „дѣло“ собственно былъ условленъ, конечно, особый гонораръ. Все было сдѣлано по положенію, какъ слѣдуетъ въ благоустроенномъ мѣстѣ: прибывъ въ Камышинку, докторъ нашелъ на выгонѣ, возлѣ трупа, столъ, а на столѣ традиціонный полуштофъ и „синенькую“, сверхъ положенія, которая съ надлежащаго мѣста была перенесена имъ

въ карманъ. Разъ, понятно, все было какъ слѣдуетъ, то и результатъ вышелъ такой, какой долженъ былъ слѣдовать. Докторъ поковырялъ, понюхалъ, ругнулся нѣсколько разъ и продиктовалъ засѣдателю протоколъ, который тотъ выводилъ круглымъ, четкимъ почеркомъ. Чаще всего, понятно, попадались слова: „сильнѣйшее опьяненіе... неосторожность... паденіе... ушибъ съ поврежденіемъ... жестокая стужа, а потому“ и т. д. А затѣмъ и докторъ, и засѣдатель, какъ водится, уѣхали, предписавъ „строжайше“ предать немедленно „тѣло скоропостижно умершаго Васьки рыжаго“ землѣ.

Камышинцы вздохнули свободнѣе, полною грудью и возликовали. Все сошло благополучно. Правда, это благополучіе „влѣзло“ имъ больше двухъ добрыхъ сотнягъ; да вѣдь кто же не знаетъ, что деньги—дѣло наживное. Къ тому же извѣстно: съ міру по ниточкѣ, вотъ те и рубашечка... За то спокойствіе, благодать! Одно еще только оставалось—схоронить.

Сосновый, грубо-сколоченный руками деревенскаго плотника гробъ былъ заготовленъ еще заранѣе. Теперь его принесли на

выгонъ и поставили на землѣ возлѣ трупа. Трупъ лежалъ на столѣ, прикрытый кускомъ грубаго деревенскаго полотна, на которомъ длинные, окровавленные пальцы доктора оставили темнорозовые слѣды. Солнце ярко свѣтило съ яснаго весенняго неба, голубаго и безоблачнаго, и озаряло покровъ, отчего онъ блестѣлъ и казался бѣлѣе, а складки пестрили его темносиними тѣнями. Теплый вѣтерокъ слегка шевелилъ одинъ уголъ, отчего онъ дрожалъ и поднимался точно живой и, поднимаясь, обнажалъ часть красной рубахи покойника, похожей цвѣтомъ на кровь. Все было тихо. Толпа, окружавшая гробъ и покойника, стояла въ какомъ-то тупомъ, напряженномъ безмолвіи. Оставалось только снять покровъ, уложить покойника въ гробъ и отнести его, своего злѣйшаго врага, на кладбище, куда долженъ былъ придти священникъ.

— Ну, что-жь, братаны?—раздался вдругъ чей-то нерѣшительный, глухой голосъ и замеръ безъ отвѣта.

Толпа какъ будто переглянулась и потопталась на мѣстѣ.

— Что же?—какъ эхо повторилъ другой голосъ.

Какое-то нерѣшительное движеніе и опять молчаніе... Но вотъ одинъ снялъ неожиданно шапку, за нимъ другой, третій—и вдругъ, точно по приказанію, вся толпа обнажила головы.

— Царство небесное!—перекрестился степенно и важно сѣдой старикъ, стоявшій ближе къ покойнику, и отвѣсилъ низкій поклонъ.

— Царство небесное, царство небесное!—заголосила толпа, усердно крестясь.

Опять воцарилось молчаніе. Кузька, смѣлый, безстрашный Кузька, этотъ знаменитый стрѣлокъ, не моргавшій передъ открытою пастью медвѣдя, стоялъ блѣдный, какъ трупъ, съ широко вытращенными глазами, а руки его дрожали какъ осиновые листья.

— Дядя Корнѣй, подымать, что-ль?—окликнулъ вдругъ кто-то надтреснутымъ, придавленнымъ голосомъ и тотчасъ замолчалъ, точно сконфузившись или испугавшись собственнаго голоса... Дядя Корнѣй, сѣдобородый старикъ, оглянулся молча и не сказалъ ни слова.

Въ заднихъ рядахъ задвигались,—очевидно, кто-то пробирался впередъ. Шевельнулся одинъ, другой, нѣкоторые оглянулись

назадъ, и впередъ протиснулась блѣдная, худая бабенка, заплаканная, съ красными отъ слезъ глазами и носомъ, съ ребенкомъ на одной и узломъ въ другой рукѣ.

Бабенку видѣли утромъ, еще до докторскаго „вскрытія", но никто не обратилъ на нее вниманія,—не до нея было. Нѣкоторые, правда. сразу признали въ ней Аксинью-солдатку изъ дальняго поселка, слывшую въ околодкѣ любовницей Васьки Рыжаго, но въ фактѣ ея нежданнаго появленія не нашли ничего особенно достойнаго вниманія или необычайнаго. Теперь сотни глазъ напряженно слѣдили за каждымъ ея движеніемъ.

Протиснувшись впередъ, Аксинья широко перекрестилась и заплакала. Слезы текли у нея по щекамъ и капали на сѣрый, дырявый съ заплатами сарафанъ. Поплакавъ, она обернулась къ толпѣ:

— Хоронить, добрые люди? спросила она сквозь слезы, кланяясь, и, не ожидая отвѣта, сняла покровъ.

Слезы заструились быстрѣе. Толпа набожно перекрестилась.—Никто не смотрѣлъ на покойника,—всѣ стояли, опустивъ глаза въ землю, только одинъ Кузька стоялъ точ-

но очарованный, не сводя прикованнаго взора съ трупа. Окровавленный, изрѣзанный, почернѣвшій, съ запекшеюся на усахъ и бородѣ кровью, трупъ производилъ крайне тяжелое, гнетущее впечатлѣніе.

— Обмыть бы, добрые люди!—обернулась опять Аксинья къ толпѣ.

— Что-жь, конешно... доброе дѣло... какъ слѣдоваетъ...—отозвались въ толпѣ.—Конечно... что-жь, обмыть!

Кто-то схватилъ ведро, стоявшее тутъ для доктора, и побѣжалъ зачерпнуть воды въ ручьѣ. Аксинья передала ребенка старику Корнѣю, и сѣдой, бородатый старикъ бережно и неловко держалъ на своихъ дюжихъ рукахъ завернутую въ лохмотья крошку, которая щурилась отъ солнца. Ребенокъ громко кричалъ на чужихъ рукахъ, а старикъ какимъ-то мягкимъ, ласковымъ шепотомъ говорилъ: „кшшъ“, „кшшъ“ и качалъ его точно въ зыбкѣ, пока у него не отняла его какая-то подоспѣвшая баба, у которой ребенокъ немедленно-же успокоился. Нѣсколько человѣкъ подошли тѣмъ временемъ къ Аксиньѣ на помощь. Она развязала быстро и ловко принесенный съ собою узелъ

и вынула длинную, бѣлую рубаху, нѣчто вродѣ савана.

— Пріодѣть, добрые люди? спросила она, встряхивая рубаху.

— Пріодѣнь... какъ слѣдуетъ, какъ полагается!.. Охъ-хо-хо, всѣ мы грѣшны Богу! заходило въ толпѣ... Всѣ точно легче чувствовали себя съ приходомъ Аксиньи и видимо слѣдили за ней съ участіемъ и чѣмъ-то вродѣ сочувствія. Точно что-то тяжелое, невеселое разсѣяла или сняла она со всѣхъ этихъ людей однимъ своимъ появленіемъ.

Покойникъ лежалъ обмытый, одѣтый, въ свѣжемъ сосновомъ, гробу и не производилъ уже прежняго удручающаго впечатлѣнія. Невесело только какъ-то было, грустно, какъ всегда бываетъ предъ лицомъ смерти хотя-бы чужого, нелюбимаго человѣка. Толпа набожно крестилась. Аксинья вынула изъ того же узелка три дешевенькія свѣчки, зажгла ихъ и, оставивъ одну себѣ, двѣ другія отдала помогавшимъ ей старикамъ. Старики взяли ихъ, крестясь и повторяя: „царство небесное“. Шесть человѣкъ подняли гробъ на плечи и понесли, сопровождаемые толпой и плачущею Аксиньей съ ребенкомъ на рукахъ.

У могилы, послѣ скораго отпѣванія,— Аксинья долго валялась у гроба при заколачиваніи его, прощаясь съ покойникомъ и суя къ нему ребенка. За нею двинулся одинъ, потомъ другой, третій, а тамъ и всѣ подходили къ покойнику, клали земной поклонъ и цѣловали его въ почернѣвшій, изрѣзанный лобъ. „Прости!"—какъ-то глухо говорили они. Одинъ только Кузька, блѣдный и дрожащій, не сказалъ ни слова, точно слово застыло у него въ глоткѣ.

Когда камышинцы, покинувъ кладбище, пасмурные и невеселые, столпились на деревенской улицѣ, предъ ними, какъ изъ-подъ земли, вновь выросла заплаканная Аксинья съ ребенкомъ на рукахъ и повалилась въ ноги.

— Порѣшили вы его, добрые люди, порѣшили!—причитала она плача, поднимаясь и снова падая въ ноги „міру".

— Что ты, что ты!.... Не слышала, что-ль, что писалъ дохтуръ... Отъ безчувствія, значитъ, пьянаго ушибся! — быстро

заговорилъ сконфуженный староста.—Кто порѣшилъ? Что ты, Богъ съ тобой, баба!

— Ваше дѣло это,—продолжала кланяясь и плача Аксинья, точно не слыша старосты,—ваше дѣло, не мое... Какъ сами знаете, добрые люди, такъ Богу и отвѣтите.... А только что же мнѣ-то теперь съ ребенкомъ—помирать, что-ль?

Никто не отвѣтилъ.

— Помирать, что-ль? Кто кормить-то будетъ? Куда дѣнусь я съ имъ, люди добрые?—Аксинья сунула ребенка.

Камышинцы почесали затылки. Какая-то баба жалостливо проговорила: „ишь ты, бѣдная!“

— Какъ не бѣдная!—подхватила Аксинья, совсѣмъ разрыдавшись отъ выраженнаго ей сочувствія.—Что съ ребенкомъ-то дѣлать будешь?... Не оставьте, люди добрые!

И она снова поклонилась мужикамъ.

— Что-жь, братаны?—кто-то робко, нерѣшительно спросилъ въ толпѣ.

— Какъ быть въ самомъ дѣлѣ?—отозвался другой.

— И такъ много роздали, братаны! Мнн-о-ого! — пессимистически прозвучалъ чей-то басъ.

— Не покиньте, православные! — кланялась тѣмъ временемъ Аксинья, суя толпѣ кричавшаго ребенка,—не покиньте!..

— Много-то много, а все-жь!—отвѣтилъ кто-то.

— Рублей поди два ста вошло!—не успокоивался басъ.

— Вошло-то вошло, да бабу-то какъ быдто... того!—отвѣтилъ передній мужикъ, высокій, мрачный на видъ, неистово зачесавъ всею пятерней затылокъ.

— Ничего нѣ-ѣ-ту! — молила Аксинья, все больше ободряясь, точно черпая новыя силы въ нерѣшительныхъ возгласахъ толпы.—Ни-и-чего, православные, ни зе-е-рнушка... Молока вотъ нѣтъ у самой,—она ткнула кулакомъ въ плоскую грудь,—пустехоньки... ни капельки!.. Дитё голодомъ кричитъ, люди добрые... Кто прокормитъ теперь?... Коровку бы хоть...

— Корову?—разозлился басъ.—Мало онъ у насъ скотины перетаскалъ, что-ль?...

— Дѣло прошлое,—прошлое, слышь, дѣло, братанъ!—укоризненно и вмѣстѣ гнѣвно заголосила толпа какъ одинъ человѣкъ и стала креститься. Басъ сконфузился и тоже крестился за толпой.

— Для ребенка, для младенца божьяго прошу,—продолжала Аксинья, рыдая навзрыдъ.—Что-жь, оно виновато кому, что ему голодомъ пропадать!? Отцы родные! телушечку... такъ... самую что ни есть ледащую... Господи, дите-то что-жь виновато!...

На другой день, какъ только яркое божье солнце пролило потоки тепла и свѣта на грѣшную землю, а навстрѣчу ему ясно улыбалось живое утро, и воздухъ, и кедры, и изумрудныя нивы, и божіи люди,—улыбалась ему и Аксинья. Пыльною дорогой гнала она изъ Камышинки домой, въ свой поселокъ, большую рыжую корову и довольная прижимала къ тощей груди ребенка, въ чистыхъ, бѣлыхъ пеленкахъ котораго были засунуты „міромъ“ собранныя старыя, истрепанныя ассигнаціи.

На поворотѣ ей перерѣзала дорогу высокая фигура Кузьки. Блѣдный, какъ-то робко пошелъ онъ ей навстрѣчу. Видимо, онъ хотѣлъ что-то сказать, силился выговорить, но не могъ, губы его дрожали. Онъ только совалъ ей потертый кожанный мѣшечекъ, въ которомъ обыкновенно крестьяне носятъ деньги.

— Возьми!—съ усиліемъ выговорилъ онъ наконецъ.

— Зачѣмъ, что?—не то сконфузилась, не то удивилась Аксинья.

— Ему... ребенку!—дрожащимъ голосомъ продолжалъ Кузька, кладя мѣшечекъ на пеленки.

Аксинья взяла его какъ-то нерѣшительно, то смотря на блѣднаго Кузьку, то опуская глаза въ землю.

— Спасибо!—чуть слышно выговорила она.

Не успѣла она сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ Кузька ее окликнулъ.

— Слышь!

Она обернулась.

— Не своей волей я... Отъ міра,—мірское дѣло... Прости!

Онъ стоялъ блѣдный, дрожащій, опустивъ глаза въ землю.

— Богъ проститъ! — отвѣтила Аксинья, кланяясь.

. . . . . .

Цѣлый мѣсяцъ пропадалъ Кузька въ тайгѣ за медвѣдями.

Цѣна 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

Form 410

APR